КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6

ИЮНЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

По недосмотру в тексте „содержания“ № 5 „Красной Нови“ пропущено: **Скиталец** — „Воспоминания о М. Горьком“.

★

ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-13169. П. 13. Гиз 26964.
Заказ 1367. • Тираж 13.500.

Жизнь Клима Самгина.

(Отрывок из второй части трилогии «Сорок лет»).

(Продолжение).

М. Горький.

Варвара возвратилась около полуночи. Услышав ее звонок, Самгин поспешно зажег лампу, сел к столу и разбросал бумаги так, чтоб видно было: он давно работает. Он сделал это потому, что не хотел говорить с женою о пустяках. Но через десяток минут она пришла в ночных туфлях, в рубашке до пят, погладила влажной и холодной ладонью его щеку, шею.

— Работаешь?

— Как видишь.

— Странно, подъезжая к дому, я не видела огня в твоем окне.

— Да?

Присев на угол стола, жена сказала, что Любаша серьезно больна, доктор считает возможным воспаление легких.

— Там у нее Гогина.

— Это хорошо. Ты — иди, я скоро кончу.

Варвара покорно ушла. Глядя на ее оранжевые пятки, Самгин подумал, что эта женщина уже прочитана им, не интересна. Он знал каждое движение ее тела, каждый вздох и стон, знал всю, не очень богатую игру ее лица и был убежден, что хорошо знает суетливый ход ее фраз, которые она не очень осторожно черпала из модной литературы и часто беспомощно путалась в них, впадая в смешные противоречия. Но она была удобной женой, практичной хозяйкой, и Самгин ценил ее скептическое отношение к людям, ее чутье фальши, умение подмечать маскировку. Вообще, с нею не плохо жить, но, например с Никоновой, было бы, вероятно, мягче, приятней, хотя Никонова и старше Варвары.

Через час он тихо вошел в спальню, надеясь, что жена уже спит. Но Варвара, лежа в постели, курила, подложив одну руку под голову.

— Дурная привычка курить в спальне, — заметил он, начиная раздеваться.

— Сколько раз я говорила тебе это, — отозвалась Варвара; вышло так, как будто она окончила его фразу.

Самгин посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но не сказал ничего, отметил только, что жена пополнела, и должно быть от этого шея стала короче у нее.

«Если она изменяет мне, это должно как-то сказаться на приемах ее ласк, на движениях тела»,— подумал Самгин и решил проверить свою догадку.

— Подвинься, — сказал он, подходя к ее постели.

— Я так устала, — ответила она, не двигаясь, прикрыв глаза. — Уснуть не могу.

Она редко отказывала ему и никогда не отказывала под этим предлогом. Просить ее было бы унизительно; он тоже никогда не делал этого. Он лег в свою постель, обиженным.

— Был там один еврей, — заговорила Варвара, погасив папиросу и как бы продолжая рассказ, начатый ею давно.

— И Кумов был, — произнес Клим и услышал, что он не спросил о Кумове, а утверждает: был Кумов.

— Был, — сказала Варвара. — Но он — не в ладах с этой компанией. Он, как ты знаешь, стоит на своем: мир — непроницаемая тьма, человек освещает ее огнем своего воображения, идеи, — это знаки, которые дети пишут грифелем на школьной доске...

— Наивнейшая метафизика, чепуха, — сердито сказал Самгин, с негодованием улавливая общее между философией письмоводителя и своими мыслями. — Будем спать, я тоже устал.

Варвара вздохнула, поправила подушку под головой и, помолчав минуту, снова заговорила:

— А знаешь, не нравятся мне евреи. Это — стыдно?

— Конечно.

— Не нравятся. Все они и всегда во всем как-то забегают вперед. И есть евреи специально для возбуждения антисемитизма.

— Есть и русские, которые способны вызвать руссофобство, — проворчал Самгин.

Но Варвара настойчиво и, кажется, насмешливо продолжала:

— Это — неудачное возражение. Ты, ведь, тоже не любишь евреев, но тебе стыдно сознаться в этом.

— Какая чепуха! Пожалуйста, погаси свет.

Погасила, продолжая говорить и в темноте, и голос и слова ее стали еще более раздражающими:

— Разве ты не говорил, что если еврей — нигилист, так он в тысячу раз хуже русского нигилиста?

Самгин, с трудом отмалчиваясь, подумал, что не следует ей рассказывать о Митрофанове, — смеяться будет она. Пробормотав что-то несуразное якобы сквозь сон, Клим заставил, наконец, жену молчать.

Митрофанов являлся не так часто и свободно, как раньше. Он входил виновато, с вопрошающей улыбкой на лице, как бы молча осведомляясь:

— Ну, как же решено?

Много пил чая, рассказывал уличные и трактирные сценки, очень смешил ими Варвару и утешал Самгина, поддерживая его убеждение, что, несмотря на суету интеллигенции, жизнь, в глубине своей, покорно повинуется старым, крепким навыкам и законам.

— Кажется, скоро место получу, вторым помощником смотрителя буду в сумасшедшем доме, — сказал Митрофанов Варваре, но, когда она вышла из столовой, он торопливым шопотом объявил Самгину:

— Насчет сумасшедшего дома я соврал, конечно, — извините!

— Зачем? — удивился Клим.

— Да, знаете, все-таки, если Варвара Кирилловна усомнится в моей жизни, так чтоб у вас было чем объяснить шатающееся поведение мое.

Самгину понравилась эта своеобразная забота сыщика о нем, но, проводив Митрофанова, спросил сам себя:

— Неужели мое отношение к Варваре уже заметно посторонним?

И — рассердился:

— Этот болван, кажется, считает меня своим единомышленником в чем-то...

Через несколько дней Самгин одиноко сидел в столовой за вечерним чаем, думая о том, как много в его жизни лишнего, изжитого. Вспомнилась комната, набитая изломанными вещами, комната, которую он неожиданно открыл дома, будучи ребенком. В эти невеселые думы тихо, точно призрак, вошел Суслов.

— Слышали? — спросил он, улыбаясь, поблескивая черненькими глазками. Присел к столу, хозяйственно налил себе стакан чая, аккуратно положил варенья в стакан и, размешивая чай, позванивая ложечкой, рассказал о крестьянских бунтах на юге. Маленькая, сухая рука его дрожала, личико морщилось улыбками, он раздувал ноздри и все вертел шеей, сжатой накрахмаленным воротником.

— Вот — видите? — мягко, уговаривающим тоном спрашивал он.— Чего же стоит ваше, чисто-экономическое движение рабочих, руководимых не вами, а жандармами, чего оно стоит в сравнении с этим стихийным порывом крестьянства к социальной справедливости?

Вежливо улыбаясь, Самгин молчал и не верил старику, думая, что эти волнения крестьян, вероятно, так же убоги и мало значительны, как памятный грабеж хлебного магазина. А Суслов, натягивая рукава пиджака до кистей рук, точно подросток, которому костюм уже короток и неудобен, звенел:

— Зашел сказать, что сейчас уезжаю недели на три, на месяц; вот ключ от моей комнаты, передайте Любаше; я заходил к ней, но она спит. Расхворалась девица, — вздохнул он, сморщив серый лоб. — И — как не во-время! Ее бы надо послать в одно место, а она, вот...

Тут Самгин увидел, что старик одет празднично или как именинник, в новый темно-синий костюм, а его тощее тело воинственно выпрямлено. Он даже приобрел нечто напомнившее дядю Якова, полусгоревшего,

полумертвого человека, который явился воскрешать мертвецов. Ласково простясь, Суслов ушел, поскрипывая новыми ботинками и оставив у Самгина смутное желание найти в старике что-нибудь комическое. Комического — не находилось, но Клим, все-таки, с некоторой натугой подумал:

«Ему бы к пиджаку пришить золоченые пуговицы... Статский советник от революции...»

Минут через десять Суслова заменил Гогин, но не такой веселый, как всегда. Он оказался более осведомленным и чем-то явно недовольным. Шагая по комнате, прищелкивая пальцами, как человек в досаде, он вполголоса отчетливо говорил:

— Волнения начались в деревне Лисичьей и охватили пять уездов Харьковской и Полтавской губерний. Да-с. Там у вас, брат, так? Дайте его адрес. Туда едет Татьяна, надобно собрать материал для заграничников. Два адреса у нас есть, но, вероятно, среди наших аресты.

Подняв за спинку тяжелый стул, раскачивая его на вытянутой руке, Гогин задумчиво продолжал:

— Не охотник я рассуждать с одной стороны и с другой стороны, но, пожалуй, это — компенсация за парад Зубатова. Однако — не нр-равится мне это...

— Почему? — спросил Клим, несколько удрученный его рассказом.

— Как сказать? Нечто эмоциональное, — грешен! Недавно на одной фабрике стачка была, машины переломали. Квалифицированный рабочий машин не ломает, это всегда — дело чернорабочих, людей от сохи...

Он поставил стул, сел на него верхом и пощипал усики.

— Государственное хозяйство — машина. Старовата, изработалась? Да, но... Бедная, мы, страна! И вот тут вмешивается эмоция, которая... которая, может быть, — расчет. За границей наши поднимают вопрос о создании квалифицированных революционеров. Умная штука...

Не слушая его, Самгин пытался представить, как на родине Гоголя бунтуют десятки тысяч людей, которых он знал только «чоловиками» и «парубками» украинских пьес. Затем, при помощи прочитанной еще в отрочестве по настоянию отца «Истории крестьянских войн в Германии» и «Политических движений русского народа», воображение создало мрачную картину: лунной ночью, по извилистым дорогам, среди полей, катятся от деревни к деревне густые, темные толпы, окружают усадьбы помещиков, трутся о них; вспыхивают огромные костры огня, а люди кричат, свистят, воют, черной массой катятся дальше, все возрастая, как бы поднимаясь из земли; впереди их мчатся табуны испуганных лошадей, сзади умножаются холмы огня, под ними — тучи дыма, неба — не видно, а земля — пустеет, верхний слой ее как бы скатывается ковром, образуя все новые, живые, черные валы.

— Так, значит, в четверг! — спросил Алексей, встав и оглядываясь.

Самгин утвердительно кивнул головою, хотя и не слышал, что̀ именно предложил или о чем просил Гогин.

Когда он снова остался наедине с собою, его обняла холодным дымом скука знакомой тревоги. В памяти ожили темные массы людей. Волновались, прогибая под собою землю, сотни тысяч на Ходынском поле и вспомнилось, как он подумал, что, если эта сила дружно хлынет на Москву, она растопчет город в мусор и пыль. Шли десятки тысяч рабочих к бронзовому царю, дедушке голубоглазого молодого человека, который, подпрыгивая на сиденьи коляски, скакал сквозь рев тысяч людей, виновато улыбаясь им. Народ поднимает колокол, натягивая веревки так, будто хочет опрокинуть колокольню. Срывают «всем миром» замок с двери запасного хлебного магазина. Мужик, с деревянной ногою, ловит несуществующего сома. Другой мужик недоверчиво спрашивает:

— Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было!

В двух этих мужиках как будто было нечто аллегорическое и утешительное. Может быть, все люди ловят несуществующего сома, зная, что сом не существует, но скрывая это друг от друга. — Нет, глупо я думаю, — решил он, закрыв глаза и надевая очки. — Есть во мне что-то беспомощное, — решил он, но тотчас поправил себя: — Детское. Но — неужели я всегда буду жить так?.. Пленником, невольником?..

Скука вытеснила его из дому. Над городом, в холодном и очень высоком небе сверкало много звезд, скромно светилась серебряная подкова луны. От огней города небо казалось желтеньким. По Тверской, мимо ярких окон кофейни Филиппова, парадно шагали проститутки, щеголеватые студенты, беззаботные молодые люди с тросточками. Человек в мохнатом пальто, в котелке и с двумя подбородками, обгоняя Самгина сказал девице, с которой шел под руку:

— Ну, ладно, три целковых, но уж...

— Конечно, — честным голосом ответила девица. — Меня все хвалят.

А другой человек, с длинным лицом, в распахнутой шубе, стоя на углу Кузнецкого моста под фонарем, уговаривал собеседника, маленького, но сутулого, в измятой шляпе:

— Чорт с ними! Пусть школы церковно-приходские, только бы народ знал грамоту!

В коляске, запряженной парой черных зверей, ноги которых работали точно рычаги фантастической машины, проехала Алина Телепнева, рядом с нею — Лютов, а напротив их, под спиною кучера, размахивал рукою толстый человек, похожий на пожарного. Самгин вспомнил о Лидии, она живет где-то на Кавказе и, по словам Любаши, пишет книгу о чем-то. Варвара никогда не вспоминает о ней. Макаров — в Москве, но не заметен. Брат Дмитрий недавно прислал длинное и тусклое письмо, занят изучением кустарных промыслов, особенно — гончарного.

«Возможно, что он арестован», — подумал Самгин.

Молодцевато прошел по мостовой сменившийся с караула взвод рослых солдат, серебряные штыки, косо пронзая воздух, точно расчесывали его.

— Мы пошли? — спросила Самгина девица в широкой шляпе, задорно надетой на-бок, — ее неестественно расширенные зрачки колюче блестели.

— Атропин, конечно, — сообразил Клим, строго взглянув в раскрашенное лицо, и задумался о проститутках, — они, почему-то, предлагали ему себя именно в тяжелые, скучные часы.

— Забавно.

Но уже было не скучно, а — как всегда на этой улице — интересно, — шумно, откровенно распутно и не возбуждало никаких тревожных мыслей. Дома, осанистые и коренастые, стояли, плотно прижавшись друг к другу, крепко вцепившись в землю фундаментами. Самгин зашел в ресторан.

Когда он возвратился домой, жена уже спала. Раздеваясь, он несколько раз взглянул на ее лицо, спокойное, даже самодовольное лицо человека, который, сдерживая улыбку удовольствия, слушает что-то очень приятное ему.

— Она — счастливее меня. Потому что глупее.

Самгин лег, погасил огонь, с минуту прислушался к дыханию жены. В нем быстро закипело озлобление.

— Глупая баба с деланной скромностью распутницы, которая скромна только из страха обнаружить свою бешеную чувственность. Выкидыш она сделала для того, чтоб ребенок не мешал ее наслаждениям.

Темнота легко подсказывала злые слова. Самгин снизывал их одно с другим, и ему была приятна работа возбужденного чувства приятно насыщаться гневом. Он чувствовал себя сильным и, вспоминая слова жены, говорил ей:

— Да, я по натуре не революционер, но я честно исполняю долг порядочного человека, — я революционер по сознанию долга. А — ты? Ты — кто?

Ему даже захотелось разбудить Варвару, сказать в лицо ей жесткие слова, избить ее словами, заставить плакать.

«Вероятно, вот в таком настроении иногда убивают женщин», — мельком подумал он, прислушиваясь к шуму на дворе, где как будто лошади топали.

Через минуту раздался торопливый стук в дверь и глухой голос Анфимьевны:

— Полиция во флигель пришла. Не зажигайте огня, будто спите, — может, бог пронесет.

— Чорт бы взял, — пробормотал Самгин, вскакивая с постели, толкнув жену в плечо. — Проснись, обыск. Третий раз, — ворчал он, нащупывая ногами туфли, одна из них упрямо пряталась под кровать, а другая сплющилась, не пуская в себя пальцы ноги.

Варвара, уродливо длинная в ночной рубашке, перенеслась, точно по воздуху, к окну.

— Ах, боже мой...

— Не открывай занавеску.

— Есть у тебя что-нибудь? Прячь, дай мне, я спрячу... Анфимьевна спрячет.

Она убежала, отвратительно громко хлопнув дверью спальни, а Самгин быстро прошел в кабинет, достал из книжного шкафа папку, в которой хранилась коллекция запрещенных открыток, стихов, корректур статей, не пропущенных цензурой. Лично ему все эти бумажки давно уже казались пошленькими и, в большинстве, бездарными, но они были монетой, на которую он покупал внимание людей, и были ценны тем еще, что дешевизной своей укрепляли его пренебрежение к людям.

— Я — боюсь, — сознался он, хлопнув себя папкой по коленям, и швырнул ее на диван. Было очень обидно чувствовать себя трусом, и было бы еще хуже, если б Варвара заметила это.

— Арестуют... Чорт с ними! Вышлют из Москвы, не более, — торопливо уговаривал он себя. — Выберу город потише и буду жить вне этой бессмыслицы.

Вбежала Варвара.

— Давай!

Схватив папку, она, убегая, обнадежила:

— Кажется, не к тебе.

Самгин, осторожно отогнув драпировку, посмотрел в окно, по двору двигались человекоподобные сгустки тьмы.

— Не к тебе, — повторил он слова жены. — Другая сказала бы: не к нам.

Варвара снова возвратилась, он отошел от окна, сел на диван, глядя, как она, пытаясь надеть капот, безуспешно ищет рукав.

— Помоги же.

И, когда он расправил рукав, Варвара, прижавшись к нему, пробормотала:

— Не могу представить тебя в тюрьме.

— Сотни людей сидят.

— Ах, какое мне дело до сотен!

Сели на диван, плотно друг к другу. Сквозь щель в драпировке видно было, как по фасаду дома напротив ползает отсвет фонаря, точно желая соскользнуть со стены; Варвара, закурив папиросу, спросила:

— Неужели больную арестуют?

Самгин не ответил. Было глупо, смешно и неловко пред Варварой сидеть и ждать визита жандармов. Но — что же делать?

— А Суслов — уехал, — шептала Варвара. — Он, вероятно, знал, что будет обыск. Он — такая хитрая лиса...

— Неправда, — строго сказал Самгин.

Снова замолчали, прислушиваясь к заливистому кашлю на дворе: кашель начинался с басового буханья и, повышаясь, переходил в тонкий визг ребенка, страдающего коклюшем.

— Это — унизительно: ждать, — догадалась Варвара. — Я — лягу.

Она ушла, сердито шаркая туфлями.

Самгин встал, снова осторожно посмотрел в окно, в темноту; в ней ничего не изменилось, также на стене скользил свет фонаря.

— Испортилась горелка, — подумал Самгин. — Не придут, это ясно.

Итти в спальню не хотелось, он прилег на диване, чувствуя себя очень одиноким и в чем-то виноватым пред собою.

Утром, к чаю, пришел Митрофанов,— он был понятым при обыске у Любаши.

— Обыскивали строго, — рассказывал он и одобрительно улыбался. — Ни зерна не нашли, ни дробинки. А, все-таки, увезли.

— Но, ведь, она нездорова! — возмущенно воскликнула Варвара.

Иван Петрович пожал плечами, вздохнул:

— У них свои соображения, они здоровьем подозрительных людей не интересуются. И книги оказались законные, — продолжал он, снова улыбаясь. — Библия, наука, сочинения Тургенева том четвертый...

— А почему вы думали, что у нее должны быть какие-то незаконные книги? — подозрительно спросила Варвара.

Иван Петрович спрашивающими глазами взглянул на Самгина, ухмыльнулся, потер щеку и вполголоса заговорил:

— Эх, Варвара Кирилловна, что, уж, скрывать! Я, ведь, понимаю: пришло время перемещения сил и на должность дураков метят умные. И — пора. И, даже, справедливо. А уж если желаем справедливости, то, конечно, жалеть нечего. Я, ведь, только против убийства, воровства и вообще беспорядков.

Он согнулся, наклонясь к Варваре, и еще понизил голос:

— Однако — и убийство можно понять. «Запрос в карман не кладется», как говорят. Ежели стреляют в министра, я понимаю, что это запрос, заявление, так сказать: уступите, а то — вот! И для доказательства силы — хлоп!

Варвара осторожно засмеялась.

— Вы забавно говорите, Иван Петрович, — сказала она сквозь смех.

— Конечно, смешно, — согласился постоялец, — но, ей-богу, под смешным словом мысли у меня серьезные. Как я прошел и прохожу широкий слой жизни, так я вполне вижу, что людей, не умеющих управлять жизнью, никому не жаль, и все понимают, что хотя он и министр, но — бесполезность! И только любопытство, все равно как будто убит неизвестный, взглянут на труп, поболтают малость о причине уничтожения и отправляются кому куда нужно: на службу, в трактиры, а кто — по чужим квартирам, по воровским делам.

Самгин слушал философические изъявления Митрофанова и хмурился, опасаясь, что Варвара догадается о профессии постояльца. «Так вот чем занят твой человек здравого смысла»,— скажет она. Самгин искал взгляда Ивана Петровича, хотел предостерегающе подмигнуть ему, а тот, вдохновляясь все более, уже вспотел, как всегда при сильном волнении.

— Конечно, если это войдет в привычку, — стрелять, ну, это — плохо, — говорил он, выкатив глаза. — Тут, я думаю, все-таки сокрыта опасность — хотя вся жизнь основана на опасностях. Однако, ежели молодые люди пылкого характера выламывают зубья из гребня — чем же мы причешемся? А нам, Варвара Кирилловна, причесаться надо, мы — народ растрепанный, лохматый. Ах, господи! Уж я-то знаю, до чего растрепан человек...

Самгин громко кашлянул, но и это не помогло.

— Может быть, конечно, что это у нас от всесильной тоски по справедливости, ведь, знаете, даже воры о справедливости мечтают, да и все, вообще, в тоске по какой-нибудь другой жизни, отчего у нас и пьянство и распутство. Однако же, уверяю вас, Варвара Кирилловна, многие притворяются, сукиновы дети. Ведь, я же знаю. Например — преступники...

— Болван! — мысленно выругался Самгин и, крякнув, начал звонить ложкой о стакан, но тотчас же перестал мешать Митрофанову.

Свирепо вытаращив глаза, колотя себя кулаком по колену, Митрофанов протянул другую руку к Варваре, растопыря пальцы, как бы намереваясь схватить ее за горло.

— Какой же ты, сукинов сын, преступник, — яростно шептал он. — Ты же — дурак и... и ты во сне живешь, ты — добрейший человек, ведь вот ты что! Воображаешь ты, дурья башка! Паяц ты, актеришка и самозванец, а не преступник! Не Р-рокамболь, врешь! Тебе, сукинов сын до Рокамболя, как петуху до орла. И виновен ты в присвоении чужого звания, а не в краже со взломом, дур-рак!

Он встряхнулся, выпрямился и сказал более спокойно, подняв руку, как для присяги:

— Варвара Кирилловна, подобного нам народа — нет!

Варвара смотрела на него изумленно, даже как бы очарованно, она откинулась на спинку стула, заложив руки за шею, грудь ее неприлично напряглась. Самгин уже не хотел остановить излияния агента полиции, находя в них некий иносказательный смысл.

— Совершенно невозможный для общежития народ, вроде как блаженный и безумный. Каждая нация имеет своих воров и ничего против них не скажешь, ходят люди в своей профессии нормально, как в резиновых калошах. И — никаких предрассудков, — все понятно. А у нас самый ничтожный человечишко, простой карманник, обязательно с фокусом, с фантазией. Позвольте рассказать... По одному поручению...

Митрофанов заикнулся, мельком взглянул на Клима.

— То-есть не по поручению, а по случаю, пришлось мне поймать на деле одного полотера, он замечательно приспособился воровать мелкие вещи, кольца, серьги, броши и вообще. И вот, знаете, наблюдаю за ним. Натирает он в богатом доме паркет. В будуаре-с. Мальчишку помощника выслал, живенько открыл отмычкой ящик в трюмо, взял, что следовало, и погрузил в мастику. Прелестно. А затем-с...

Митрофанов подпрыгнул на стуле и его круглое, котово лицо осветилось нелепо радостной улыбкой.

— ...затем выбегает в соседнюю комнату, становится на руки, как молодой негодяй, ходит на руках и сам на себя в низок зеркала смотрит. Но — позвольте! Ему — тридцать четыре года, бородка солидная и даже седые височки. Да-с! Спрашивают... спрашиваю его: «Очень хорошо, Яковлев, а зачем же ты вверх ногами ходил?». Этого, — говорит, — я вам объяснить не могу, но такая у меня примета и привычка, чтобы после успеха в деле пожить минуточку вниз головою.

Он снова всем телом поддался к Варваре и тихо, убежденно, с какой-то горькой радостью, но как бы и с испугом продолжал:

— Это — не Рокамболь, а самозванство и вреднейшая чепуха. Это, знаете, самообман и заблуждение, так сказать, игра собою и кроме, как по морде — ничего не заслуживает. И, знаете, хорошо, что суд в такие штуки не вникает, а то бы — как судить? Игра, господи боже мой, и такая в этом скука, что — заплакать можно...

Он и заплакал. Его выпученные глаза омылились слезами, Самгину показалось, что слезы желтоватые и как пена. Покусав губы, чтоб сдержать дрожь их, Митрофанов усмехнулся.

— Невозможно понять поступки. Ермаков, коннозаводчик и в своем деле знаменитость, начал, от избытка средств, двухэтажный приют для старушек созидать, зданье с домовой церковью и прочее. Вдруг — обрушились леса, покалечило людей нескольких. Случай — понятный. Но Ермаков, после того, церковь строить запретил, а, достроив дом, отдал его, на смех людям, под неприличное заведение, под мэзон пюблик, как говорят французы из деликатности. Я вам таких примеров десятки расскажу. А — к чему примеряются люди? Не понимаю. И начинаешь думать, что уж нет человека без фокуса, от каждого ждешь, что вот-вот и — встанет он вверх ногами.

Тяжко вздохнув, Митрофанов встал, спросил:

— Думаете — просто все? Служат люди в разных должностях, кушают, посещают трактиры, цирк, театр и — только? Нет, Варвара Кирилловна, это одна оболочка, скорлупа, а внутри — скука. Обыкновенность жизни это — фальшь и до — времени, а наступит разоблачающая минута и — пошел человек вниз головою.

Он отвесил неуклюжий поклон.

— Извините, пожалуйста, что расстроился. Живешь, знаете, и... неудобно! Беспокойно. Простите.

Стряхивая рукою крошки хлеба с пиджака, он ушел.

— За-амечательно! — изумленно протянула Варвара, закрыв глаза, качая головою. — Как это... замечательно! Разоблачающая минута, а? Что ты скажешь?

— Да, интересно, — сказал Самгин, разбираясь в «системе фраз» агента полиции.

— Нет, он мало похож на человека здравого смысла, каким ты его считал, — говорила Варвара.

— Кажется, это — так, — пробормотал Самгин и пошел к себе.

— Не понимаю, чем он тебя разочаровал, — настойчиво допрашивала жена, идя за ним. — Ты зайдешь к Гогиным сообщить об аресте Любаши?

— Разумеется.

Он сел к столу, развернул пред собою толстую папку с надписью «Дело» и тотчас же, как только исчезла Варвара, упал, как в яму, заросшую сорной травой, в хаотическую путаницу слов.

— Самозванство. Игра в жизнь...

Ему казалось, что за этими словами спрятаны уже знакомые ему тревожные мысли. Митрофанов чем-то испуган, это — ясно, он вел себя, как человек виноватый, он, в сущности, оправдывался.

— Честный парень, потому и виноват, — заключил Самгин и с досадой почувствовал, что заключение это как бы подсказано ему со стороны, неприятно, чуждо.

Мешала думать Варвара, командуя в столовой:

— Пейте кофе.

— Спасибо, — ответил Кумов.

— В капоте, не причесана, ноги голые, — вспомнил Самгин о жене, а она допрашивала:

— Что же он говорил?

Мягким голосом и, должно быть, как всегда с улыбкой снисхождения к заблудившимся людям, Кумов рассказывал:

— Упрекал писателей реалистов в духовной малограмотности; это очень справедливо, но уже не новость, да, ведь, они и сами понимают, что реализм отжил.

— Вы думаете?

— Да, это — закон: когда жизнь становится особенно трагической — литература отходит к идеализму, являются романтики, как было в конце XVIII века...

— Гм... Так ли? — спросила Варвара.

— Взвешивает, каким товаром выгоднее торговать, — сообразил Самгин, встал и шумно притворил дверь кабинета, чтоб не слышать раздражающий голос письмоводителя и деловитые вопросы жены.

Вечером он пошел к Гогиным, не нравилось ему бывать в этом доме, где, точно на вокзале, всегда толпились разнообразные люди. Дверь ему открыл встрепанный Алексей, с карандашом за ухом и какими-то бумагами в кармане.

— Ага, это — вы? А у нас...

— ...обыск? — тихо спросил Самгин.

— Ну, разве теперь время для обыска?..

— Ночью арестована Любаша, — сообщил Самгин, не раздеваясь, решив тотчас же уйти.

Гогин ослепленно мигнул и щелкнул языком.

— С-скверно. Сестра — тоже. В Полтаве. Эх... Ну, идемте.

Он вытянул шею к двери в зал, откуда глухо доносился хриплый голос и кашель. Самгин сообразил, что происходит нечто интересное, да уже и неловко было уйти. В зале рычал и кашлял Дьякон; сидя у стола, он сложил руки свои на груди ковшичками, точно умерший, бас его потерял звучность, хрипел, прерывался глухо бухающим кашлем; Дьякон тяжело плутал в словах, недоговаривая, проглатывая, выкрикивая их натужно.

— Подобно исходу из плена египетского, — крикнул он как раз в те секунды, когда Самгин входил в дверь. — А Моисея — нет! И некому указать пути в землю обетованную.

Самгин тотчас подметил что-то новое и жуткое в этом издавна неприятном ему человеке. Дьякон уродливо расплющился, стал плоским; сидел он прямо, одеревенело. Совершенно седая борода его висела клочьями, точно у нищего, который нарочитой неприглядностью хочет возбудить жалость. И облысел он неприглядно: со лба до затылка волосы выпали, обнажив серую кожу, но кое-где на ней остались коротенькие клочья, а над ушами торчали, как рога, два длинных клочка. Кожа лица сморщилась, лицо стало длинным, как у Василия Блаженного, с дешевой иконы «богомаза».

— И ничего не было у них, ни ружьишка, ни пистолетишка, только палки, да колья, да вопли...

«В нем есть что-то театральное», — подумал Самгин, пытаясь освободиться от угнетающего чувства. Оно возросло, когда Дьякон, медленно повернув голову, взглянул на Алексея, подошедшего к нему, — оплывшая кожа безобразно обнажила глаза Дьякона, оттянув и выворотив веки, показывая красное мясо, зрачки расплылись, и мутный блеск их был явно безумен.

— Ну, пишите, пишите, все равно, — сказал Дьякон, отмахиваясь от Алексея тяжелым жестом руки.

На него смотрели человек пятнадцать, рассеянных по комнате, Самгину казалось, что все смотрят так же, как он: брезгливо, со страхом, ожидая необыкновенного. У двери сидела прислуга, кухарка, горничная, молодой дворник Аким; кухарка беззвучно плакала, отирая глаза концом головного платка. Самгин сел рядом с человеком, согнувшимся на стуле, опираясь локтями о колена, охватив голову ладонями.

— Великое отчаяние, — хрипло крикнул Дьякон и закашлялся.— Половодью подобен был ход этот по не засеянным, не вспаханным полям. Как слепорожденные шли, озимя топтали, свое добро. И вот, наскакал на них воевода этот, Сеннахериб Харьковский...

— Он — нетрезвый? — шопотом спросил Самгин соседа, — тот, не пошевелясь, довольно громко проворчал:

— Вы сами пьяный...

— Старосте одному пропороли брюхо нагайкой. До кишек. Баб хлестали, как лошадей.

Кто-то из угла спросил тихо и безнадежно:

— Попыток сопротивления — не было?

— Чем сопротивляться? Пальцами? Кожа сопротивлялась, когда ее драли...

Дьякон замолчал, оглядываясь кровавыми глазами. Изо всех углов комнаты раздались вопросы, одинаково робкие, смущенные, только сосед Самгина спросил громко и строго:

— Сколько же тысяч было?

— Не считал. Несчетно.

Самгин по голосу узнал в соседе Пояркова и отодвинулся от него.

— Вот, вы сидите и интересуетесь: как били и чем, и многих ли, — заговорил Дьякон, кашляя и сплевывая в грязный платок. — Что же: все для статей, для газет? В буквы все у вас идет, в слова. А — дело-то когда?

Он попробовал приподняться со стула, но не мог, огромные сапоги его точно вросли в пол. Вытянув руки на столе, но не опираясь ими, он еще раз попробовал встать и тоже не сумел. Тогда, медленно ворочая шеей, похожей на ствол дерева, воткнутый в измятый воротник серого кафтана, он, осматривая людей, продолжал:

— Словами и я утешался, стихи сочинял даже. Не утешают слова. До времени — утешают, а настал час и — стыдно...

«Разоблачающая минута», — автоматически вспомнил Самгин.

— Что — слова? Помет души.

Согнувшись так, что борода его легла на стол, разводя по столу руками, Дьякон безумно забормотал:

Присмотрелся Дьявол к нашей жизни,
Ужаснулся и — завыл со страха:
«Господи. Что ж это я наделал?
Одолел тебя я, — видишь, боже?
Сокрушил я все твои законы,
Друг ты мой и брат мой неудачный.
Авель ты...

Закашлялся, подпрыгивая на стуле, и прохрипел:

— Вот что сочинял... Забыл дальше-то... В конце они:

Обнялись и оба горько плачут...

Дьякон ударил ладонью по столу.

— А — на что они, слезы-то бога и дьявола, о бессилии своем? На что? Не слез народ просит, а Гедеона, Маккавеев...

Он еще раз ударил по столу и удар этот, наконец, помог ему, он встал, тощий, длинный и очень громко, грубо прохрипел:

— Иисус Навин нужен. Это — не я говорю, это вздох народа. Сам слышал: человека нет у нас, человека бы нам! Да.

По длинному телу его от плеч до колен волной прошла дрожь.

— Был проповедник здесь, в подвале жил, требухой торговал на Сухаревке. Учил: камень — дурак, дерево — дурак и бог — дурак! Я, тогда, молчал. Врешь, думаю: Христос — умен! А теперь — знаю: все это для утешения! Все слова. Христос тоже — мертвое слово. Правы отрицающие, а не утверждающие. Что можно утверждать против ужаса? Ложь. Ложь утверждается. Ничего нет, кроме великого горя человеческого. Остальное — дома и веры и всякая роскошь, и смирение — ложь.

Хотя кашель мешал Дьякону, но говорил он с великой силой, и на некоторых словах его хриплый голос звучал уже попрежнему бархатно. Пред глазами Самгина внезапно возникла мрачная картина: ночь, широчайшее поле, всюду по горизонту пылают огромные костры, и от костров идет во главе тысяч крестьян этот яростный человек с безумным взглядом обнаженных глаз. Но Самгин видел и то, что слушатели, переглядываясь друг с другом, похожи на зрителей в театре, на зрителей, которым не нравится приезжий гастролер.

— И о рабах — не верно, ложь! — говорил Дьякон, застегивая дрожащими пальцами крючки кафтана. — До Христа — рабов не было, были просто пленники, телесное было рабство. А со Христа — духовное началось, да!

Поярков поднял голову, выпрямился.

— Верно, батя, — сказал он.

— Позвольте, однако, — возмущенно воскликнул человек с забинтованной ногою и палкой в руке, — Поярков зашипел на него, а Дьякон, протянув к нему длинную руку с растопыренными пальцами, рычал:

— Был у меня сын... Был Петр Маракуев, студент, народолюбец. Скончался в ссылке. Сотни юношей погибают, честнейших! — И — народ погибает. Курчавенький казачишко хлещет нагайкой стариков, которые по полусотне лет царей сыто кормили, епископов, вас всех, всю Русь... он их нагайкой, да! И гогочет с радости, что бьет и что убить может, а — наказан не будет. А?

«А» Дьякон рявкнул оглушительно и так, что заставил Самгина ожидать площадного ругательства. Но, оттолкнув ногою стул, на котором он сидел, Дьякон встряхнулся, точно намокшая под дождем птица, вытащил из кармана пестрый шарф и, наматывая его на шею, пошел к двери.

— Не могу больше, — бормотал он. — Простите. Нездоровится.

За ним пошел Алексей и седая дама в трауре; она обеспокоенно спросила:

— Где же вы ночуете?

Дьякон, кашляя, не ответил. Он шел, как слепой, раздвигая рукою воздух впереди себя, тяжело топая.

Чтоб избежать встречи с Поярковым, который снова согнулся и смотрел в пол, Самгин тоже осторожно вышел в переднюю, на крыльцо. Дьякон стоял на той стороне улицы, прижавшись плечом к столбу фонаря, читая какую-то бумажку, подняв ее к огню, ладонью другой руки он

прикрывал глаза. На голове его была необыкновенная фуражка, Самгин вспомнил, что в таких художники изображали чиновников Гоголя.

— Мошенники, — пробормотал Дьякон, как пьяный и всхрапывая, кашляя начал рвать бумажку, потом, оттолкнув от себя столб фонаря, шумно застучал сапогами.

Улица была узкая, идя по другой стороне, Самгин слышал хрипящую воркотню:

— «Жертва богу... дух сокрушен... сердце сокрушенно и смиренно»... Х-хе...

Встречные люди оглядывались на длинную, безрукую фигуру; руки Дьякон плотно прижал к бокам и глубоко сунул их в карманы.

— Должно быть, не легко в старости потерять веру, — размышлял Самгин, вспомнив, что устами этого полуумного, полуживого человека разбойник Никита говорил Христу:

Мы тебя — и ненавидя — любим,
Мы тебе и ненавистью служим...

Время позаботилось, чтоб это впечатление не долго тяготило Самгина.

Через несколько дней около полуночи, когда Варвара уже легла спать, а Самгин работал у себя в кабинете, горничная Груша сердито сказала, точно о коте или о собаке:

— Постоялец просится.

Митрофанов вошел на цыпочках, балансируя руками, лицо его было смешно стянуто к подбородку, усы ощетинены, он плотно притворил за собою дверь и, подойдя к столу, тихонько сказал:

— Опять студент министра застрелил.

Самгин едва сдержал улыбку, — очень смешно было лицо Митрофанова, его опустившиеся плечи и общая измятость всей его фигуры.

— Наповал, как тетерева. Замечательно ловко, переоделся офицером и — бац!

— Это — верно? — спросил Самгин, чтоб сказать что-нибудь.

— Ну, как же? У нас все известно тотчас после того, как случится, — ответил Митрофанов и, вздохнув, сел, уперся грудью на угол стола.

— Клим Иванович, — шопотом заговорил он, — объясните, пожалуйста, к чему эта война студентов с министрами? Непонятно несколько: Боголепова застрелили, Победоносцева пробовали, нашего Трепова... а теперь, вот... Не понимаю расчета, — шептал он, накручивая на палец носовой платок. — Это, уж, знаете, похоже на Африку: негры, носороги, вообще — дикая сторона!

— Я террору не сочувствую, — сказал Самгин несколько торопливо, однако не совсем уверенно.

— Благоразумие ваше мне известно, потому я и...

Грузное тело Митрофанова, съехав со стула, наклонилось к Самгину, глаза вопросительно выкатились.

— По-моему это не революция, а простая уголовщина, вроде, как бы, любовника жены убить. Нарядился офицером и в качестве са-

мозванца — трах! Это уж не государство, а деревня... Где же безопасное государство, ежели все стрелять начнут?

— Конечно, эти единоборства — безумие, — сказал Самгин строгим тоном. Он видел, что чем более говорит Митрофанов, тем страшнее ему, он уже вспотел, прижал локти к бокам, стесненно шевелил кистями, и кисти напоминали о плавниках рыбы.

— Нарядился, — повторял он. — За ним кто-нибудь попом нарядится и архиерея застрелит...

Потом, подвинувшись к Самгину еще ближе, он сказал:

— Клим Иванович, вы, конечно, понимаете, что дом — подозревается...

— То есть — мой дом? Я?

— Ну, да. Я, конечно, с филерами знаком по сходству службы. Следят, Клим Иванович, за посещающими вас.

— И за мною?..

— А — как же? Тут — женщина скромного вида ходила к Сомовой, Никонова, как будто. Потом г. Суслов и вообще... Знаете, Клим Иванович, вы бы как-нибудь...

— Благодарю вас, — сказал Самгин теплым тоном.

Митрофанов, должно быть, понял благодарность, как желание Самгина кончить беседу. Он встал, прижал руку к левой стороне груди.

— Ей-богу, это — от великого моего уважения к вам...

— Я понимаю, спасибо.

Самгин протянул ему руку, а сыщик, жадно схватив ее обеими своими, спросил шопотом:

— Что же,— студент этот, за своих стрелял или за хохлов? Не знаете?

— Не знаю, — ответил Самгин, невольно поталкивая гостя к двери, поспешно думая, что это убийство вызовет новые аресты, репрессии, новые акты террора и, очевидно, повторится пережитое Россией двадцать лет тому назад. Он пошел в спальню, зажег огонь, постоял у постели жены, — она спала крепко, лицо ее было сердито нахмурено. Присев на кровать свою, Самгин вспомнил, что, когда он сообщил ей о смерти Маракуева, Варвара спокойно сказала:

— Я знаю.

— Что ж ты не сказала мне?

Варвара ответила:

— Если ты хочешь отслужить панихиду, это не поздно.

— Глупо шутишь, — заметил он.

— Я — не шучу, я — служила, — сказала она, повернувшись к нему спиною.

— Да, она становится все более чужим человеком, — подумал Самгин, раздеваясь. — Не стоит будить ее, завтра скажу о Сипягине, — решил он, как бы наказывая жену.

Она сама сказала ему это, разбудила и, размахивая газетой, почти закричала:

— Застрелили Сипягина, читай!

И, присев на его постель тихонько, но очень взволнованно сообщила:

— Студент Балмашев. Понимаешь, я, кажется, видела его у Знаменских, его и с ним сестру или невесту, вероятнее — невесту, маленькая барышня в боа из перьев, с такой армянской, что ли, фамилией...

Комкая газету, искривив заспанное лицо усмешкой, она пожаловалась:

— Скоро нельзя будет никуда выйти без того, чтоб героя не встретить...

Она не кончила, но Клим, догадавшись, что она хотела сказать, заметил:

— А помнишь, как ты жаждала героев?

Фыркнув, Варвара подошла к трюмо, нервно раздергивая гребнем волосы.

— Работа на реакцию, — сказал Клим, бросив газету на пол. — Потом какой-нибудь Лев Тихомиров снова раскается, скажет, что террор был глупостью и России ничего не нужно, кроме царя.

— Не понимаю, почему нужно дожидаться Тихомирова... и вообще — не понимаю! В стране началось культурное оживление, зажглись яркие огни новой поэзии, прозы... наконец — живопись! — раздраженно говорила Варвара, причесываясь, морщась от боли, — в ее раздражении было что-то очень глупое.

Самгин усмехнулся, пошел мыться, но, войдя в уборную, сел на кушетку, прислушиваясь. Ему показалось, что в доме было необычно шумно, как во дни уборки пред большими праздниками: хлопали двери, в кухне гремели кастрюли, бегала горничная, звеня посудой, сильнее, чем всегда; тяжело, как лошадь, топала Анфимьевна.

Самгин подумал, что, вероятно, вот так же глупо-шумно сейчас во множестве интеллигентских квартир; везде полуодетые, непричесанные люди читают газету, радуются, что убит министр, соображают — что будет?

— Нелепая жизнь...

Когда он вышел из уборной, встречу ему по стене коридора подвинулся, как тень, повар, держа в руке колпак и белый весь, точно покойник.

— Позвольте спросить, Клим Иванович...

Красное, пропеченное личико его дрожало, от беззубой, иронической улыбки по щекам на голый череп ползли морщины.

— Интересуюсь понять намеренность студентов, которые убивают верных слуг царя, единственного защитника народа, — говорил он писклывым, вздрагивающим голосом и жалобно, хотя, видимо, желал говорить гневно. Он мял в руках туго накрахмаленный колпак, издавна пьяные глаза его плавали в желтых слезах точно ягоды крыжовника в патоке.

— Семьдесят лет живу... Многие, бывшие студентами, достигли высоких должностей, — сам видел! Четыре года служил у родственников убиенного его превосходительства, боярина Сипягина... видел молодым человеком, — говорил он, истекая слезами и не слыша советов Самгина.

— Успокойтесь, Егор Васильевич!

— Никаких других защитников, кроме царя, не имеем, — всхлипывал повар. — Я — крепостной человек, дворовый, — говорил он, стуча красным кулаком в грудь. — Всю жизнь служил дворянству... Купечеству тоже служил, но — это мне обидно! И если против царя пошли купеческие дети, Клим Иванович, — нет, позвольте...

Из кухни величественно вышла Анфимьевна, рукава кофты ее были засучены, толстой, как нога, рукой она взяла повара за плечо и отклеила его от стены, точно афишу.

— Ну-ка, иди к делу, Егор! Выпей нашатыря иди!

Увлекая его точно ребенка, она сказала Самгину через плечо свое:

— Вы его разговором не балуйте. Ему — все равно, он и с мухами может говорить.

А, втолкнув повара в кухню, объяснила:

— Господа испортили его, — он, ведь, все в хороших домах жил.

— Трогательный старик, — пробормотал Клим.

— Тронешься, эдакие-то годы прожив, — вздохнула Анфимьевна.

Через час Клим Самгин вошел в кабинет патрона. Большой, солидный человек, сидя у стола в халате, протянул ему теплую, душистую руку, пошевелил бровями и, пытливо глядя в лицо, спросил вполголоса:

— Ну-с, что же вы скажете?

— Работа на реакцию, — сказал Клим.

Патрон повел глазами на маленькую дверь в стене, налево от себя.

— Потише, там — новый письмоводитель.

Он подумал, посмотрел в потолок.

— На реакцию, говорите? Гм, вопрос очень сложный. Конечно, молодежь горячится, но...

Он снова задумался, высоко подняв брови. В это утро он блестел более чем всегда, и более крепок был запах одеколона, исходивший от него. Холеное лицо его солидно лоснилось, сверкал перламутр ногтей. Только глаза его играли вопросительно, как будто немножко тревожно.

— Да, молодежь горячится, однако — это понятно, — говорил он, тщательно разминая слова губами. — Возмущение здоровое... Люди видят, что правительство бессильно овладеть... то есть — вообще бессильно. И — бездарно, как об этом говорят волнения на юге.

Оглянувшись, патрон прислушался к тишине.

— Революция с подстрекателями, но без вождей... вы понимаете? Это — анархия. Это — не может дать результатов, желаемых разумными силами страны. Так же как и восстание одних вождей, — я имею в виду декабристов, народовольцев.

Самгин, вспомнив Дьякона, подумал:

— Кажется, и этот о Гедеонах мечтает. Хорош бы он был в роли Гедеона со своим животом и брелоками.

— Хочется думать, что молодежь понимает свою задачу, — сказал патрон, подвинув Самгину пачку бумаг и встал; халат распахнулся, показав шелковое белье на крепком теле циркового борца.

— Разумеется, людям придется вести борьбу на два фронта, — внушительно говорил он, расхаживая по кабинету, вытирая платком пальцы. — Да, на два: против лиходеев справа, которые доводят народ снова до пугачевщины, как было на юге, и против анархии отчаявшихся.

Самгину было приятно, что этот очень сытый человек встревожен. У него явилась забавная мысль: попросить Митрофанова, чтоб он навел воров на квартиру патрона. Митрофанов мог бы сделать это, наверное он в дружбе с ворами. Но Самгин тотчас же смутился:

— Чорт знает, какая чепуха лезет в голову.

Патрон подошел к нему и сказал:

— Кстати: послезавтра вечером у меня... меня просили устроить маленькое собрание. Приходите. Некто из... провинции, скажем, сделает интересное сообщение... как мне обещали.

— Доволен, — думал Самгин, почтительно кланяясь. — Явно доволен. Нет, я таким не буду никогда, — заключил он без сожаления.

— Из суда зайдите ко мне, я сегодня не выхожу, не здоров. На этой неделе вам придется съездить в Калугу.

В три дня Самгин убедился, что смерть Сипягина оживила и обрадовала людей значительно более, чем смерть Боголепова. Общее настроение показалось ему сродным с настроением зрителей в театре после первого акта драмы, сильно заинтересовавшей их.

— Кажется, серьезно взялись, — сказал рыжий адвокат Магнит, потирая руки.

— Посмотрим, посмотрим, что будет, — говорили одни, неумело скрывая свои надежды на хороший конец.

Другие, притворяясь скептиками, утверждали:

— Ничего не будет. Это — испытано.

Старик Гогин говорил, как бы упрашивая и намекая:

— Вот если б теперь рабочие надавили хорошей забастовкой, тогда, наверное, можно бы поздравить Россию с конституцией, — верно, Алеша?

Хмурый, похудевший Алексей неохотно ответил:

— Рабочие, кажется, устали работать на чужого дядю.

На улице Самгин встретил Редозубова.

— Бессмысленно, — сказал бывший толстовец, — убили комара, когда нужно осушить болото.

Эта фраза показалась Климу деланной и пустой; гораздо естественней прозвучал другой, озабоченный вопрос Редозубова:

— Вы, юрист, как думаете: Балмашова тоже не повесят, как побоялись повесить Карповича?

День собрания у патрона был неприятен, холодный ветер врывался в город с Ходынского поля, сеял запоздавшие, клейкие снежинки, а вечером разыгралась вьюга. Клим чувствовал себя уставшим, нездоровым, знал, что опаздывает, и сердито погонял извозчика, а тот, ослепляемый снегом, подпрыгивая на козлах, философски отмалчиваясь от понуканий седока, уговаривал лошадь:

— Беги, дура, к дому едем!

«И, все-таки, приходится жить для того, чтоб такие, вот, люди что-то значили»,— неожиданно для себя подумал Самгин, и от этого ему стало еще холодней и скучней.

Дверь в квартиру патрона обычно открывала горничная, слащавая старая дева, а на этот раз открыл камердинер Зотов, бывший матрос, человек лет пятидесяти, до синя бритый, с пухлым лицом разъевшегося монаха и недоверчивым взглядом из-подлобья.

— Пожалуйте в зало, — предложил он, встряхивая мокрое пальто.

Самгин, протирая очки, постоял пред дубовой дверью, потом осторожно приотворил ее и влез в узкую щель боком, понимая, что это глупо. Пред ним встала картина, напомнившая заседание масонов в скучном романе Писемского; посреди большой комнаты, вокруг овального стола под опаловым шаром лампы сидело человек восемь; в конце стола — патрон, рядом с ним — белогрудый, накрахмаленный Прейс, а по другую сторону — Кутузов в тужурке инженера путей сообщения. Присутствие Кутузова не удивило Клима, как будто он уже знал, что «человек из провинции» и должен был быть именно Кутузовым. Через стул от Кутузова сидел, вскинув руки за шею, низко наклонив голову, незнакомый в широком, сером костюме, сначала Клим принял его за пустое кресло в чехле. А плечо в плечо с Прейсом навалился грудью на стол бритоголовый; синий череп его торчал почти на средине стола; пошевеливая острыми костями плеч, он, казалось, хочет весь вползти на стол.

Освещая стол, лампа оставляла комнату в сумраке, наполненном дымом табака; у стены, вытянув и неестественно перекрутив длинные ноги, сидел Поярков, он, как всегда, низко нагнулся, глядя в пол, рядом — Алексей Гогин и человек в поддевке и смазных сапогах, похожий на извозчика; вспыхнувшая в углу спичка осветила курчавую бороду Дунаева. Клим сосчитал головы: семнадцать.

Он считал по головам оттого, что большинство людей вытянуло шеи в сторону Кутузова. В позах их было явно выраженное напряжение, как будто все нетерпеливо ждали, когда Кутузов кончит говорить.

— Все это вы, конечно, читали, — говорил он, от папиросы в его руке поднималась к лампе спираль дыма, тугая, как пружина.

— Читали, — звонко подтвердил бритоголовый. — С изумлением читали, — продолжал он, наползая на стол. — Организация заговорщиков, мальчишество, Густав Эмар, романтизм гимназиста, — оппонент засмеялся искусственным смехом, и кожа на голове его измялась, точно чепчик.

— Позвольте, — строго сказал патрон, пристукнув карандашом по столу.

Бритый повернул лицо к нему, говоря с усмешкой:

— Автора этой затеи я знал, как серьезного юношу, но, очевидно, жизнь за границей...

— Прошу не мешать докладчику, — сказал патрон и обиженно надул щеки.

Кутузов, стряхнув пепел папиросы мимо пепельницы, стал говорить знакомо Климу о революционерах скуки ради и ради Христа, из романтизма и по страсти к приключениям; он произносил слова насмешливые, но голос его звучал спокойно и не обидно. Коротко, клином подстриженная бородка, толстые, но тоже подстриженные усы не изменяли его мужицкого лица.

«Он никогда не сумеет переодеться так, чтоб его нельзя было узнать», — подумал Самгин, слушая.

— Мне кажется, что появился новый тип русского бунтаря, — бунтарь из страха пред революцией. Я таких фокусников видел. Они органически неспособны итти за «Искрой», то есть, определеннее говоря, — за Лениным, но они, видя рост классового сознания рабочих, понимая неизбежность революции, заставляют себя верить Бернштейну...

— Неправда, — глухо сказал кто-то из угла.

— Могу привести примеры.

— Из практики Зубатова, — резко подсказал кто-то.

Кутузов помолчал, должно быть, ожидая возражений, воткнул папиросу в пепельницу и продолжал:

— Недавно, беседуя с одним из таких хитрецов, я вспомнил остроумную мысль тайного советника Филиппа Вигеля из его «Записок». Он сказал там: «Может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков и давным давно из хаоса образовалось бы благоустройство и порядок» — этими словами Вигель выразил свое, несомненно искреннее сожаление о том, что Александр Первый не расправился своевременно с декабристами.

С улыбкой взглянув в неподвижное и непроницаемое лицо Прейса, он сказал погромче:

— Струве в предисловии к записке Витте о земстве пытается испугать департамент полиции своим предвидением ужасных жертв. Но мне кажется, что за этим предвидением скрыто предупреждение: глядите в оба, дураки! И хотя он, там же, советует «смириться пред историей и смирить самодержавца», но, ведь, это надобно понимать так: скорее поделитесь с нами властью, и мы вам поможем в драке...

— Позвольте! — звучно сказал Прейс, вставая. — Я — протестую. Этот выпад против талантливейшего...

Патрон потянул его за рукав и, нахмурясь, зашептал что-то в ухо ему, а Кутузов, как бы не услыхав крика, продолжал:

— Я совершенно убежден, что у нас есть уже не мало революционеров, которые торопятся разыграть драму, для того чтоб поскорее насладиться идиллией...

— Это вы — против себя, против Ленина, — с восторгом выкрикнул бритоголовый. — Это он...

— Ленин — не торопится, — сказал Кутузов. — Он просто утверждает необходимость воспитания из рабочих, из интеллигентов мастеров и художников революции.

— Влияние народников! Герои, толпа...

— Заговоры сочинять, хо-хо!

Более половины людей закричало сразу. Самгин не мог понять, приятно ему или нет видеть так много людей, раздраженных и обиженных Кутузовым.

Преодолевая шум, кричал из угла глуховатый голос:

— Совершенно верно сказано. Многие потому суются в революцию, что страшно жить. Подобно баранам ночью, на пожаре, бросаются прямо в огонь.

Он как будто нарочно подбирал слова на о, и они напористо лезли в уши.

Патрон, шлепая ладонью по столу, безуспешно внушал:

— Гос-пода! Поря-док...

Его не слушали. Кутузов заклеивал языком лопнувшую папиросу, а Поярков кричал через его плечо Прейсу:

— Да, необходимо создать организацию, которая была бы способна объединять в каждый данный момент все революционные силы, всякие вспышки, воспитывать и умножать бойцов для решительного боя, — вот! Дунаев, товарищ Дунаев...

Дунаева прижали к стене двое незнакомых Климу молодых людей, один — в поддевке; они, на перебой, говорили ему что-то, а он смеялся, протяжно, поддразнивающим тоном тянул:

— Да — неужели?

Человек в поддевке сипло говорил в лицо Дунаева:

— Крестьянство захлестнет вас как сусликов.

— Да — ну-у? Сгорят бараны? Пускай. Какой вред? Дым гуще, вонь будет, а вреда — нет.

Особенно был раздражен бритоголовый человек, он расползался по столу, опираясь на него локтем, протянув правую руку к лицу Кутузова. Синий шар головы его теперь пришелся как раз под опаловым шаром лампы, смешно и жутко повторяя его. Слов его Самгин не слышал, а в голосе чувствовал личную и горькую обиду. Но был ясно слышен сухой голос Прейса:

— Никак не мог я ожидать, что вы — вы! — дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников и вообще до...

От волнения он удваивал начальные слога некоторых слов. Кутузов смотрел на него улыбаясь и вежливо пускал дым из угла рта, в сторону патрона, патрон отмахивался ладонью; лицо у него было безнадежное, он гладил подбородок карандашом и смотрел на синий череп, качавшийся пред ним. Поярков неистово кричал:

— Эволюция? Задохнетесь вы в этой эволюции, вот что! Лакейство пред действительностью, а ей надо кости переломать.

Слово действительность он произнес сквозь зубы и расчленяя по слогам, слог «стви» звучал как ругательство, а лицо его покрылось пятнами, глаза блестели, как чешуйки сазана.

— Дунаев держит его за пояс, точно злого пса, — отметил Клим.

— Мы, старые общественные работники, — сильным басом и возмущенно говорил патрон.

Его не слушали. Рассеянные по комнате люди, выходя из сумрака, из углов, постепенно и как бы против воли своей, сдвигались к столу. Бритоголовый встал на ноги и оказался длинным, плоским и, по фигуре, похожим на Дьякона. Теперь Самгин видел его лицо, лицо человека, как бы только что переболевшего какой-то тяжелой, иссушающей болезнью, собранное из мелких костей, обтянутое старчески желтой кожей; в темных глазницах сверкали маленькие, узкие глаза.

— Фанатизм! Аввакумовщина! Баварское крестьянство доказало... Деревенский социализм Италии...

Он взвизгивал и точно читал заголовки конспекта, бессвязно выкрикивая их. Руки его были коротки сравнительно с туловищем, он расталкивал воздух локтями, а кисти его болтались, как вывихнутые. Кутузов, покуривая, не громко, неохотно и кратко возражал ему. Клим не слышал его и досадовал — очень хотелось знать, что говорит Кутузов. Многогласие всегда несколько притупляло внимание Самгина, и он уже не столько следил за словами, сколько за игрою физиономий.

— Господа! — кричал бритый. — «Тяжелый крест достался нам на долю!» Каждый из нас — раб, прикованный цепью прошлого к тяжелой колеснице истории; мы — каторжники, осужденные на работу в недрах земли...

— Позвольте, я не согласен! — заявил о себе человек в сером костюме и в очках на татарском лице. — Прыжок из царства необходимости в царство свободы должен быть сделан, иначе — Ваал пожрет нас. Мы должны переродиться из подневольных людей в свободных работников...

— Это — ваше дело, перерождайтесь, — громко произнес Кутузов и спросил: — Но какое же до вас дело рабочему-то классу, действительно революционной силе?

Он стал говорить тише и этим заставил слушать себя. Стоя у стены, в тени, Самгин понимал, что Кутузов говорит нечто разоблачающее именно его, Самгина. Он видел, что в этой комнате, скудно освещенной опаловым шаром, пародией на луну, есть люди, чей разум противоречит чувству,

но эти люди все же расколоты не так, как он, человек, чувство и разум которого мучает какая-то непонятная третья сила, заставляя его жить не так, как он хочет. Слушая Кутузова, он ощущал, что спокойное, даже как будто неохотное течение речи кружит и засасывает его в какую-то воронку, в омут. Не впервые ощущал он гипнотическое влияние Кутузова, но никогда еще не ощущал этого с такой силой.

— Должно быть, он прав, — соображал Самгин, вспомнив крики Дьякона о Гедеоне и слова патрона о революции «с подстрекателями, но без вождей».

Он видел, что большинство людей примолкло, лишь некоторые укрощенно ворчат, да иронически похохатывает бритоголовый. Кутузов говорит, как профессор со своими учениками.

— Я — понимаю: все ищут ключей к тайнам жизни, выдавая эти поиски за серьезное дело. Но — ключей не находят и пускают в дело идеалистические фомки, отмычки и всякий другой воровской инструмент.

— Вульгарно! — крикнул бритый, притопнув ногой, нагнувшись вперед, точно падая. — Наука...

— Я не говорю о положительных науках, источнике техники, облегчающей каторжный труд рабочего человека. А что — вульгарно, так я не претендую на утонченность. Человек я грубоватый, с тем и возьмите.

Говоря, Кутузов постукивал пальцем левой руки по столу, а пальцами правой разминал папиросу,— должно быть, слишком туго набитую. Из нее на стол сыпался табак, патрон, брезгливо оттопырив нижнюю губу, следил за этой операцией неодобрительно. Когда Кутузов размял папиросу, патрон, вынув платок, смахнул табак со стола на колени себе. Кутузов с любопытством взглянул на него, и Самгину показалось, что уши патрона покраснели.

— Рассуждая революционно, мы, конечно, не боимся действовать противозаконно, как боятся этого некоторые иные. Но — мы против «вспышкопускательства», — по слову одного товарища, — и против дуэлей с министрами. Герои на час приятны в романах, а жизнь требует мужественных работников, которые понимали бы, что великое дело рабочего класса — их кровное, историческое дело...

— Вы проповедник якобы неоспоримых истин, — закричал бритый. Он говорил быстро, захлебываясь словами, и Самгин не мог понять его, а Кутузов, отмахнувшись широкой ладонью, сказал:

— Не верно, милостивый государь, культура, действительно, погибает, но не от механизации жизни, как вы изволили сказать, не от техники, культурное значение которой, видимо, не ясно вам, — погибает она от идиотической психологии буржуазии, от жадности мещан, торгашей, убивающих любовь к труду. Затем — еще раз повторю: великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он, шельма, надеется за бурей обрести покой. Это — может быть — законно, но —

до покоя — не близко. Лично я сомневаюсь, что он возможен и нужен человеку.

Кутузов встал, вынул из кармана толстые, как луковица, серебряные часы, взглянул на них, взвесил на ладони.

— Однако не пора ли прекратить эти «микроскопические для души увеселения»? Так озаглавлена одна старинная книга о гидре, организме примитивнейшем и слепом.

Самгин незаметно подвигался к двери; ему не хотелось встречи с Кутузовым, а того более — с Поярковым и Дунаевым. В комнате снова бурно закричали, кто-то возмутился:

— Вы называете микроскопическими увеселениями...

На улице было пустынно и неприятно тихо. Полночь успокоила огромный город. Огни фонарей освещали грязно-желтые клочья облаков. Таял снег и от него уже исходил запах весенней сырости. Мягко падали капли с крыш, напоминая шорох ночных бабочек о стекло окна.

Самгин шел тихо, как бы опасаясь расплескать на ходу все то, чем он был наполнен. Большую часть сказанного Кутузовым Клим и читал и слышал из разных уст десятки раз, но в устах Кутузова эти мысли принимали как бы густоту и тяжесть первоисточника. Самгин видел пред собой Кутузова в тесном окружении раздраженных, враждебных ему людей, вызывающе спокойным, уверенным в своей силе, — как всегда это будило и зависть, и симпатию.

— Уметь вот так сопротивляться людям...

Он представил Кутузова среди рабочих, неохотно шагавших в Кремль.

— Как бы он вел себя в этих случаях?

Этого он не мог представить, но подумал, что, наверное, многие рабочие не пошли бы к памятнику царя, если б этот человек был с ними. Потом память воскресила и поставила рядом с Кутузовым молодого человека с голубыми глазами и виноватой улыбкой; патрона, который демонстративно смахивает платком табак со стола; чудовищно разжиревшего Варавку и еще множество разных людей. Кутузов не терялся в их олпе, не потерялся он и в деревне, среди сурово настроенных мужиков, оторые растащили хлеб из магазина.

— Нет, его не назовешь рабом, «прикованным к тяжелой колеснице стории»...

И тут Клим Самгин впервые горестно пожалел о том, что у него ет человека, с которым он мог бы откровенно говорить о себе.

Почти около дома его обогнал человек в черном пальто с металлиескими пуговицами, в фуражке чиновника, надвинутой на глаза, обогнал, глянулся и, остановясь, спросил голосом Кутузова:

— Самгин? Здравствуйте. Я видел вас там, у этого быка, хотел одойти, а вы, вдруг, исчезли, — сдерживая голос, осматривая безлюдую улицу, говорил Кутузов. — Я, ведь, к вам, т. е. не к вам, к Сомовой...

— Ее арестовали, — сказал Самгин очень тихо, опасаясь, чтоб Кутузов не услыхал в его тоне чувства, которое ему не нужно слышать, — Самгин сам не знал, какое это чувство.

Кутузов круто остановился, толкнув его локтем и плечом.

— Чорт... Когда? Почему же вы там не сказали мне?

Сняв фуражку, он пошел очень быстро, спрашивая:

— Больна? Паскудная история! Н-да... Где же я ночую? Она писала, что приготовит мне ночлеги. Это — не у вас?

— Вероятно, — сказал Клим.

— А, может быть, неудобно? Говорите прямо.

— Здесь, — сказал Самгин, прижимаясь к двери крыльца и нажав кнопку звонка.

— Кажется — чисто, — проворчал Кутузов, оглядываясь. — Меня зовут — для ваших домашних — Егор Николаевич Пономарев, — не забудете? Документ у меня безукоризненный.

— Я думаю, жена узнает вас...

— Гм... узнает? — пробормотал Кутузов, раздеваясь в прихожей. — Ну, а монумент, который открыл нам дверь, не удивится столь позднему гостю?

— Привыкла, — сказал Самгин и поймал себя в желании намекнуть, что конспиративные дела не новость для него.

— Так зацапали Любашу! — спросил Кутузов, войдя в столовую, оглядываясь. — Уже два раза не удалось мне встретиться с нею, то — я арестован, то — она! Это — третий. Чорт знает, как глупо!

Самгину показалось, что он слышит в словах Кутузова нечто близкое унынию, и пожалел, что не видит лица, — Кутузов стоял, наклоня голову, разбирая папиросы в коробке. Самгин предложил ему закусить.

— С удовольствием, но без прислуги, а? Там — подали чай, бутерброды, холодные котлеты, но я... поспешил уйти. Вечерок — не из удачных.

— Кто это бритый? — спросил Клим.

— Бывший человек. Громкое имя когда-то.

Он назвал имя, ничего не сказавшее Климу. Пройдя в комнату жены, Клим увидал, что она торопливо одевается.

— Что случилось? Кто это? — тревожным шопотом спросила она.— Ах, помню, это певец, которым восхищалась Любаша. Хочет есть? Иди, я сейчас!

Но Самгин не спешил выйти в столовую и вышел вместе с нею.

— О, здравствуйте, русалка! Я узнал вас по глазам, — оживленно и ласково встретил Варвару Кутузов. — Помните, — мы танцовали на вечеринке у кривозубого купца, — как его?

Самгину оживление гостя показалось искусственным, но он подумал с досадой на себя, что видел Лютова сотню раз, а не заметил кривых зубов, а — верно, зубы-то кривые! Через пять минут он с удивлением, но без удовольствия слушал, как Варвара деловито говорит:

— За нами, разумеется, следят, но завтра я вам укажу две совершенно чистых квартиры...

— Нет, — серьезно? Недельки бы на две, а?

— Возможно.

Кутузов со вкусом ел сардины, сыр, пил красное вино и держался так свободно, как будто он не первый раз в этой комнате, а Варвара — давняя и приятная знакомая его.

«Она ведет себя точно провинциалка пред столичной знаменитостью», — подумал Самгин, чувствуя себя лишним и как бы взвешенным в воздухе. Но он хорошо видел, что Варвара ведет беседу бойко, даже задорно, выспрашивает Кутузова с ловкостью. Гость отвечал ей охотно.

— Ссылка? Это установлено для того, чтоб подумать, поучиться. Да, скучновато. Четыре тысячи семьсот обывателей никому и самим себе не нужных, беспомощных людей; они отстали от больших городов лет на тридцать, на пятьдесят и все, сплошь, заражены скептицизмом невежд Со скуки — чудят. Пьют. Зимними ночами в город заходят волки...

Анфимьевна, к неудовольствию Клима, внесла самовар, а Варвара, заваривая чай, спросила:

— Что же будут делать эти ненужные во время революции?

— Революция — не завтра, — ответил Кутузов, глядя на самовар с явным вожделением, вытирая бороду салфеткой. — До нее некоторые, наверное, превратятся в людей, способных на что-нибудь дельное, а большинство — думать надо — будет пассивно или активно сопротивляться революции и на этом — погибнет.

— Просто у вас все, — сказала Варвара, как будто одобрительно. Самгин, нахмурясь, пробормотал:

— Ну, это не очень просто.

— А — как же? — спросил Кутузов, усмехаясь. — В революции, — подразумеваю социальную, — логический закон исключенного третьего будет действовать беспощадно: да или нет.

Самгин хотел сказать: это жестоко и еще много хотел бы сказать, но Варвара допрашивала все жаднее и уже волнуясь почему-то. Кутузов, с наслаждением прихлебывая чай, говорил как-то излишне ласково:

— Какую же роль может играть религия, из которой практика жизни давно уже и совершенно вычеркнула, вытравила всякую мораль?

— Идеализм — основное свойство души человека, — наскакивала Варвара, покраснев, блестя глазами, щурясь.

— Рабочему классу философский идеализм — враждебен; признать бытие каких-то тайных и непознаваемых сил вне себя, вне своей энергии рабочий не может и не должен. Для него достаточно социального идеализма, да и сей последний принимается не без оговорок.

Самгин соображал:

— У него каждая мысль — звено цепи, которой он прикован к своей вере. Да, — он сильный человек, но...

Но — хотелось спорить с Кутузовым. Однако, для спора, кроме желания спорить, необходима своя «система фраз», а кроме этого мешало еще нечто. Что?

Задумавшись, Самгин пропустил часть беседы мимо ушей. Варвара уже спрашивала:

— Вы — охотник?

— Пробовал, но — не увлекся. Перебил волку позвоночник, жалко стало зверюгу, отчаянно мучился. Пришлось добить, а это уж совсем скверно. Ходил стрелять тетеревей на току, но до того заинтересовался птичьим обрядом любви, что выстрелить опоздал. Да, признаюсь, и не хотелось. Это — удивительная штука — токованье!

Климу становилось все более неловко и обидно молчать, а беседа жены с гостем принимала характер состязания уже не на словах: во взгляде Кутузова светилась мечтательная улыбочка, Самгин находил ее хитроватой, соблазняющей. Эта улыбка отражалась и в глазах Варвары, широко открытых, напряженно внимательных; вероятно, так смотрит женщина, взвешивая и решая что-то важное для нее. И, уступив своей досаде, Самгин сказал:

— Волков — жалко вам, а о людях вы рассуждаете весьма упрощенно и безжалостно.

Кутузов усмехнулся, подливая в стакан красное вино.

— А вы, индивидуалист, все еще бунтуете? — скучновато спросил он и вздохнул. — Что ж — люди? Они сами идиотски безжалостно устроились по отношению друг ко другу, за это им и придется жесточайше заплатить.

Он повторил знакомую Климу фразу:

— Патокой гуманизма невозможно подсластить ядовитую горечь действительности, да, к тому же, цинизм ее давно уничтожил все Евангелия.

По лицу Кутузова было видно, что его одолевает усталость, он даже потянулся недопустимо при даме и так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею.

— Счастливая способность бездомного бродяги — везде чувствовать себя дома, — отметил Самгин.

Но внимание Варвары видимо возбуждало Кутузова, он снова заговорил оживленно:

— Издыхает буржуазное общество, загнило с головы. На Западе — это понятно, работали много, истощились, а вот у нас декадансы как будто преждевременны. Декадент у нас толстенький, сытый, розовощекий и — не даровит. Верленов — незаметно.

Он залпом выпил чай, охлажденный вином, вытер губы измятым платком.

Самгин продолжал думать о Кутузове недружелюбно, но уже поймал себя на том, что думает так по обязанности самозащиты, не внося в мысли свои ни злости, ни иронии, даже как бы насилуя что-то в себе.

— Лозунг командующих классов — назад, ко всяческим примитивам в литературе, в искусстве, всюду. Помните приглашение «назад к Фихте»? Но это вопль испуганного схоласта, механически воспринимающего всякие идеи и страхи, а, конечно, позовут и дальше к церкви, к чудесам, к чорту, все равно — куда, только бы дальше от разума истории, потому что он становится все более враждебен людям, эксплоатирующим чужой труд.

Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала:

— Да, очень заметно, что людей увлекает иррациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы...

— А — какая же? — лениво спросил Кутузов.

— Скучно быть умниками, — не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув: — Людям хочется безумств...

Кутузов пожал плечами.

— Что же можно выдумать безумнее действительности?

— Да, — громко сказал Самгин и, почему-то, смутился. — А не пора вам отдохнуть? — предложил он.

Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света, свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье, он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурок ботинок и раскачивал его, точно решал — куда швырнуть? Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуту, две. Потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак, оглянулся, прикусив губу так, что острая борода его встала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажил очень белую, мускулистую шею и полукружия ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились и несомненно, он сжал зубы — резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства, должно быть — злости, или — горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост, затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна.

Наблюдая за человеком в соседней комнате, Самгин понимал, что человек этот испытывает боль, и, мысленно, сближался с ним. Боль, это — слабость, и если сейчас, в минуту слабости, подойти к человеку, может быть, он обнаружит, с предельной ясностью, ту силу, которая заставляет его жить волчьей жизнью бродяги. Невозможно, нелепо допустить, чтобы эта сила почерпалась им из книг, от разума. Да, вот пойти к нему и откровенно, без многоточий поговорить с ним о нем, о себе. О Сомовой. Он кажется влюбленным в нее.

— Мне — тридцать лет, — напомнил себе Клим. — Я — не юноша, который не знает, как жить...

Но, разбудив свое самолюбие, он задумался: что тянет его к человеку именно этой «системы фраз»?

— Наследственность?

Он иронически усмехнулся, вспомнив отца, мать, деда.

— Впечатления детства?

Кутузов, задернув драпировку, снова явился в зеркале большой, белый, с лицом очень строгим и печальным. Провел обеими руками по остриженной голове и, погасив свет, исчез в темноте более густой, чем наполнявшая комнату Самгина. Клим, ступая на пальцы ног, встал и тоже подошел к незавешенному окну. Горит фонарь, как всегда, и, как всегда, — отблеск огня на грязной, сырой стене.

— Очень это странно, — человек, не знающий, что его наблюдает другой. Вероятно, я тоже показался бы... не таким, как он, разумеется.

Итти в спальню не хотелось, возможно, что жена еще не спит. Самгин знал, что все, о чем говорил Кутузов, враждебно Варваре и что мина внимания, с которой она слушала его — фальшивая мина. Вспоминалось, что когда он сказал ей, что даже в одном из «правительственных сообщений» признано наличие революционного движения, — она удивленно спросила:

— Неужели? Вот идиоты...

Утром, когда Самгин оделся и вышел в столовую, жена и Кутузов уже ушли из дома, а вечером Варвара уехала в Петербург, хлопотать по своим издательским делам. Через несколько дней, прожитых в настроении мутном и раздражительном, Самгин тоже поехал в Калужскую губернию, с неделю катался по проселочным дорогам, среди полей и лесов, побывал в сонных городках, физически устал и успокоился. По пути домой он застрял на почтовой станции, где не оказалось лошадей, спросил самовар, а пока собирали чай, неохотно посыпался мелкий дождь, затем он стал гуще, упрямее, крупней, заиграли синие молнии, загремел гром, сердитым конем зафыркал ветер в печной трубе и начал хлестать, как из ведра, в стекла окон. Но сквозь дождь и гром ко крыльцу станции подкатил кто-то, молния осветила в окне мокрую голову черной лошади; дверь распахнулась и, отряхиваясь, точно петух, на пороге встал человек в клеенчатом плаще, сдувая с густых, светлых усов капли дождя. Затем, посторонясь, он пропустил вперед себя женщину и зарычал сердитым басом:

— Я говорил — не успеем...

— Вот окрик мужа, — подумал Клим.

— Самгин? Вы? — резко и как бы с испугом вскричала женщина, пытаясь снять с головы раскисший капюшон парусинового пальто и заслоняя усатое лицо спутника. — Да, — сказала она ему, — но поезжайте скорее, сейчас же!

Человек показал спину, блестевшую, точно кровельное железо, исчез, громко хлопнул дверью, а Марья Ивановна Никонова, отклеивая мокрое пальто с плеч своих, оживленно говорила:

— Вот ливень! В пять минут — ни одной сухой нитки!

Самгин тотчас отметил, что она не похожа на себя, и, как всегда, іто было неприятно ему: он терпеть не мог, когда люди выскальзывали із рамок тех представлений, в которые он вставил их. В том, что она навала его по фамилии, было что-то размашистое, фамильярное, разноречившее с ее обычной скромностью, а когда она провела маленькими ладонями ю влажному лицу, Самгин увидал незнакомую ему улыбку, широкую и асковую. Она никогда не улыбалась так. Самгин заподозрил, что эту ювую улыбку Никонова натянула на лицо свое, как маску. На станции е знали; дородная баба, называя ее по имени и отчеству, сочувственно хая, увела ее куда-то, и через десяток минут Никонова воротилась в пегрой юбке, в красной кофте, одетой, должно быть, на голое тело; голова е была повязана желтым платком с цветами. Этот наряд сделал Никовву моложе, лицо, нахлестанное дождем, ярко разрумянилось, глаза лестели весело.

— Ну, угощайте меня, озябла!

Но, посмотрев, как неловко действует Самгин у самовара, она отняла айник из его руки.

— Не умеете.

Налив себе чаю, она стала резать себе хлеб, по-крестьянски, приав ко грудям каравай; груди мешали. Тогда она бесцеремонно заправла кофту за пояс юбки, от этого груди наметились выпуклее.

Самгин покосился на них и спросил:

— Кто это провожал вас — муж.

— Нет. Управляющий имением знакомых, где я гостила.

— Офицер?

Разрезая жареную курицу, она мельком взглянула на Самгина.

— Разве похож на военного?

— Да. Кажется, я его где-то видел.

— Саша, дайте мне полушалок, — крикнула Никонова, постучав 'лаком в тесовую переборку.

Шипел и посвистывал ветер, бил гром, заставляя вздрагивать огонь сячей лампы; стекла окна в блеске молний синевато плавились, дождь естал все яростней.

— Мы — точно на дне кипящего котла, — тихо сказала женщина.

Самгин согласился.

— Да, похоже.

Замолчали. Самгин понимал, что молчать невежливо, но что-то шало ему говорить с этой женщиной в привычном, докторальном тоне;)на, вопросительно посматривая на него, как будто ждала, что он скат. И, не дождавшись, сказала, вздохнув:

— Это — надолго! Пожалуй, придется ночевать здесь. В такие ни, или зимой, когда вьюга, чувствуешь себя ненужной на земле.

— Человек никому не нужен, кроме себя, — отозвался Клим и, įумав: — «Глупо!» — предложил ей папиросу.

— Благодарствую, не курю.

Она откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Груди ее неп[
лично торчали, шевеля ткань кофты и точно стремясь обнажиться. [
незначительном лице застыло напряжение, как у человека, котор
внимательно прислушивается.

— Вчера, там, — заговорила она, показав глазами на окно,
хоронили мужика. Брат его, знахарь, коновал, сказал... моей подру
«Вот, гляди, человек сеет, и каждое зерно, прободая землю, дает хл
и еще солому оставит по себе, а самого человека зароют в землю, сгни
и — никакого толку».

Она встала, подошла к запотевшему окну, а Самгин, глядя на
лые ноги ее, желтые, как масло, сказал:

— Не люблю я эту народную мудрость.

— Мне иногда кажется, что мужику отлично знакомы все жало
ные писания о нем наших литераторов и что он, надеясь на помощь
стороны, сам ничего не делает, чтоб жить лучше.

Она не ответила. Свирепо ударил гром, окно как будто вырва
из стены и Никонова, стоя в синем пламени, показалась, на миг, пр
зрачной.

— Убьет, — вздохнула она, отходя к столу и улыбаясь.

Клим подумал: нового в ее улыбке только то, что она легкая и быс
рая. Эта женщина раздражала его. Почему она работает на революцию и ч
может делать такая незаметная, бездарная? Она должна бы служить с
делкой в больнице или обучать детей грамоте где-нибудь в глухом сел
Помолчав, он стал рассказывать ей, как мужики поднимали колоко
как они разграбили хлебный магазин. Говорил насмешливо и с намер
нием обидеть ее. Вторя его словам, холодно кипел дождь.

— На эту тему я читала рассказ «Веревка», — сказала она. -
Не помню — чей? Кажется, автор — женщина, — задумчиво сказал
она, снова отходя к окну и спросила: — Чего же вы хотите?

Утешающим тоном старшей, очень ласково она стала говори
вещи, с детства знакомые и надоевшие Самгину. У нее были кое-каки
свои наблюдения, анекдоты, но она говорила не навязывая, не убежда
а как бы разбираясь в том, что знала. Слушать ее тихий, мягкий гол
было приятно, желание высмеять ее — исчезло. И приятна была ее д
верчивость. Когда она подняла руки, чтоб поправить платок на голов
Самгин поймал ее руку и поцеловал. Она не протестовала, продолжа

— Деревня пьет, беднеет, вымирает...

Послушав еще минуту, Самгин положил свою руку на ее леву
грудь. Она, вздрогнув, замолчала. Тогда, обняв ее шею, он поцелова
в губы.

— Ах, какой, — тихонько воскликнула она, прижимаясь к нем
и шепча. — Еще не спят. Вы — ложитесь, я потом приду. Притти?

— Конечно.

С неожиданной силой разняв его руки, она ушла, а Самгин, разде
ваясь, подумал:

«Просто. Должно быть, отдаваться товарищам по первому их требованию входит в круг ее обязанностей».

Погасив лампу, он лег на широкую постель в углу комнаты, прислушиваясь к неутомимому плеску и шороху дождя, ожидая Никонову так же спокойно, как ждал жену — и вспомнил о жене с оттенком иронии. У кого-то из старых французов, Февалля или Поль де-Кока, он вычитал, что в интимных отношениях супругов есть признаки, по которым муж, если он не глуп, всегда узнает, была ли его жена в объятиях другого мужчины. Француз не сказал, каковы эти признаки, но в минуты ожидания другой женщины Самгин решил, что они уже замечены им в поведении Варвары, — в ее движениях явилась томная ленца и набалованность, раньше не свойственная ей, так набалованно и требовательно должна вести себя только женщина, которую сильно и нежно любят. Этим оправдывалось приключение с Никоновой. Затем он нехотя и как бы по обязанности подумал:

— Да, вот они, женщины...

Шум дождя стал однообразен и равен тишине, и это беспокоило, заставляя ждать необычного.

Когда женщина пришла, он упрекнул ее:

— Как долго!

— Молчите, — шепнула она.

Прошел час, может быть два. Никонова, прижимая голову его к своей груди, спросила словами, которые он уже слышал когда-то:

— Хорошо со мной?

— Да, — искренно ответил он.

Помолчав, она спросила:

— Но, разумеется, вы не высокого мнения о моей... нравственности?

— Как вы можете думать, — пробормотал Самгин.

— Да, уж конечно. Ведь вы, наверное, тоже думаете, как принято — по разуму, а не по совести.

Самгин насторожился, в словах ее было что-то умненькое. Неужели и она будет философствовать в постели, как Лидия, или заведет какие-нибудь деловые разговоры, подобно Варваре? Упрека в ее беззвучных словах он не слышал и не мог видеть, с каким лицом она говорит. Она очень растрогала его нежностью, ему казалось, что таких ласк он еще не испытывал, и у него было желание сказать ей особенные слова благодарности. Но слов таких не находилось, он говорил руками, а Никонова шептала:

— Ты с первой встречи остался в памяти у меня. Помнишь — на дачах? Такой ягненок рядом с Лютовым. Мне тогда было шестнадцать лет...

Она дважды чихнула и, должно быть, сконфуженная этим, преувеличенно тревожно прошептала:

— Кажется, простудилась. Ну, я пойду! Не целуй, не надо...

Через несколько минут она растаяла, точно облако, а Самгин подума
— Странная какая. Вот — не ожидал.

Уже светало; стекла окон посерели, шум дождя заглушало журч ние воды, стекавшей откуда-то в лужу.

Утром Самгин узнал, что Никонова на рассвете уехала, и похвалі ее за это.

— Тактично. Точно во сне приснилась, — думал он, подпрыгива в бричке по раскисшей дороге, среди шелково блестевших полей. Солн играло с землею, как веселое дитя: пряталось среди мелко изорванн облаков. Пышных и легких, точно чисто вымытое руно. Ветер ласко расчесывал молодую листву берез. Нарядная сойка сидела на голо сучке ветлы, глядя янтарным рыбьим глазом в серебряное зеркало луж обрамленной травою. Ноги лошадей, не торопясь, месили грязь, наполня воздух хлюпающими звуками; опаловые брызги взлетали из-под коле Пел жаворонок. Свежесть воздуха приятно охмеляла, и разнеженны Самгин думал сквозь дремоту:

Только утро любви хорошо,
Хороши только первые встречи.

— Глуповатые стишки. Но кто-то сказал, что поэзия и должн быть глуповатой... Счастье — тоже. «Счастье, на мосту с чашкой», - это о нищих. Пословицы всегда злы, в сущности. Счастье, это — когд человек живет в мире с самим собою. Это и значит: жить честно.

Посмотрев, как хлопотливо порхают в придорожном кустарник овсянки, он в сотый раз подумал: с детства, дома и в школе, потом - в университете, его начиняли массой ненужных, обременительных зна ний, идей, потом он прочитал множество книг и, вот, не может найти себ в паутине насильно воспринятого чужого...

Догнали телегу, в ней лежал на животе длинный мужик с забин тованной головой; серая, пузатая лошадь, обрызганная грязью, шагал лениво. Ямщик Самгина, курносый подросток, чем-то похожий на голубя крикнул, привстав:

— Эй, сворачивай!

— Успеешь, — глухо ответил мужик, не пошевелясь.

— Не хочит, — сказал подросток, с улыбкой оглянувшись на се дока. — Характерный. Это — наш мужик, ухо пришивать едет; вче рась, в грозу, ему тесиной ухо надорвало...

— Обгони, — приказал Самгин.

Подросток, пробуя объехать телегу, загнал одну из своих лошадей в глубокую лужу и зацепил бричкой ось телеги; тогда мужик, приподня голову, начал ругаться:

— Куда лезешь, сволочь? Ку-да?

Это столкновение, прервав легкий ход мыслей Самгина, рассердило его, опираясь на плечо своего возницы, он привстал, закричал на мужика, тот, удивленно мигая, попятил лошадь.

— Чего ругаетесь? Все торопимся... Не гуляем...

— Гони, — приказал Самгин и не первый раз подумал: — Вот, ради таких болванов...

В этом настроении не было места для Никоновой, и недели две он вспоминал о ней лишь мельком, в пустые минуты, а потом, незаметно, выросло желание видеть ее. Но он не знал, где она живет, и упрекнул себя за то, что не спросил ее об этом.

— Свинство! Как смешно назвала она меня — ягненок. Почему? Ты не знаешь, где живет Никонова? — спросил он жену.

— Нет. После ареста Любаши я отказалась работать в Красном Кресте и не встречаюсь с Никоновой, — ответила Варвара и равнодушно предположила: — Может быть, и ее арестовали?

«Лень сходить за ножем», — подумал Самгин, глядя, как она разрезает страницы книги головной шпилькой.

Из Петербурга Варвара приехала, заметно похорошев; под глазами, оттеняя их зеленоватый блеск, явились интересные пятна; волосы эна заплела в две косы и уложила их плоскими спиралями на уши, на зиски, это сделало лицо ее шире и тоже украсило его. Она привезла ши-Þокие платья без талии, и, глядя на них, Самгин подумал, что такую одежду)чень легко сбросить с тела. Привезла она и новый для нее взгляд на ıитературу.

— Книга не должна омрачать жизнь, она должна давать человеку ıтдых, развлекать его.

Затем она очень оживленно рассказала:

— Знаешь, меня познакомили с одним художником; не решаю, та-:антлив ли он, но — удивительный! Он пишет философские картины, бы сказала. На одной, очень яркими красками, даны змеи или, если .очешь, безголовые черви, у каждой фигуры — четыре радужных крыла, се фигуры спутаны, связаны в клубок, пронзают одна другую, струятся, очти сплошь заполняя голубовато-серый фон. Это — мировые силы, акими они были до вмешательства разума. Картина так и названа «Мир о человека». Понимаешь? Общее впечатление хаотической, но празднич-ой игры.

Она полулежала на кушетке в позе m-me Рекамье. Самгин исподобья рассматривал ее лицо, фигуру, всю ее, изученную до последней :рты, и с чувством недоуменья пред собою размышлял: как он мог вообра-ıть, что любит эту женщину, суетливую, эгоистичную?

— Она рассказывает мне эту чепуху только для того, чтоб научиться)рошо рассказать ее другим. Или другому.

— На втором полотне все краски обесцвечены, фигурки уже не)ылаты, а выпрямлены; струистость, дававшая впечатления безумных :оростей — исчезла, а главное в том, что и картина исчезла, осталось что вроде рекламы фабрики красок — разноцветно-тусклые и мертвые ıлосы. Это — «Мир в плену человека». Художник, — он такой длинıй, весь из костей, желтый, с черненькими глазками и очень грубый, —

говорит: «Вот правда о том, как мир обезображен человеком. Но человек сделал это на свою погибель, он — враг свободной игры мировых сил, схематизатор; его ненавистью к свободе созданы религии, философии, науки, государства и вся мерзость жизни. Скоро он своей идиотской техникой исчерпает запас свободных энергий мира и задохнется в мертвой неподвижности...

— Что-то похожее на иллюстрацию к теории энтропии, — сказал Самгин.

Варвара приподняла ресницы и брови:

— Энтропия? Не знаю.

И продолжала, действительно как бы затверживая урок:

— И, потом, еще картина: сверху простерты две узловатые руки зеленого цвета с красными ногтями, на одной — шесть пальцев, на другой — семь. Внизу пред ними на коленях маленький человечек снял с плеч своих огромную, больше его тела, двуличную голову и тонкими, длинными ручками подает ее этим тринадцати пальцам. Художник объяснил, что картина названа: «В руки твои предаю дух мой». А руки принадлежат дьяволу, имя ему Разум, и это он убил бога.

Она замолчала, раскуривая папиросу, красиво прикрыв глаза ресницами.

— Эта картина не понравилась мне, но, кажется, потому, что я вспомнила Кутузова. Кстати, он — счастливый: всем нравится. Он еще Москве?

— Не знаю, — сказал Самгин.

— В Петербурге меньше интересного, чем здесь, но оно как-то острее, тоньше. Я бы сказала: Москва маслянистая.

Изложив свои впечатления в первый же день по приезде, она уже не возвращалась к ним, и скоро Самгин заметил, что она сообщает ему о своих делах только из любезности, а не потому, что ждет от него участия или советов. Но он был слишком занят собою, для того чтоб обижаться на нее за это.

Никонову он встретил случайно; тряхся на извозчике в районе Мещанских улиц и вдруг увидал ее; скромненькая, в сером костюме, она шла плывущей, но быстрой походкой монахини, которая помнит, что мир — враждебен ей. Самгин обрадовался, даже хотел окрикнуть ее, но из ворот веселого домика вышел бородатый, рыжий человек, бережно неся под мышкой маленький гроб, за ним, нелепо подпрыгивая, выкатилась темная, толстая старушка, маленький, круглый гимназист с головой, как резиновый мяч; остролицый солдат, закрывая ворота, крикнул извозчику:

— Эй, болван, придержи!

Самгин, привстав в экипаже, следя за Никоновой, видел, что на ходу она обернулась, чтоб посмотреть на похороны, но, заметив его, пошла быстрее.

— Естественно, она обижена.

Сунув извозчику деньги, он почти побежал вслед женщины, чувствуя, что портфель под мышкой досадно мешает ему, он вырвал его из-под мышки и понес, как носят чемоданы. Никонова вошла во двор одноэтажного дома, он слышал топот ее ног по дереву, сбежал во двор, увидел три ступени крыльца.

— Точно гимназист, — сообразил он.

В темной нише коридора Никонова тихонько гремела замком, по звуку было ясно — замок висячий.

— Мария Петровна...

— Ах, это — вы? Вы?

— Извините, что я так...

Она открыла дверь, впустив в коридор свет из комнаты. Самгин видел, что лицо у нее смущенное, даже испуганное, а, может быть, злое, она прикусила верхнюю губу и в светлых глазах неласково играли голубые искры.

— Я пришел, — говорил он, раскачивая портфель, прижав шляпу ко груди. — Я тогда не спросил ваш адрес. Но я надеялся встретить вас.

Никонова все еще смотрела на него хмурясь, но серая тень на ее лице таяла, щеки розовели.

— Раздевайтесь, — сказала она, взяв из его руки портфель.

Снимая пальто, Самгин отметил, что кровать стоит также в углу, у двери, как стояла там, на почтовой станции. Вместо лоскутного одеяла, она покрыта клетчатым плэдом. За кроватью, в ногах ее, карточный стол с кривыми ножками, на нем — лампа, груда книг, а под ним — репродукция с Христа Габриеля Макса.

— Вы простите меня? — спрашивал он и, взяв ее руку, поцеловал, рука была немножко потная.

— Даже чаем напою, — сказала Никонова, легко проведя ладонью по голове и щеке его. Она улыбнулась, и не той обычной, насильственной своей улыбкой, а — хорошей, и это тотчас же привело Клима в себя.

— Фиса! — крикнула она, приоткрыв дверь.

«Бедно живет», — подумал Самгин, осматривая комнатку с окном в сад; окно было кривенькое, из четырех стекол одно уже зацвело, значит — торчало в раме долгие года. У окна маленький круглый стол, закрыт вязаной салфеткой. Против кровати — печка с лежанкой, близко от печи комод, шкатулка на комоде, флаконы, коробочки, зеркало на стене. Три стула, их манерно искривленные ножки и спинки, прогнутые плетеные сиденья особенно подчеркивали бедность комнаты.

— Да, конечно, она — человек типа Тани Куликовой, простой, самоотверженный человек.

Никонова, стоя в двери, шепталась с полногрудой, красивой женщиной в розовой кофте.

— Ну, да, — нетерпеливо сказала она. — Дома нет!

И, подойдя к Самгину, спросила:

— Уютная, миленькая нора — у меня?

Он взял ее руки и стал целовать их со всею нежностью, на каку был способен. Его настроила лирически эта бедность, покорная печал вещей, уставших служить людям, и человек, который тоже покорн как вещь, служит им. Совершенно необыкновенные слова просились н язык ему, хотелось назвать ее так, как он не называл еще ни одну женщин

— Родная. Сестра.

Но он молчал, обняв ее талию, крепко прижавшись к ее груди, и уже ощущая смутную тревогу, спрашивал себя:

— Неужели это — серьезно?

Движением спины она разорвала его руки.

— Так вы... рады видеть меня?

— О, да! И — сознаюсь — до того рад, что даже сам удивлен

— Даже — так?

Глаза ее стали густо-голубыми, и, смеясь, она сказала:

— Ах, вы... милый!

Пили чай со сливками, с сухарями и, легко переходя с темы на тему говорили о книгах, театре, общих знакомых. Никонова сообщила: Любаша переведена из больницы в камеру, ожидает, что ее скоро вышлют Самгин заметил: о партийцах, о революционной работе она говорит сдержанно, неохотно.

— Вышколена.

В саду старик в глухом клетчатом жилете полол траву на грядках Лицо и шея у него были фиолетовые, цвета гниющего мяса. Поймав взгляд Самгина, Никонова торопливо сказала:

— Домохозяин, бывший народник, долго жил в Сибири. Мизантроп

И снова заговорила о литературе:

— Я совершенно согласна с графиней Толстой, — зачем писать такие рассказы, как «Бездна»?

— Удивительно легко с нею, — отметил Самгин и сказал: — Когда я вошел, — вам, как будто, неприятно было, вы даже испугались.

— Испугалась? Чего же? — спросила она. Глаза ее стали светлыми, смотрели строго, пытливо.

— Так показалось мне...

— Не надо говорить об этом, — попросила она, протянув ему руку.

Было уже темно, когда Самгин решился уйти от нее. Полуодетая, сидя на постели, она спросила шопотом:

— Когда придешь? Я должна знать точно.

Он сказал, что хочет видеть ее часто. Оправляя волосы, она подняла и задержала руки над головой, шевеля пальцами так, точно больная искала в воздухе, за что схватиться прежде, чем встать.

— Будем видеться часто, если ты хочешь, чтоб я скорее надоела тебе, — тихонько ответила она.

— Неудачная шутка, — заметил Самгин, хотя и не почувствовал шутливости в ее словах.

«Должно быть, очень тяжело, очень плохо живет она», — подумал Самгин, уходя.

После десятка свиданий Самгин решил, что, наконец, у него есть хороший друг, с которым и можно и легко говорить обо всем, а главное — о себе. Никонова была внимательна к его речам, умела слушать их молча и не обнаруживая излишнего любопытства. Сама она говорила мало, очень просто и всегда мягким, как бы утешающим тоном. Она была, пожалуй, слишком снисходительна к людям; иногда Самгин думал, что она смотрит на них издали и свысока. Это несколько нарушало ее сходство с Таней Куликовой. Как-то, за чаем, он шутя сказал ей:

— Ты — плохая большевичка.

— Почему? — спросила она не сразу, улыбаясь своей неприятной, насильственной улыбкой.

Самгин объяснил:

— В твоем отношении к буржуазии нет резкости, непримиримости, характерной для большевизма.

— Но этого и у тебя нет, — очень мягко сказала она.

Это замечание не понравилось Климу; он произнес маленькую речь на тему о пошлости буржуазного общества, о циническом и, в сущности, близоруком эгоизме буржуазии. Никонова слушала речи его покорно, не возражая, как человек привыкший, чтоб его поучали. Она вообще держалась ученицей, которая знает, что надобно учиться, и примирилась с этим. Но скоро Самгин почувствовал, что эта скромная женщина в чем-то сильнее или умнее его. В ней есть черта, родственная Митрофанову, человеку, в чей здравый смысл он поверил и — ошибся. Но она не философствовала, как тот, не волновалась до слез, как это делал агент уголовной полиции, но она тоже была настроена в чем-то однотонно с ним. О политике, о партийной работе она говорила мало; это можно объяснить ее конспиративностью, это удобно объяснялось усталостью профессионалки. Такой человек, каким видел ее Самгин, должен был работать, вероятно, по технике. В ней не было ничего от пропагандистки, агитаторши, и она не казалась человеком, хорошо изучившим теорию борьбы классов. Она любила и умела рассказывать о жизни маленьких людей, о неудачных и удачных хитростях в погоне за маленьким счастием. Быт она знала отлично. В ее рассказах жизнь напоминала Самгину бесконечную работу добродушной и глуповатой горничной Варвары, старой девицы, которая очень искусно сшивала на продажу из пестреньких ситцевых трехугольников покрышки для одеял. Самгину нравились эти успокаивающие картинки быта, хотя он посмеивался над ними:

— В твоем изображении эволюция очень мила, но — скучновата.

— Это — жизнь, — сказала Никонова, тихонько вздохнув.

У нее была очень милая манера говорить о «добрых» людях и «светлых» явлениях приглушенным голосом; как будто она расказывала о маленьких тайнах, за которыми скрыта единая, великая и в ней — объяснения всех небольших тайн. Иногда он слышал в ее рассказах нечто совпа-

давшее с поэзией буден старичка Козлова. Но все это было несуществен и не мешало ему привыкать к женщине с быстротой, даже изумлявшей его

Она стала для него чем-то вроде ящика письменного стола, ящика в который прячут интимные вещи; стала ямой, куда он выбрасывал со своей души. Ему казалось, что, высыпая на эту женщину слова, которым он с детства оброс, как плесенью, он постепенно освобождается от и липкой тяжести, освобождает в себе волевого, действенного человека Беседы с Никоновой награждали его чувством почти физического облегчения, и он все чаще вспоминал Дьякона:

«Слова — помет души».

Он не был уверен, что женщина понимает его, но он и не заботился о том, чтоб она понимала, — ему нужно было, чтоб она выслушала его до конца. Она слушала, прерывая его излияния очень редко:

— Как ты сказал?

И снова сочувственно смотрела на него.

— Мой брат недавно прислал мне письмо с одним товарищем, — рассказывал Самгин. — Брат — недалекий парень, очень мягкий. Его испугало крестьянское движение на юге, и потрясла дикая расправа с крестьянами. Но он пишет, что не в силах ненавидеть тех, которые били потому что те, которых били, тоже безумны до ужаса.

— Он — толстовец? — тихо спросила Никонова.

— Был марксистом. Да, так вот, он пишет: революционер — человек, способный ненавидеть, а я, по натуре своей, неспособен на это. Мне кажется, что многие из общих наших знакомых ненавидят действительность тоже от разума, теоретически.

Никонова наклонила голову, а он принял это как знак согласия с ним. Самгин надеялся сказать ей нечто такое, что поразило бы ее своей силой, оригинальностью, вызвало бы в женщине восторг пред ним. Это, конечно, было необходимо, но не удавалось. Однако он был уверен, что удастся, она уже не редко смотрела на него с удивлением, а он чувствовал ее все более необходимой.

Все это завершалось полнотою сексуальных отношений, гармоническим сочетанием двух тел, которое давало Самгину неизведанное и предельное наслаждение. После ее ласк он всегда чувствовал себя растроганным благодарностью к женщине за ее нежность. Теперь, когда он хорошо присмотрелся к ее лицу, он видел его не таким, как раньше. Черты лица были мелки и не очень подвижны, но казалось, что неподвижна кожа, хорошо дисциплинированная постоянным напряжением какой-то большой, сердечной думы. Ее голубые глаза были даже красноречивы, темнея в минуты возбуждения до-синя; тогда они смотрели так тепло, что хотелось коснуться до них пальцем, чтоб ощутить эту теплоту. А когда Самгин спрашивал женщину о ее прошлом, в глазах печально разгорался голубой огонек.

— Не люблю говорить о себе, — сказала она довольно твердо в ответ на его догадку:

— Ты, как будто, боишься говорить о прошлом.

Как-то, заласканный ею, он спросил:

— У тебя были дети?

— Один. Умер восьми месяцев.

Самгин совершенно искренно выговорил:

— Я бы хотел ребенка от тебя.

Никонова, закрыв глаза, вытянулась, а он продолжал:

— Ты — у меня — третья, но те, две, никогда не вызывали у меня такого желанья.

— Милый, — прошептала она, не открывая глаз и гладя ладонями груди свои, повторила: — Милый...

После этого она стала относиться к нему еще нежней и однажды сама, без его вызова, рассказала кратко и бескрасочно, что первый раз была арестована семнадцати лет по делу «народоправцев», вскоре после того, как он видел ее с Лютовым. Просидела десять месяцев в тюрьме, потом жила под гласным надзором у мачехи. Отец ее, дворянин, полковник в отставке, сильно пил, женился на вдове, купчихе, очень тупой и злой. Девятнадцати лет познакомилась с одним семинаристом, он ввел ее в кружок народников, а сам увлекся марксизмом, был арестован, сослан и умер по дороге в ссылку, оставив ее с ребенком. Ее второй любовью был тот блондин, с которым Клим встретил ее в год коронации Лютова.

— Это был человек сухой и властный, — сказала она, вздохнув. — Я, кажется, не любила его, но... трудно жить одной.

Потом она познакомилась с одним марксистом.

— Студент. Очень хороший человек, — сказала она и гладкий лоб ее рассекла поперечная морщина, покрасневшая, как шрам.

— Очень, — повторила она. — Товарищ Яков...

— Корнев? — спросил Самгин.

— Нет, — громко откликнулась она и стала осторожно укладывать груди в лиф; Самгин подумал, что она делает это, как торговец прячет бумажник, в который только что положил барыш; он даже хотел сказать ей это, находя, что она относится к своим грудям забавно ревниво, с какой-то смешной бережливостью.

— Кто это — Корнев? — спросила она, и Самгин рассказал ей о Корневе все, что знал, а она, выслушав его, вздохнула, улыбнулась:

— Ну, вот, ты знаешь мою историю. Обыкновенна?

Сидя в постели, она заплетала косу. Волосы у нее были очень тонкие, мягкие, косу она укладывала на макушке холмиком, увеличивая этим свой рост. Казалось, что волос у нее немного, но, когда она распускала косу, она покрывала ее спину или грудь почти до пояса, и она становилась похожа на кающуюся Магдалину.

В ответ на жестокую расправу с крестьянами на юге раздался выстрел Кочуры в харьковского губернатора. Самгин видел, что даже

люди, отрицавшие террор, снова, втайне, одобряют этот, хотя и неудавшийся, акт мести.

Пришел Митрофанов, грузно сел на стул и раздумчиво начал спрашивать:

— Кочура этот — еврей? Точно знаете — не еврей? Фамилия смущает. Рабочий? Н-да. Однако непонятно мне: как это рабочий своим умом на самосуд — за обиду мужикам пошел? Наущение со стороны в этом есть, как будто бы? Вообще, пистолетные эти дела как-то не объясняют себя.

Но, выслушав объяснения Самгина, он тряхнул головой и, почти весело, закончил:

— Впрочем — дело не мое. Я, так сказать, из патриотизма. Знаете, например: свой вор — это понятно, а, например, поляк или грек, это уж обидно. Каждый должен у своих воровать.

Самгин, рассказав этот анекдот Никоновой, похвастался:

— Человек — удивительно преданный мне. Он, конечно, знаком с филерами, предупреждал меня, что за мной следят, говорил и о тебе подозрительная особа.

— Вот как? — живо воскликнула она. — Это — хорошо!

— Не правда ли?

— Очень хорошо. Ты займись им. Можно использовать более широко. Ты не пробовал уговорить его пойти на службу в охранное отделение? — Я бы, на твоем месте, попробовала.

«Оказывается, в ней есть склонность к авантюрам», — подумал Самгин.

Жизнь становилась все более щедрой событиями, каждый день чувствовался кануном новой драмы. Тон либеральных газет звучал ворчливей, смелее, споры — ожесточенней, деятельность политических партий — лихорадочнее, и все чаще Самгин слышал слова:

— Нелегальный. Подпольщик.

Разъезжая по делам патрона и Варавки, он брал различные поручения Алексея Гогина и других партийцев, и по тому, как быстро увеличивалось количество поручений, убеждался, что связи партий в Московском фабричном районе растут. Незаметно для себя он привык исполнять эти поручения, исполнял их с любопытством и, порою, мысленно усмехался, чувствуя себя «покорным слугою революции», как он называл Любашу Сомову, как понимал Никонову. У него было много интересных встреч, и одна из них особенно долго оставалась в памяти.

Поздно вечером к нему в гостиницу явился человек среднего роста, очень стройный, но голова у него была несоразмерно велика, и поэтому он казался маленьким. Коротко остриженные, но прямые и жесткие волосы на голове торчали в разные стороны, еще более увеличивая ее. На круглом, бритом лице — круглые выкатившиеся глаза, толстые губы, верхнюю украшали щетинистые усы, и губа казалась презрительно вздернутой. Одет он в белый китель, высокие сапоги, в руке держал солидную палку

— Только? — спросил он, приняв из рук Самгина письмо и маленький пакет книг, взвесил пакет на ладони, положил его на пол, ногою задвинул под диван и стал читать письмо, держа его близко пред лицом у правого глаза, а, прочитав, сказал:

— Левым почти совсем не вижу. Приговорен к совершенной слепоте; года на два хватит зрения, а затем — погружаюсь во тьму.

Говорил он так, как будто гордился тем, что ослепнет. Было в нем что-то грубоватое, солдатское. Складывая письмо все более маленькими квадратиками, он широко усмехнулся:

— Сообщают, что либералы пошевеливаются в сторону конституции. Пожилая новость. Профессура и адвокаты, конечно? Ну, что ж, пускай зарабатывают для нас некоторые свободы.

Развернув письмо, он снова посмотрел на него правым глазом и спросил тоном экзаминатора:

— Ну, а как студенчество?

Самгин уже видел, что пред ним знакомый и неприятный тип чудака-человека. Не верилось, что он слепнет, хотя левый глаз был мутный и странно дрожал, но можно было думать, что это делается нарочно, для вящшей оригинальности. Отвечая на его вопросы осторожно и сухо, Самгин уступил желанию сказать что-нибудь неприятное и сказал:

— В общем — молодежь становится серьезнее и очень многие отходят от политики к науке.

— То-есть — как это отходят? Куда отходят? — очень удивился собеседник. — Разве наукой вооружаются не для политики? Я знаю, что некоторая часть студенчества стонет: не мешайте учиться! Но это — недоразумение. Университет, в лице его цивильных кафедр, — военная школа, где преподается наука командования пехотными массами. И, разумеется, всякая другая военная мудрость.

Он говорил, а щетинистые брови его всползали все выше от удивления. Самгин, видя, что выпад его неудачен, переменил тему:

— Вы, что же, военный?

— Студент физико-математического факультета, затем — рядовой 44-го Псковского полка. Но по слабости зрения, — мне его казак нагайкой испортил, — от службы отстранен и обязан жить здесь, на родине, три года безвыездно.

Быстро выговорив все это, он спросил насмешливо:

— А вы не из тех ли добродушных, которые хотят подвести либералов к власти за левую ручку, а потом получить правой их ручкой по уху?

Он сказал это очень задорно и как-то внезапно помолодел, подтянулся, готовясь к бою, но Самгин уклонился от боя.

— Вы — здесь родились?

— Увы! Но настоящей родиной моей считаю Москву, университет.

— Скучно здесь?

— Скуки не испытываю, но есть некоторые неудобства: за четырнадцать месяцев — два обыска и семьдесят четыре дня тюрьмы.

Несколько секунд он молча и как бы издали рассматривал Самгина потом сказал тоном приказа:

— Вы, там, скажите Гогину или Пояркову, чтоб они присылали мне литературы больше, и что совершенно необходимо, чтоб сюда снова приехал товарищ Дунаев. А также, чтоб не являлась ко мне бестолковая дама.

Достав из-под дивана пакет, он снова взвесил его на ладони и — закончил строго:

— И, наконец, меня зовут Петр Усов, а не Руссов и не Петрусов, как они пишут на конвертах. Эта небрежность создает для меня излишние хлопоты с почтой.

Сунул пакет за пазуху, под мышку, молча стиснул пальцы Самгина и ушел, постукивая палкой.

— Вождь... «Объясняющий господин». Как это символично, что он слепнет, — думал Самгин, глядя в окно, на мещанские домики, точно вымытые лунным светом. Домики были двухэтажные, прочные и окутаны садами, как шубами. Земля под ними тоже, должно быть, прочная, а улица плотно вымощена булыжником, отшлифованным пылью и лунным светом. По тротуару величественно плыл большой коричневый ком сгущенной скуки, — пышно одетая женщина вела за руку мальчика в матроске, в фуражке с лентами; за нею шел клетчатый человек, похожий на клоуна, и шумно сморкался в платок, дергая себя за нос. Было тихо, как бывает только в русских уездных городах, лишь внизу гостиницы щелкали шары биллиарда. Можно было вообразить, что это камни мостовой бьются друг о друга от скуки.

Самгин задумался о человеке, который слепнет в этом городе, вероятно чужом ему, как иностранцу, представил себя на его месте и сжался, точно от холода.

— Все-таки, — надо признать, — мужественные люди, — невольно подумал он. — Хотя этот — революционер по личному мотиву, так сказать. А скуку эту они едва ли одолеют...

Вечером, в день, когда он приехал домой, явился Митрофанов и сказал с натянутой усмешкой:

— Пришел проститься, перевожусь в Калугу, — а — почему? Неизвестно. Не понимаю. Вдруг...

Он говорил и пожимал плечами и механически гладил колени ладонями, покачивался.

— Очень сожалею, я к вам так привык, — искренно сказал Самгин.

Растерянная усмешка соскользнула с лица Митрофанова, он шумно вздохнул и оживился, выпрямился, говоря:

— А я вас, извините, сердечно полюбил, Клим Иванович, — вы для меня, знаете... муж разума и вообще... лицо!

— Что же у вас... неудача какая-нибудь?

Агент полиции снова приуныл, пожал плечами, оглянулся.

— Наоборот, — сказал он. — Варвары Кирилловны — нет? Наоборот, — вздохнул он. — Я, вообще, удачлив. Я на добродушие воров ловил,

они на это идут. Мечтал даже французские уроки брать, потому что крупный вор после хорошего дела обязательно в Париж едет. Нет, тут какой-то... каприз судьбы.

Он медленно встал и попросил:

— Передайте, пожалуйста, супруге мою сердечную благодарность за ласку. А уж вам я и не знаю, что сказать за вашу... благосклонность. Странное дело, ей-богу! — не громко, но с упреком воскликнул он. — К нашему брату относятся, как, примерно, к собакам, а, ведь, мы тоже, знаете... вроде докторов!

Круглые глаза Митрофанова налились слезами, он отвернулся, пряча обиженное лицо, быстро и крепко тиснул руку Самгина и ушел.

Было жалко его, но думать о нем — некогда. Количество раздражающих впечатлений быстро возрастало. Самгин видел, что молодежь становится проще, но не так, как бы он хотел. Ему казалась возмутительной поспешность, с которой студенты первокурсники, вчерашние гимназисты, объявляли себя эс-эрами и эс-деками, раздражала легкость, с которой решались ими социальные вопросы.

— Мальчишки, — мысленно негодовал он на людей моложе его на десять, восемь, на шесть лет. Ему хотелось учить, охлаждать их пыл. Но, когда он пробовал делать это, он встречал горячий отпор и убеждался, что мальчишки и эмоционально сильнее, и социально грамотней его.

Народились какие-то «вундеркинды», — один из них, крепенький мальчик лет двадцати, гладкий и ловкий, как налим, высоколобый, с дерзкими глазами вертелся около Варвары в качестве ее секретаря и учителя английского языка. Как-то при нем Самгин сказал:

— Революционер, прежде всего, общественный деятель.

Тогда этот налим, иронически усмехаясь, спросил:

— В интересах какого же общества действует эдакий революционер? Если в интересах современного, классового, так почему же он — революционер, а не контрреволюционер?

Самгин заговорил в солидном, даже строгом тоне, но это не смутило юношу, который спокойно выслушав доводы, сказал, тряхнув гладкостриженной головой:

— Не убедительно. Наша задача — создание нового, а не ремонт старья.

Юноша носил фамилию Властов, и на вопрос Варвары: — кто его отец? ответил:

— Я — вроде анекдота, автор — неизвестен. Мать умерла, когда не было одиннадцать лет; воспитывала меня «от руки» — помните Диккенса? — ее подруга, золотошвейка; тоже умерла в прошлом году.

Самгина не мог не раздражать юноша, который, по поводу споров за границей, просто сказал:

— В скрытой сущности своей это — борьба людей, которые говорят по Марксу с людьми, которые решили действовать по Марксу.

Он был, видимо, очень здоров, силен, ходил как-то особенно твердо; на его смугловатом лице блестели темные глаза, узкие, они казались саркастически прищуренными. После нескольких столкновений с ним Самгин спросил жену:

— Зачем тебе этот юный циник?

— Он очень деловит, — сказала Варвара, и неприятно обнажив зубы усмешкой, дополнила: — Кумов — не от мира сего, он все о духе, а этот — ничего воздушного не любит.

Кумов сшил себе сюртук оригинального покроя, с хлястиком на спине, стал еще длиннее и тихим голосом убеждал Варвару:

— К народу нужно итти не от Маркса, а от Фихте. Материализм — вне народной стихии. Материализм — усталость души. Творческий дух жизни воплощен в идеализме.

Варвара, по вечерам, редко бывала дома, но если не уходила она — приходили к ней. Самгин не чувствовал себя дома даже в своей рабочей комнате, куда долетали голоса людей, читавших стихи и прозу. Настоящим, теплым своим домом он признал комнату Никоновой. Там тоже были некоторые неудобства; смущал очкастый домохозяин, он, точно поджидая Самгина, торчал на дворе и, встретив его ненавидящим взглядом красных глаз из-под очков, бормотал:

— Затворяя калитку — поднимайте щеколду. Ноги надо вытирать, для того на крыльце рогожка положена.

— Почему он так не любит меня?

— Я думаю, старики никого не любят, а только притворяются, что, иногда, любят, — задумчиво ответила Никонова.

В комнате ее было тесно, из сада втекал запах навоза, кровать узка и скрипела. Самгин несколько раз предлагал ей переменить квартиру.

— Для меня «с милым рай и в шалаше», — шутила она, не уступая ему. Он считал ее бескорыстие глупым, но не спорил с нею.

Уже прошел год, а она не уставала внимательно и молча слушать его.

— Суббота для человека, а не человек для субботы, — говорил он.— Каждый свободен жертвовать или не жертвовать собой. Если даже допустить, что сознание определяется бытием, — это еще не определяет, что сознание согласуется с волею.

Он сам чувствовал, что эти издерганные, измятые мысли не удовлетворяют его, и опасался, что женщина, сделав из них выводы, перестанет уважать его.

Но она сочувственно кивала головой.

Когда он рассказывал ей о своих встречах и беседах с партийными людьми, Никонова слушала как будто не так охотно, как его философические размышления. Она никогда не расспрашивала его о людях. И только один раз, когда он сказал, что Усов просит не присылать к нему «бестолковую» даму, она живо спросила:

— Бестолковую?

И, подумав, спросила еще, но уже равнодушно:

— Кто бы это?

Ее конспиративность удивляла, даже внушала уважение. Самгин продолжал думать, что она приспособилась к революционной работе, как приспособляются к ремеслу, как, например, почтальон приспособлен к разноске писем по запутанным улицам Мосвкы. Но она не похожа на безвольную и бездарную Таню Куликову, не похожа и на Любашу, для которой революционеры, вероятно, интереснее и ближе революции. В Никоновой было нечто от книги, фабула которой искусно затемнена. Довольно часто и почти всегда неожиданно она исчезала из Москвы. Случалось, что, являясь к ней в условленный день и час, он получал из рук домохозяина конверт и в нем краткую записку без подписи: «Вернусь через неделю». «Не дожидайся, уехала на два дня».

У него был второй ключ от комнаты, и как-то вечером, ожидая Никонову, Самгин открыл книгу модного, неприятного ему автора. Из книги вылетела узкая полоска бумаги, на ней ничего не было написано, и Клим положил ее в пепельницу, а потом, закурив, бросил туда же не погасшую спичку; край бумаги нагрелся и готов был вспыхнуть, но Самгин успел схватить ее, заметив четко выступившие буквы.

— «Усов», — прочитал он, подумал и стал осторожно нагревать бумажку на спичке, разбирая: «быв. студ. сдан в солд. учит. Софья Любачева, служ. гостиницы «Москва», быв. раб. Выксунск. зав. Андрей Андреев».

За этим делом его и застала Никонова. Открыв дверь и медленно притворяя ее, она стояла на пороге, и на побледневшем лице ее возмущенно и неестественно выделились потемневшие глаза. Прошло несколько неприятно длинных секунд, прежде чем она тихо, с хрипотой в горле, спросила:

— Что ты делаешь? Зачем?

Ее волнение было похоже на испуг и так глубоко, что даже после того, когда Самгин, рассказав ей, как все это произошло, извинился за свою нескромность, она долго не могла успокоиться.

— Но — зачем же ты проявлял? — повторяла она, очень пристально и как-то жалобно рассматривая его лицо. — Увидал, что написано, и должен был оставить... а ты начал проявлять, — зачем?

Навязчивые, упрямые ее вопросы разозлили его, и довольно сухо он сказал:

— Я — извинился, сказал уже, что сделано это мною безотчетно, от скуки, что ли! Ты испугана своей неосторожностью, и злишься на меня зря.

Эти слова успокоили ее, она села на колени к нему и, гладя ласковой ладонью щеку его, сказала покорно:

— Я — не злюсь. — И, улыбаясь, прибавила: — Я тоже не знаю, что меня взволновало.

В этот вечер она была особенно нежна с ним и как-то грустно нежна. Изредка, но все чаще, Самгин чувствовал, что ее примиренность с жизнью,

покорность взятым на себя обязанностям передается и ему, заражает и его. Но тут он открыл в ней черту, раньше не замеченную им и родственную Нехаевой: она тоже обладала способностью смотреть на людей издалека и видеть их маленькими, противоречивыми.

— Ты слышал, что Щедрин, перед смертью, приглашал Ивана Кронштадтского? — спрашивала она и рассказывала о Льве Толстом анекдоты, которые рисовали его человеком самовлюбленным, позирующим. Вообще, она знала очень много сплетен об умерших и живых крупных людях, но передавала их беззлобно, равнодушным тоном существа из мира, где все, что не пошло, вызывает подозрительное и молчаливое недоверие, а пошлость считается естественной, и только через нее человек может быть понят. Эти ее анекдоты очень хорошо сливались с ее же рассказами о маленьких идиллиях и драмах простых людей и, в общем, получалась картина морально уравновешенной жизни, где нет ни героев, ни рабов, а только — обыкновенные люди.

«Жестоко вышколили ее», — думал Самгин, слушая анекдоты и понимая пристрастие к ним, как выражение революционной вражды к старому миру. Вражду эту он считал наивной, но не оспаривал ее, чувствуя, что она довольно согласно отвечает его отношению к людям, особенно к тем, которые метят на роли вождей, «учителей жизни», «объясняющих господ».

Он видел, что с той поры, как появились прямолинейные юноши, подобные Властову, Усову, яснее обнаружили себя и люди, для которых революционность «большевиков» была органически враждебна. Себя Самгин не считал таким же, как эти люди, но все-таки смутно подозревал нечто общее между ними и собою. И, размышляя перед Никоновой, как перед зеркалом или над чистым листом бумаги, он говорил:

— Ученики Ленина несомненно вносят ясность в путаницу взглядов на революцию. Для некоторых сочувствующих рабочему движению эта ясность будет спасительна, потому что многие не отдают себе отчета, до какой степени и чему именно они сочувствуют. Ленин прекрасно понял, что необходимо обнажить и заострить идею революции так, чтоб она оттолкнула все чужеродное. Ты встречала Степана Кутузова?

— Никогда, — отвечала женщина, нахмурив брови, отрицательно качнув головой.

Самгин рассказывал ей о Кутузове, о том, как он характеризовал революционеров. Так он вертелся вокруг самого себя, заботясь уж не столько о том, чтоб найти для себя устойчивое место в жизни, как о том, чтоб подчиняться ее воле с наименьшим насилием над собой. И все чаще примечая, подозревая во многих людях людей, подобных ему, он избегал общения с ними, даже презирал их, может быть, потому, что боялся быть понятым ими.

Зимою у него была неприятнейшая встреча с Лютовым. Только что приехав в Подольск, Самгин пил чай в номере плохенькой гостиницы, просматривая копии следственного производства по делу о поджоге. За

окном бесшумно колебалась густая кисея снега, город был окутан белой тишиной. Внезапно в коридоре хлопнула дверь, заскрипел пол, и на пороге комнаты Самгина встал, приветственно взвизгивая, торговец пухом и пером, в пестрой курточке из шкурок сусликов, в серых валеных сапогах выше колен. Усевшись на стул верхом и стараясь понизить непослушный голос, Лютов сообщил, что приехал покупать коня.

— Необыкновенной красоты конь! Для Алины.

Вошел кудрявый парень в белой рубахе, с лицом счастливого человека, принес бутылку настойки янтарного цвета, тарелку моченых яблоков и спросил, ангельски улыбаясь: — не прикажут ли еще чего-нибудь.

— Исчезни, морда! — приказал Лютов.

Он стал уродливее. Поредевшие встрепанные волосы обнажали бугроватый череп; лысина, увеличив лоб, притиснув глазницы, сделала глаза меньше, острее; белки приняли металлический блеск ртути, покрылись тонким рисунком красных жилок, зрачки потеряли форму, точно зазубрились и стали еще более непослушны, а под глазами вспухли синеватые подушечки и нос опустился к толстым губам. Все в нем было непослушно, раздергано и как будто нарочно он не подстригал редкие волосики бороденки, усов; нарочно для того, чтоб подчеркнуть раздражающую неприглядность лица. Качаясь на стуле, развинченно изгибаясь, он иронически спрашивал:

— Ты что же не бываешь у Алины? Жена запрещает или мораль?

Неприятно смущенный бесцеремонным вторжением, Самгин сказал, что у него много работы, но Лютов, не слушая, наливая рюмки, ехидствовал, обнажая мелкие, желтые зубы.

— Моралист, хех! Не плохое ремесло. Ну-ко, выпьем, моралист! Легко, брат, убеждать людей, что они — дрянь и жизнь их — дрянь, они этому тоже легко верят, чорт их знает, почему! Именно эта их вера и создает тебе и подобным репутации мудрецов. Ты — не обижайся, — попросил он, хлопнув ладонью по колену Самгина. — Это я говорю для упражнения в острословии. Обязательно, братец мой, быть остроумным, ибо чем еще я куплю себе кусок удовольствия?

Склонив голову к плечу, он подмигнул левым глазом и прошептал:

— «Жизнь для лжи-зни нам дана», — заметь, что этот каламбуришко достигается приставкой к слову жизнь буквы люди. Штучка?

— Плохой каламбур, — сухо сказал Клим.

— Отвратителен, — согласился Лютов.

Самгин и раньше подозревал, что этот искаженный человек понимает его лучше всех других, что он намеренно дразнит и раздражает его, играя какую-то злую и темную игру.

Больная, хитрая бестия. Когда он говорит настоящее свое, то, чему верит? Может быть, на этот раз, пьяный, он скажет о себе больше, чем всегда.

Лютов выпил еще, взял яблоко, скептически посмотрел на него и, бросив на тарелку, вздохнул со свистом.

— Пей! Не корректно быть трезвым, когда собеседник пьян. Выпьем, например, за женщин, продающих красоту свою на растление мужеподобным скотам.

Он возгласил это театрально и даже взмахнул рукою, но его лицо тотчас выдало фальшь слов, оно обмякло, оплыло, ртутные глаза на несколько секунд прекратили свой трепет, слова тоста как бы обожгли Лютова испугом.

— Это я — так... взболтнул, — забормотал он, глядя в угол. — Это — Макаров внушает, чорт... хех.

Обеими руками схватив руку Самгина у локтя и кисти, притягивая, наклоняя его к себе, он прошептал:

— Почтеннейший страховых дел мастер, — вот забавная штука: во всех диких мыслях скрыта некая доза истины! Пилат, болван, должен бы знать: истина — игра дьявола! Вот это и есть народительница всех наших истин, первопричина идиотской, тревожной бессонницы всех умников. Плохо спишь?

— Ты, Лютов, человек из сумасшедшего дома Достоевского, — с наслаждением сказал Самгин.

— Нет, — серьезно? — взвизгнул Лютов.

— Тебе надобно лечиться...

— Так, значит, из Достоевского? Ну, это — ничего. А то, видишь ли, есть сумасшедший дом Михаила Щедрина...

— Зачем все эти... фокусы? При чем тут Щедрин? — говорил Самгин, подчиняясь раздражению.

— Не понимаешь? — будто бы удивился Лютов. — Ах, ты, нормалист! Но, ведь, надобно одеваться прилично, этого требует самоуважение, а трагические лохмотья от Достоевского украшают нас приличнее, чем сальные халаты и модные пиджаки от Щедрина, — понял? Хех...

Он говорил подсмеиваясь, подмигивая, а Самгин ждал момента, когда удобнее прервать ехидную болтовню, копил резкие, уничтожающие слова и думал:

— Поссорюсь с ним. Навсегда.

Но Лютов, проглотив еще рюмку водки, вдруг стал трезвее, заговорил спокойнее:

— А хорошие подзатыльники дают эс-эры самодержавцам, э?

Он оттолкнул руку Самгина, налил водки ему и заговорил потише.

— «Зубы грешника сокрушу» — угрожал Иегова и — царства сокрушал. Как думаешь, которая из двух партий скорее заставит дать конституцию?

— Место ли говорить здесь об этом? — заметил Самгин, присматриваясь к нему, не понимая, как это он отрезвел.

— Тихонько — можно, — сказал Лютов. — Да и кто здесь знает, что такое конституция, с чем ее едят? Кому она, тут, нужна? А слышал ты: будто в Петербурге какие-то хлысты, анархо-теологи, вообще — черти не нашего бога — что-то вроде цезаро-папизма проповедуют? Это, брат, за-

мечательно! — шептал он, наклоняясь к Самгину. — Это — очень дальновидно! Попы, люди чисто русской крови, должны сказать свое слово! Пора. Они — скажут, увидишь!

Наклонясь к Самгину, обдавая его горячим дыханием, он зашипел:

— Начинается организация анти-социалистических сил, понимаешь?

Через минуту-две Самгин был уверен, что этот человек, так ловко притворяющийся пьяным, совершенно трезв и завел беседу о политике не для того, чтоб высказаться, а чтобы выпытать.

— Ленин очень верно понял значение «зубатовщины» и сделал правильный вывод: русскому народу необходим вождь, — так? — спрашивал он шепотком.

— Ну — и что же? — усмехнулся Клим, уже чувствуя себя охмелевшим.

— Какой — вождь? Бебель или... Сун Ят-сен? Какой? Фома Мюнцер или... Сун Ят-сен? А?

Самгин понимал, что он и Лютов смотрят друг надруга как бойцовые петухи.

— Плохой ты актер, — сказал он и, подойдя к окну, открыл форточку. В темноте колебалась сероватая масса густейшего снега, создавая впечатление ткани, которая распадается на мелкие клочья. У подъезда гостиницы жалобно мигал взвешенный в снегу и тоже холодный огонек фонаря. А за спиною бормотал Лютов.

— Притворяются идеалистами... и притворство погубит их. Онан, сын Иуды, был тоже идеалистом...

Самгин глубоко вдыхал сыроватый и даже как будто теплый воздух, прислушиваясь к шороху снега, различая в нем десятки и сотни разноголосых, разноречивых слов. Сзади зашумело: это Лютов, вставая, задел рукою тарелку с яблоками и два или три из них шлепнулись на пол.

— Спать иду, — объявил Лютов, стоя твердо, потирая подбородок, оскалив зубы. — Хочешь — завтра — коня пробовать со мною?

Самгин отказался пробовать коня, и Лютов ушел не простясь. Стоя у окна, Клим подумал, что все эти снежные и пыльные вихри слов имеют одну цель — прикрыть разлад, засыпать разрыв человека с действительностью. Он вспомнил спор Властова с Кумовым.

— Тайна? — спросил Властов, саркастически измеряя Кумова взглядом: — Непознаваемая, говорите? Если б я был склонен к словесным фокусам, я бы сказал, что если она не познаваема, это значит, что наука уже познала ее, как таковую. Но фокусы — дело идеалистов. А наука не послушна Дюбуа-Реймону, она не знает непознаваемого, но только непознанное. Познание, о котором вы говорите — для меня фабрикация словесных пошлостей. Настоящие ценности создаются из материала научного опыта, а продукты творчества идеалистов — фальшивая монета.

Самгин шумно захлопнул форточку, раздраженный воспоминанием о Властове еще более, чем беседой с Лютовым. Да, эти Властовы плодятся, множатся и смотрят на него, как на лишнего в мире. Он чувствовал, как

быстро они сдвигают его куда-то в сторону с позиции человека солидного, широко осведомленного, с позиции, которая все-таки несколько тешила его самолюбие. Дерзость Властова особенно возмутительна. На любимую Варварой фразу: «декаденты — тоже революционеры» он ответил:

— С этим можно согласиться. Химический процесс гниения — революционный процесс. И так как декадентство есть явный признак разложения буржуазии, то все эти «Скорпионы», «Весы» и — как их там? — они льют воду на нашу мельницу, в конце концов.

«Какой отвратительный, фельетонный умишко», — подумал Самгин. Шагая по комнате, он поскользнулся, наступив на квашеное яблоко и вдруг обессилел, точно получив удар тяжелым, но мягким по голове. Стоя среди комнаты, брезгливо сморщив лицо, он смотрел из-под очков на раздавленное яблоко, испачканный ботинок, а память механически безжалостно подсказывала ему различные афоризмы.

— Убивать надобно не министров, а предрассудки так называемых культурных, критически-мыслящих людей, — говорил Кумов, прижимая руки ко груди, конфузливо улыбаясь.

Рядом с этим вспомнилась фраза Татьяны Гогиной:

— История России в XIX веке — сплошной диалог, изредка прерываемый выстрелами пистолетов и взрывами бомб.

После нескольких месяцев тюрьмы ее сослали в глухой городок Вятской губернии. Перед отъездом в ссылку она стала скромнее одеваться, обрезала пышные свои волосы и сказала:

— Вот я окончательно постриглась в революцию.

Самгин сел, пытаясь снять испачканный ботинок и боясь испачкать руки. Это напомнило ему Кутузова. Ботинок упрямо не слезал с ноги, точно прирос к ней. В комнате сгущался кисловатый запах. Было уже очень поздно, да и не хотелось позвонить, чтоб пришел слуга, вытер пол. Не хотелось видеть человека, все равно — какого.

— И это жизнь? — мысленно воскликнул он, согнувшись, возясь с ногой, выпачкал пальцы и, глядя на них, увидел раздавленного Диомидова, услышал его крик:

— Каждому свое пространство.

Этот юродивый хитрец нашел свое «пространство». Он живет, проповедуя «трезвенность», он уже известен, его слушают десятки, может быть сотни людей. Осенью Варвара и Кумов уговорили Самгина послушать проповедь Диомидова, и тихим, теплым вечером Самгин видел его на задворках деревянного, двухэтажного дома, на крыльце маленькой пристройки с крышей на один скат, с двумя окнами, с трубой, недавно сложенной и еще не закоптевшей. Этот хлевушек жалобно прислонился к высокой, бревенчатой стене какого-то амбара; стена, серая от старости, немного выгнулась, нето — заботливо прикрывая хлевушок, нето — готовясь обрушиться на него. Крыльцо жилища Диомидова, новенькое, с двумя колонками, с крышей на два ската, под крышей намалеван голубой краской трехугольник, а в нем — белый голубь, похожий на курицу.

Диомидов, в ярко начищенных сапогах с голенищами гармоникой, в черных шароварах, в длинной, белой рубахе, помещался на стуле, на высоте трех ступенек от земли; длинноволосый, желтолицый, с христовой бородкой, он был похож на икону в киоте. Пред ним, на засоренной, затоптанной земле двора стояли и сидели темносерые люди; наклонясь к ним, размешивая воздух правой рукой, а левой шлепая по колену, он говорил:

— К человеку племени Данова, по имени Маной, имевшему неплодную жену, явился ангел, и неплодная зачала, и родился Сампсон, человек великой силы, раздиравший голыми руками пасти львиные. Так же зачат был и Христос и многие так...

Голос его, раньше бесцветный, тревожный, теперь звучал уверенно, слова он произносил строго и немножко с распевом, на церковный лад. Проповедь не интересовала Самгина, он присматривался к людям; на дворе собралось несколько десятков, большинство мужчин, видимо, ремесленники, все — пожилые люди. Больше половины слушателей — женщины, должно быть, огородницы, прачки, а одетые почище — мелкие торговки, прислуга без работы. Стиснутые низенькими сараями, стеной амбара и задним фасадом дома, они образовали на земле толстый слой изношенных одежд, от них исходил запах мыла, прелой кожи, пота. Из окон дома тоже торчали головы, а в одном из них сидел сапожник и быстро, однообразно, безнадежно разводил руками, с дратвой в них. Рядом с Климом, на куче досок остробородый человек средних лет, в изорванной поддевке и толстая женщина лет сорока; когда Диомидов сказал о зачатии Сампсона, она пробормотала:

— От кого ни зачни, а дите кормить надо.

Остробородый, утвердительно кивнув головой, вздохнул, потом вполголоса обратился к Самгину:

— Заботятся про нас, учат, а нам — хоть бы что...

У ног Самгина полулежал человек, выпачканный нефтью, курил махорку, кашлял и оглядывался, не видя куда плюнуть; плюнул в руку, вытер ладонь о промасленные штаны и сказал соседу в пиджаке, лопнувшем на спине по шву.

— Слышал, — Яков грибами отравился, в больницу отвезли.

— С ним — всегда что-нибудь, — глухо и равнодушно ответил сосед. — За ним горе тенью ходит.

Но говорили мало, приглушенно, голос Диомидова был слышен хорошо.

— Плоть сытая и соты медовые отвергает, а голодной душе и горькое — сладко, — сказал царь Соломон.

Диомидов вертел шеей, выцветшие голубые глаза его смотрели на людей холодно, строго и притягивали внимание слушателей, все они как бы незаметно ползли к ступенькам крыльца, на которых, у ног проповедника, сидели Варвара и Кумов, Варвара — глядя в толпу, Кумов — в небо, откуда падал неприятно рассеянный свет, утомлявший зрение. Что-то уны-

лое и тягостное почувствовал Самгин в этой толпе, затисканной, как бы помимо воли ее, на тесный двор, в яму, среди полуразрушенных построек. За крыльцом, у стены, — молоденький околоточный надзиратель с папиросой в зубах, сытенький, розовощекий щеголь; он был похож на переодетого студента первокурсника, из провинции. Заботливо разглаживая перчатку, он уже два раза прикладывал ее ко рту и надувал так, что перчатка принимала форму живой, пухлой руки.

— А еще вреднее плотских удовольствий — забавы распутного ума, — громко говорил Диомидов, наклонясь вперед, точно готовясь броситься в густоту людей. — И вот студенты и разные недоучки, медные головы, честолюбцы и озорники, которым не жалко вас, наполняют голодные души ваши, которым и горькое — сладко, скудоумными выдумками о каком-то социализме, внушают, что была бы плоть сыта, а ее сытостью и душа насытится... Нет! Врут! — с большой силой и торжественно подняв руку вскричал Диомидов.

Самгин привстал, ощутив холодок изумления. Ему показалось, что люди сгрудились теснее и всею массою подвинулись ближе ко крыльцу; показалось даже, что шеи стали длиннее у всех и заметней головы. Эта небольшая толпа вызывала впечатление безрукости, руки у всех были скрыты, спрятаны в лохмотьях одежд, за пазухами, в карманах. Казалось также, что, намагничивая Диомидова своим молчаливым и напряженным вниманием, люди притягивают его к себе, а он скользит, спускается к ним. Он встал, ноги его дрожали, а руками он тыкал судорожно в воздух, точно что-то отталкивая, стоял, топая ногой, и кричал:

— И убивают верных рабов земного нашего...

— Сейчас ему — крышка! — сказал промасленный человек и, кашляя, встал на ноги.

На крыльцо вскочил околоточный и, махая перчаткой на Диомидова, как бы отгоняя его точно муху, что-то сказал:

— Да разве я о политике! — звонко и горестно вскрикнул Диомидов. — Это не политика, а — ложь! То-есть — поймите! — правда это, правда!

— Прошу прекратить! Прошу расходиться, — вкусно выговаривал полицейский, размахивая перчаткой.

Люди уже вставали с земли, толкая друг друга, встряхиваясь, двор наполнился шорохом, глухою воркотней. Варвара, Кумов и еще какие-то трое прилично одетых людей окружили полицейского, он говорил властно и солидно:

— Не могу-с. Не разрешаю...

— Объясните ему, — кричал Диомидов.

— Это — безразлично: он будет нападать, другие — защищать — это не допускается! Что-с? Нет, я не глуп. Полемика? Знаю-с. Полемика та же политика! Нет, уж извините! Если б не было политики, — о чем же спорить? Прошу...

— Жаловаться буду, — кричал Диомидов, толкая ногою стул.

— Рассердился, — отметил остробородый человек. — А — хорошо говорил!

Толстая женщина встала, вытерла рот ладонью и сказала довольно громко:

— Бабники все хорошо говорят.

— Разве — бабник?

— А то — нет?

— Да — ты про кого говоришь? — спросил человек в разорванном пиджаке. — Про околоточного?

— Все хороши! — сказала женщина, махнув рукой и отходя.

— Эх, ворона, — вздохнул человек в пиджаке. — Жить с вами — сил нету!

И, обращаясь к Самгину, сообщил вполголоса:

— Околоток этот молодой, а — хитер. Нарочно останавливает, чтобы знать, нет ли каких говорунов. Намедни один выискался, выскочил, а он его — цап! И — в участок. Вместе работают, наверное...

Толпа редела, таяла.

Самгин подошел ко крыльцу; раскланиваясь с Варварой, околоточный говорил очень вежливо и мягко:

— Прошу верить: у меня нет никаких сомнений! Приказ. Семен Петрович пламенный человек, возбуждает страсти... Бон суар!

И, отдав Варваре честь, он пошел за толпой, как пастух.

Диомидов, уже успокоенный, рассказывал Варваре с удовольствием, точно читая любимые стихи:

— Да, да, — совсем с ума сошел. Живет, из милости, на Земляном валу, у скорняка. Ночами ходит по улицам, бормочет: «Умри, душа моя, с филистимлянами!». Сампсоном изображает себя. Ну, прощайте, некогда мне, на беседу приглашен, прощайте!

Он круто повернулся и юркнул в узенькую дверь, сильно прихлопнув ее за собою.

— Ты — слышал? — спросила Варвара. — Дьякон — помнишь? — с ума сошел!

Самгин молча пожал плечами.

— Как тебе показался этот, а? Можно ли было ожидать! Впрочем — помнишь, как жаловался на него Дьякон?

Она говорила оживленно, а в глазах ее светилось что-то очень похожее на торжество.

Вспомнив эту сцену, он почувствовал себя отдохнувшим от Лютова и встал, чтоб погасить лампу. Синий огонек ее долго и упрямо мигал прежде, чем погаснуть; затем во тьме обнаружилось мутное пятно окна, оно было похоже на широкое, мохнатое полотенце. Удачно перешагнув через раздавленное яблоко, он лег, закрыл глаза и стал думать о Никоновой. Да, это — настоящий, нормальный человек, это — женщина для крепкой связи. В душе у нее, как в палисаднике, цветов не много, но все

взрощены любовно. Очень странно, что она не любит никаких украшений. Вспомнилось, как бережно укладывает она груди в лиф.

— Вероятно, бережет для ребенка.

Варвара — чужой человек. Она живет своей, должно быть, очень легкой жизнью. Равномерно благодушно высмеивает идеалистов, материалистов. У нее выпрямился рот и окрепли губы, но слишком ясно, что ей уже за тридцать. Она стала много и вкусно кушать. Недавно дешево купила на аукционе партию книжной бумаги и хорошо продала ее.

— Очень ловкая. Мы разойдемся наверное без драмы, — подумал Самгин, засыпая.

(Продолжение следует).

Мирные жители.

(Рассказ).

Н. Никандров.

I.

Столичная улица, как все столичные улицы.

Внизу, под ногами: до блеска заезженная, чисто выметенная, бу-ыжная мостовая, две прямые рельсовые линии трамвая, два узких рижатых к домам тротуара... Слева и справа, по обеим сторонам: гро-ады многоэтажных разнокалиберных зданий, с запыленными фасадами, ретендующими на эффектность, сплошь в окнах, вывесках, витринах... верху, над головой: узкая полоска далекого голубеющего неба, по орме точь-в-точь такая же, как и темнеющая полоска земли внизу, между вумя рядами домов, — полное ее отражение...

И вот на этой улице, в центре Москвы, на углу, как раз против зер-альных стекол шикарной, аппетитно-обставленной, витрины винно-астрономического магазина, повстречались в текучей толпе двое москви-ей, двое хороших знакомых: химик из государственного треста «Северо-атока» гражданин Корешков и жена его бывшего сослуживца, агронома з «Центрокапусты», гражданка Кузина.

Когда-то, не так давно, семьи Корешковых и Кузиных поддержи-али между собой самую тесную, самую дружескую связь.

Не проходило недели, чтобы они, хотя по одному разу, не побывали уг у друга в гостях.

То надо было спешно поделиться какой-нибудь объявившейся све-ей новостью, — продовольственной или мануфактурной; то вырабо-ать наиболее верные меры для отражения обще-московского врага, — моуправления или соседей по квартире; то попросить ненадолго взаймы и вернуть в срок червончик; то рассказать или выслушать содержание шумевшей картины кино; то просто так, — непринужденной болтов-й о том, о сем отвести душу...

Словом, казалось, эти люди жить друг без друга не могли.

Но с некоторых пор, — как это зачастую бывает в людских отноше-ях, — взаимные визиты двух семей становились все реже и реже, ка, наконец, совсем не прекратились.

Почему?

Да ни почему. Просто время, тратившееся обеими семьями на эти визиты, очевидно, стало у них уплывать на что-то иное, быть может, даже на такие же хождения по гостям, — только уже к другим их знакомым...

И теперь, неожиданно столкнувшись нос к носу на улице, так как тротуар в том месте был на-редкость узок, они заметили друг друга слишком поздно, — улизнуть ни тому, ни другому уже не представлялось никакой возможности, — и оба они вдруг, с жестами неудержимой радости, бросились навстречу друг другу.

— Евдокия Семеновна! — захлебывающимся от восторга писком вскричал Корешков, учтиво перегнулся в пояснице вперед, затряс в своей костлявой громадной ручище маленькую, пухленькую, как у ребенка, ручку Кузиной и, точно загримированный комик на сцене, наморщил худое выбритое лицо в умиленно-счастливую гримасу, за которой, однако, неподвижно сквозило, как темное дно омута, беспредельнейшее отчаянье:

«По-пал-ся! По-пал-ся! По-пал-ся!»

— Ипполит Петрович! — в свою очередь тоненько взвизгнула с деланным восхищением Кузина, по-театральному закатила глаза и замерла, точно готовая лишиться сознания, в то время как все лицо ее, полное, моложавое, с приятными ямочками на щеках, сплошь залилось румянцем невыносимейшего страдания:

«На-ле-те-ла! На-ле-те-ла! На-ле-те-ла!»

Старые друзья, где столкнулись, там и остановились, — посреди тротуара.

Стояли, не знали, что делать, что говорить, и, чтобы чем-нибудь заполнить время, с таким яростным усердием пожимали друг другу руки и с таким вопросительным ожиданием глядели один на другого в упор, что у обоих вскоре зарябило и заскакало в глазах.

— Вот так встреча! — придумал, наконец, что сказать, Корешков после полуторагодовой разлуки с Кузиной, беспокойно топчась перед ней на плитах тротуара, как на горячих угольях.

И, как бы в помощь своим, не достаточно веским словам, он рассыпался неестественным, трудно удававшимся ему хохотком.

Очередь говорить была за Кузиной, и она сказала, придав своему голосу нужное выражение:

— Да, можно сказать, приятная неожиданность! — и тоже сделала попытку весело рассмеяться, все еще с остолбеневшим лицом.

И обоим после этого сделалось так жарко, точно они через силу одолели высокую гору.

— Давненько не видались мы с вами, Евдокия Семеновна, давненько! — собрался с силами Корешков, выдавив из себя приличную фразу.

— Да! Да! — быстро-быстро замотала головой Кузина, обрадованная тем, что Корешков не молчит, говорит. — Страшно давно не видались, Ипполит Петрович! Страшно давно!

И они, с жаром ухватившись за эту, первую попавшуюся им, мысль, для чего-то принялись с точностью до одного дня вычислять, сколько времени не видались.

— В чем тут дело? — спросила раскрасневшаяся Кузина.

— Ни в чем, — любезно улыбнулся ей Корешков. — Абсолютно ни в чем.

— Тогда объясните, где же вы пропадали все это время? Отчего ни вас, ни вашей жены, Анны Андреевны, нигде не видно? Почему никогда не заходите?

— А вы? — с деликатными ужимками на все ее вопросы отвечал ей своими вопросами Корешков. — А вы и ваш муж почему к нам не заходите?

— О, мы-то с мужем только потому не заходим к вам, что вы с женой не заходите к нам!

— И мы с женой только оттого не бываем у вас, что вы с мужем не бываете у нас.

— Ну, вот что, — другим, повелительным тоном произнесла, наконец, Кузина, видимо, собираясь уходить. — Извольте дать мне слово, что вы на этой же неделе обязательно явитесь к нам!

— Даю слово, — ответил Корешков, как-то вяло, точно у него в груди вдруг израсходовался весь воздух.

И, чтобы скрыть длинный зевок, химик отвернулся в сторону и устремил какой-то прищемленный взгляд на проплывающую мимо публику.

— В эту субботу приходите, — командовала между тем Кузина, — а если надуете, не придете, мы с мужем так рассердимся на вас с женой, так рассердимся! Слышите?

— Слышу, слышу.

Друзья распрощались.

Прощание было такое же горячее, как и встреча. Они дважды выпускали из своих рук руку другого, потом снова ловили ее, жали, трясли, выкручивали, ломали...

II.

— Чорт их душу знает, пожалуют они сегодня к нам или нет? — бурчал Федор Иванович в субботу вечером, когда все в доме было готово к приходу Корешковых, и он, причесанный, приглаженный, скучливо слонялся по комнате от окна к дверям, от дверей к окну. — То бы куда-нибудь сходил, развлекся или хотя бы подышал воздухом, а то сижу здесь, в этих четырех стенах, как идиот, и томлюсь! Такое дежурство потяжелее всякой службы! Приходили бы уже поскорее, что ли!

— А ты думаешь мне легко? — вторила ему Евдокия Семеновна с несчастным выражением лица и, подтянутая, припудренная, озабоченно переставила на сервированном столе с места на место овальное блюдо. — Ты знаешь, сколько я в эту ночь спала?

— Сама виновата. Не надо было ради Корешковых затевать таку стряпню.

— Нельзя было не затевать. Когда мы к ним приходим, они всегд нас чем-нибудь угощают.

— Своими пирогами ты всю ночь не давала мне спать, и теперь н удивляйся, если я буду при гостях злой, как чорт.

— Не ври, пожалуйста, я видела, как хорошо ты спал.

Федор Иванович утомленно опустился в кресло, развалился на не в расслабленной позе и закряхтел, как столетний старик.

Евдокия Семеновна сидела на стуле, беспокойно поглядывала н приготовленный стол, переставляла с места на место приборы.

— Надо было их визит совместить с визитом к нам Лобановых которых мы будем вот так же ожидать послезавтра, — медленно, недо вольно забасил супруг, с бессильно опущенными верхними веками. — Да присоединить к ним еще кого-нибудь третьего, вроде семьи Куликов ских. Так сказать, стандартизировать это дело.

— Ты всегда что-нибудь выдумаешь, — не глядела на него нервничающая супруга.

Она вдруг вскочила, подбежала к дальнему концу стола и с озабоченным лицом переставила обратно на старое место блюдо с вотрушками, только что отнесенное ею туда. То ей казалось, что так лучше, то — наоборот.

Точного часа прибытия Корешковых не было назначено. И это еще больше усугубляло маяту Кузиных.

— Когда же они придут? — нетерпеливо спрашивал Кузин.

— Сказали, что вечером, — уныло отвечала Кузина.

— «Вечером» — понятие растяжимое, — угрюмо бубнил в мягкую спинку кресла Федор Иванович. — И пять часов пополудни «вечер», и восемь «вечер», и одиннадцать...

— Не говори, пожалуйста, глупостей! — сделала в его сторону раздраженное движение Евдокия Семеновна. — Ты сам прекрасно знаешь, что в Москве под словом «вечер» имеется в виду восемь часов!

— Откуда же это следует, что непременно восемь? — улыбнулся Федор Иванович и, лежа щекой на спинке кресла, немного приоткрыл один насмешливый глаз.

— Потому что в московских театрах в восемь часов начинаются представления! — быстро отрапортовала Евдокия Семеновна.

На угнетенном лице Федора Ивановича, с полузакрытыми глазами, опять скользнула снисходительно-ироническая, мужская улыбка.

— Во-первых, в театрах представления начинаются не в восемь часов, а в половине девятого, — мямлил он слово за словом, вяло, лениво, тягуче, как пьяный. — А, во-вторых, наша комната, пока что, еще не театр. Может быть, она когда-нибудь будет театром, этого я не знаю. Но, с другой стороны, в ней, конечно, как и во всякой московской квартире, уже и теперь происходят комедийные представления. Одно из них

удет разыграно нами сейчас, при участии Корешковых. Первый акт на-ался, действующие лица — мы с тобой...

Время тянулось медленно, и супругов клонило ко сну. У него и нее слипались глаза; привязавшаяся зевота сводила челюсти...

Чтобы не давать себе заснуть, они подолгу не засиживались на есте, окликали друг друга, вставали, выходили из комнаты, прохажи-ались с тревожно осунувшимися лицами по передней, по кухне, загля-ывали к соседям, придумывали для себя какую-нибудь работу, связан-ую с ожиданием гостей.

Чтобы гостям не было тесно сидеть, они на все лады передвигали ебель. Чтобы гостям было свободнее ходить, переносили на руках с места а место накрытый стол. Чтобы при гостях не было заминки в кипятке ля чаю, отливали и доливали самовар. Чтобы глазам гостей приятнее ыло смотреть, примеряли к лампе цветные абажурчики: зеленый, фиоле-овый, красный...

Потом, утомленные, отдыхали, — он в кресле, у окна, она на стуле, озле накрытого стола.

Сидели; громко зевали, хрустя челюстями; через каждую минуту кидывали красные, измученные глаза на стенные часы; прислушива-ись галлюцинирующими ушами к звонкам, раздававшимся в передней...

— Кажется, звонят? — вдруг встрепенулась Евдокия Семеновна самый разгар охватившей ее дремоты и заморгала испуганными гла-ми на мужа, спешно поправляя на себе все, перед тем как лететь творять.

— Никакого звонка там нет, сиди себе, — останавливал ее муж эзко. — Это тебе так показалось.

А через минуту-другую сам вскакивал и порывался бежать в пе-еднюю.

— Слышишь, звонят! — окликал он жену.

— Ничего подобного, — раскрывала она глаза. — Это тебе поме-щилось. И вообще ты уже совсем спишь.

— А ты? Посмотрела бы на себя!..

Они успокаивались, и проходило еще несколько минут в молчали-ом ожидании.

— Ага, вот это уже звонят по-настоящему, — встал Федор Ивано-ич с кресла.

— Да, да, это уже звонки, — заспешила со своего стула Евдокия еменовна.

Они вышли вдвоем из комнаты, осветили полным светом переднюю, перли парадную дверь, высунулись наружу, а там — никого! Тогда и вышли за дверь на площадку. На площадке и на всей лестнице, ве-ущей вниз, было пусто и тихо; снизу потягивало камнем, погребом, млей.

— Вот чертовщина какая! — сконфуженно ухмыльнулся Федор ванович, точно над ним, как над мальчишкой, подшутили.

— Неужели это нам опять почудилось? — недоверчивыми, почти суеверными глазами оглядывала Евдокия Семеновна окружающий воздух, словно в нем только что растаяло привидение.

Разочарованные, недоуменные, супруги плелись обратно, выключая по пути электричество: щелк, щелк...

С изнывающим стоном Евдокия Семеновна повалилась на стул:

— Я до того устала, их ожидаючи, что у меня уже не хватит сил их принимать. Точно прошла пешком сто верст!

Федор Иванович сидел в низеньком кресле и с сожалением глядел на свои ноги:

— И у меня тоже ноги — зудят! Ботинки — кажутся тесными! Мозоли — горят!

— Валюсь совсем, — ослабевшим голосом созналась жена и на самом деле повалилась: легла врастяжку на двух стульях, сдвинутых вместе.

— А с каким бы наслаждением я разулся сейчас, да завалился в кровать! — глядя на нее, с тоской вздохнул муж и сам тоже улегся туловищем на кресле, а ногами взгромоздился на подоконник. — Вот куда уходят наши силы, наше здоровье, наша жизнь! — закряхтел он, лежа в неудобной позе, головой вниз. — Вот куда!

Стулья под Евдокией Семеновной заскрипели, она с трудом приподняла голову до уровня стола, поглядела на стенные часы, потом опять скрылась за столом, покрытом белой скатертью:

— Если через полчаса не придут, значит уже совсем не придут.

Муж, лежа в глубине кресла, вывернул из-под туловища затекшую голову и тоже посмотрел на часы:

— Еще полчасика так потерпеть, а тогда сможем считать себя свободными гражданами.

— А если они придут с опозданием? — спросила жена у свисающего на нее края белой скатерти.

— Против этого тоже есть средство, — ухмыльнулся муж в пропыленное сиденье кресла. — Как только истекут эти полчаса, мы вскакиваем и по черной лестнице бежим в ближайшее кино. Пускай тогда приходят.

— Пускай тогда приходят, — повторила за мужем жена и засмеялась.

Они замолчали. Успокоенно задремали.

Через несколько минут к ним осторожно постучали. Они не шевелились, не отзывались. Постучали во второй раз, сильнее; затем в третий, еще сильнее.

Федор Иванович раскрыл глаза, стащил с подоконника ноги.

— Кто там? — громко спросил он не своим голосом.

Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щелочке показались чьи-то взбудораженные губы:

— К вам звонят! Пять звонков! Вы спите?

— Дуничка! — вскричал муж, взмахнул руками, как крыльями, и бросился к жене. — Дуничка! — тормошил он ее на стульях. — Вставай! Гости пришли!

Евдокия Семеновна, сонная, сперва села, как бы приходила в себя, потом встала на ноги, сладко потянулась и заикающимся со сна голосом растерянно спросила:

— Не... не... незаметно, что я сейчас спала?

— Незаметно, незаметно! — в отчаяньи замахал руками муж и, взяв ее сзади за плечи, помогал ей итти к дверям. — Иди скорей, отворяй! Столько времени звонят!

— Разве уже давно звонят? — ужаснулась жена и заспешила в переднюю.

— Конечно, давно! — сделал он вид, что идет вместе с ней встречать, а сам, после двух шагов, отпрянул назад и вернулся в комнату, чтобы успеть придать себе должный вид.

— Аа!.. — сейчас же донеслось до него из прихожей протяжное радостное восклицание жены. — Наконец-то!.. Вот хорошо, что пришли!.. Вот хорошо!.. Муж будет страшно рад вас видеть, страшно рад!..

— И мы страшно рады! — сказала Корешкова.

— Лучше поздно, чем никогда, — сострил Корешков и как-то замычал вместо смеха.

А в следующий момент двое гостей и хозяйка уже появились на пороге комнаты.

Федор Иванович встал и сделал шаг навстречу.

— Милости просим, — произнес он низким голосом, обуреваемый тысячью всевозможных чувств, и сделал тяжелой рукой что-то вроде приглашающего жеста.

Ипполит Петрович и Анна Андреевна Корешковы вошли, поздоровались, остановились посреди комнаты и таким всеобъемлющим взором окинули вокруг, — по стенам, по потолку, по полу, — точно пришли нанимать квартиру. Затем стали искать глазами, куда бы сесть.

— Садитесь, куда хотите, — радушно распростерла перед ними руки хозяйка. — Хотите сюда, в кресла, хотите сюда, на стулья. Я думаю, мы чай потом будем пить? Или сразу, теперь?

— Нам все равно, — ответил Корешков за двоих.

Гости, пока не обвыклись, предпочли сесть подальше от стола, к стеночке. Сели рядком, точно сразу образовав свой фронт. Гостья, ради приличия, сейчас же достала из сумки выглаженный платочек и начала усиленно сморкаться, не имея в том надобности. Гость, в тех же целях, снял с носа и протирал кусочком замши очки.

Хозяева, — ерзая по полу ножками стульев, — долго не могли усесться так, чтобы проявить к гостям максимум внимания.

— Как хорошо, что не обманули, пришли, — повторяла хозяйка, нарядная, лучисто сияющая.

— Раз дали слово, что придем, значит должны притти, — потянулся было гость опять к очкам, потом, вспомнив, что уже протер, несколько изменил маршрут руки и острием ногтя поскоблил кончик носа.

— Что значит «раз дали слово»? — поправила его жена, остроносая, рыжая, завитая, в пудре, в веснушках. — Разве мы только потому пришли, что дали слово? Нам и самим было приятно притти.

— Что «самим было приятно», это само собой разумеется, — пожал плечами в сторону жены гость и прибавил. — Тем более, что столько времени не видались...

— Да! — воскликнула хозяйка со страдальческим придыханием. — Подумать только: столько времени не видаться!

И на некоторое время все замолчали. Осторожными взглядами глубоко поковыривали вокруг, к чему бы прицепиться, что бы такое ухватить в качестве темы для разговора.

— Как на дворе погода, когда вы к нам шли? — спросил Федор Иванович, внешне спокойный, внутренне взбешенный: соберутся идиоты и не знают, о чем говорить, молчат!!!

— Погода? — с непринужденным видом переспросили оба гостя.

— Погода ничего, — сказала гостья.

— Погода так себе, — заметил гость.

— Не плохая и не хорошая, — не спеша продолжала гостья.

— Средняя, — заключил гость.

И все четверо опять замолчали, уставились натужливыми взорами на окно, за которым, предполагалось, находилась сейчас погода, неожиданно возбудившая к себе такое внимание.

— Погода вообще в Москве как будто выровнялась, — через силу вымолвил всем животом хозяин и, незаметно от гостей, подал хозяйке свирепо-нетерпеливый знак.

— Пожалуйте к столу! — засияла и пригласила хозяйка.

Все поднялись, загремели стульями. Каждый старался греметь подольше и посильнее, чтобы мебельным громом восполнить заминку в разговоре.

Трое сидели за столом, а Евдокия Семеновна, возбужденная, румяная, с горящими глазами, летала из комнаты в кухню, из кухни в комнату, не переставая весело щебетать на ходу и наделять гостей любезными улыбками.

— Напрасно вы, Евдокия Семеновна, так хлопочете ради нас, — из деликатности обратился к хозяйке гость, когда она ветром пронеслась мимо.

— Какие это хлопоты? — заскромничала хозяйка. — И разве это только ради вас? Нам и самим с мужем хочется чаю.

Жена то-и-дело уносилась в кухню, а муж сидел и бесился, что она оставляла с гостями его одного.

Раз она так долго не приходила, что он вскочил, извинился перед Корешковыми и разъяренным зверем ворвался в кухню.

— Чего же ты тут прячешься от гостей, а? — с ощеренным ртом прошипел он.

— Кто прячется? — подняла на него глаза жена, склоненная над самоваром, стоявшим на полу. — Разве не видишь, что я самовар раздуваю? Пока мы с тобой спали, у нас самовар заглох!

— Самовар-то раздувать сумею и я, не хуже тебя, а ты изволь-ка, отправляйся занимать своих гостей!

— Эти гости такие же мои, как и твои!

— Врешь, твои, потому что ты их зазвала к нам, — ты, не я!

— Не ври, пожалуйста, твои, потому что Корешков был твоим сослуживцем по «Главкартофелю», — твоим, не моим! Это знакомство у нас твое, служебное, главкартофельное!

Пока хозяева ссорились в кухне, гости рады были возможности побраниться наедине в комнате.

— Чего ты ко мне привязалась? — не знал куда деваться от наскоков жены Ипполит Петрович.

— Как чего привязалась? — злобно, с подергиванием плеч, выговаривала ему Анна Андреевна в самое лицо. — Ну, вот мы явились сюда! Ну, вот сейчас будем пить чай! А дальше что? А в кино «Колос» сегодня идет «Знак Зеро»! Лучше бы в кино «Колос» на «Знак Зеро» пошли!

— Чего же ты не шла на «Знак Зеро», а приволоклась сюда?!

— Ты меня не пустил! Я хотела, да ты не пускал! Ты затащил меня сюда, ты, ты!

— Тише ты! Не скандаль в чужом доме! С ума сошла? Орет, как не знаю кто! Холера!

Анна Андреевна хотела достойно ответить ему, но он сделал молниеносное движение рукой, как бы желая своей ладонью прикрыть ее рот, и прошептал, с выражением ужаса:

— Цыц!!! Идут!!!

В комнату влетел Федор Иванович, в странных вихрах, с разъяренным лицом, как бык.

— Ддаа... — стараясь взять веселый, легкий тон и приглаживая ладонью подозрительные вихры на голове, произнес он голосом, все еще дрожащим после сражения в кухне с женой из-за вопроса, кому из них оставаться раздувать самовар, а кому итти занимать разговором гостей.

Гости, на его дружелюбное мычание, собрались было ответить ему тем же, если судить по улыбкам, появившимся на их натянутых лицах. Но, к их счастью, в этот момент крепкой, устойчивой трусцой вкатилась в комнату Евдокия Семеновна, с кипящим самоваром в руках.

И приветливое лицо хозяйки, и начищенный самовар лучеиспускали во-всю!

Евдокия Семеновна с разбега ткнула ножками самовара в середину подноса, условно дернула Федора Ивановича под столом за полу пиджака и, что-то пробормотав в свое оправдание, выскочила в переднюю.

Федор Иванович, согнувшись с учтивым видом в пояснице, верхней частью своего туловища высунулся за дверь, к жене, а нижней все же оставался в комнате, вместе с гостями.

— Чай свежий будем заваривать? — прошептала ему из потемок жена, прикасаясь кончиком своего носа к кончику его.

— Заваривай свежий! — обдал он ее лицо своим взволнованным дыханием.

И меньше чем через минуту оба они опять сидели за столом и мирно разговаривали с гостями.

— Довольно вам бегать, заботиться, — сказал хозяйке гость.

— Садитесь, наконец, с нами беседовать, — поддержала его слова жена.

— А вот видите уже и села, — расплылось в улыбке лицо хозяйки, четко отметились ямочки на щеках.

Мимо случайно незакрытых дверей, по темной передней, шмыгали взад-вперед, на цыпочках, с поджатыми хвостами, квартиро-соседи: заглядывали в комнату, смотрели «гостей».

III.

В первую минуту гости приглядывались к хозяевам, хозяева к гостям. Долго не видали друг друга. Уделяли большое внимание каждой морщинке на лице, каждому волоску на голове, каждому новому золотому зубу во рту.

Чтобы лучше разглядеть, снимали с лампы цветной абажур, просили повернуться к свету, держаться смирно, не шевелиться.

— Эх, вы, зачем же вы так скоро повернули голову, не дали мне как следует рассмотреть? — с учтивой улыбкой на бритом актерском лице, говорил Ипполит Петрович, освещая лампой, как прожектором, голову Евдокии Семеновны, ее эффектную, взбитую ради гостей, прическу. — А я только было заметил у вас на висках что-то вроде седого волоска.

— У меня? Не может быть! — удивилась Евдокия Семеновна и, спустя минуту, уже проводила рукой по выбритой, твердой, как камень, голове Ипполита Петровича. — А все-таки на самой макушке у вас порядочненькая лысинка: с блюдце!

— У меня?

— Да, у вас. Не для того ли, чтобы скрыть это, вы всегда так нагладко выбриваете голову?

— Кто? Я?

— Да, вы.

— А этот зуб у вас, Анна Андреевна, искусственный или свой? — засматривал Федор Иванович в рот гостьи, как зубной врач.

— Конечно, свой, — зажала губы Анна Андреевна. — А это у вас, Федор Иванович, что? Такое брюшко?

— Где брюшко? Что вы? Это просто такая высокая грудь.

Но чаще, в результате взаимного осмотра, обе стороны, и гости и хозяева, сильно смягчали свои заключения, избегали говорить друг другу в глаза неприятные вещи, держали горькую истину про себя.

— А знаете, Евдокия Семеновна, в общем вы за эти годы нисколько не изменились, ну, ни чуточки! — быстро помешивала гостья ложечкой в чашечке.

— Правда? — ловко наливала хозяйка из самовара в стакан. — Да и вы, Анна Андреевна, тоже ни капельки не постарели, ну, ни капельки!

Гость тоже счел своим долгом сказать хозяйке комплимент.

— Вы не только не постарели, Евдокия Семеновна, но вы даже как-то помолодели вся, посвежели! Не даром я тогда, на улице, возле винно-гастрономического магазина, с таким трудом узнал вас!

— Неужели? А у вас только худоба, Ипполит Петрович. Вам только худоба мешает. А так, во всех других отношениях, вы выглядите хоть куда. Я еще никогда не видела вас таким молодцом. Теперь я понимаю, почему тогда, на улице, при встрече с вами, я действительно чуть было не пробежала мимо.

Говорили о том, кому, где, против прошлых лет, не сходится; кому, где, наоборот, стало слишком свободно и пришлось перешивать пуговицы. Сообщали, кто сколько весил тогда и кто сколько весит теперь, — в пудах, килограммах. Пуды переводили вслух в килограммы; килограммы — в пуды...

Потом, когда окончательно освоились, женщины уселись у одного конца стола; мужчины — у другого.

— Ну, рассказывайте теперь, как вы живете, — притискивалась хозяйка толстым плечом поближе к худому плечу гостьи. — Какие у вас против прежнего перемены?

— Да как мы живем? Да какие у нас могут быть перемены? — сделала удивленное движение гостья и улыбнулась своему мужу, издали слушавшему ее. — Никаких перемен. Все как было. А у вас что новенького?

— У нас тоже ничего нового, — в свою очередь, обменялась Евдокия Семеновна улыбкой со своим мужем, издали наблюдавшим за ней. — Живем по-старому.

— Ну, что ж, — неопределенно заметила гостья, с пытливой настороженностью посматривая на хозяйку. — И то хорошо.

— Пока не жалуемся, — взвешенно ответила та.

Затем заговорили о квартирах, жильцах, болезнях, лекарствах, сколько получают в месяц мужья, сколько кто им должен, сколько кому они должны...

Мужья в это время ощупывали друг друга иными фразами:

— Все служите, Ипполит Петрович?

— Да, все служу. А что же делать! А вы, Федор Иванович?

— Тоже служу.

— Вы, Федор Иванович, все там же, в «Главкапусте»?

— Конечно, там. А куда же денешься? Только не в «Главкапусте», а в «Центрокапусте». Ну, а вы, Ипполит Петрович, все во «Всепатоке»?

— Да, все там. Больше некуда деться. Только не во «Всепатоке», а в «Северопатоке». «Всепатока» — это выше.

И еще несколько подобных фраз. Потом минутная, красноречивая, многоговорящая пауза.

Острая, ехидная, молчаливая улыбка на полном волосатом лице Федора Ивановича. И совсем особенный блеск в веселых, узкосощуренных глазах худого, выбритого Ипполита Петровича.

Они смотрят один другому в глаза и без слов настолько понимают друг друга, что могли бы ничего не говорить, молчать.

— Ну, что, в партию еще не записались, ха-ха-ха? — все же задает тихий-тихий вопрос Федор Иванович.

— Нет еще, ха-ха-ха, — столь же тихо-тихо отвечает Ипполит Петрович. — А вы, ха-ха-ха?

— Я тоже, ха-ха-ха.

Хозяйка, услыхав, что мужья говорят про партию, встала, высунула голову в переднюю, осмотрелась, прислушалась, потом плотно захлопнула дверь.

Евдокия Семеновна окончательно вошла в свою роль, — роль гостеприимной хозяйки, — не щадила сил, не давала себе ни минуты покоя, сидела, как на пружинах, следила, чтобы все непрерывно ели и чтобы у всех в стаканах не переводился чай.

— Ипполит Петрович, позвольте ваш стаканчик, я вам еще налью. Выпил и молчит!

— Нет, благодарю вас, Евдокия Семеновна, куда так много, больше не хочу.

Они со смехом борются, он крепко держит пустой стакан, она отнимает.

— У нас отказываться нельзя! В кои веки пришли, да еще вздумали церемониться? Для кого же я тогда такой большой самовар ставила? Вы знаете, сколько в этом самоваре стаканов? Кроме того, у нас есть еще отлитый кипяток. Эх, вы! Выпили три стакана и уже «довольно»! Какой же вы после этого москвич? Вот, извольте пить еще!

Она наливала, и он пил.

— Анна Андреевна, а вы почему ничего не едите? — принялась она за гостью. — Только эти пироги ели, а тех еще и не пробовали! Разве так можно? Давайте вашу тарелочку, я вам тех положу!

И она клала. И гостья ела.

— Хотела еще нажарить хворосту, мне всегда хворост очень хорошо удается, да не было под рукой яиц.

— Куда там еще хворосту? И так весь стол заставлен.

— Разве это весь? Это еще не весь. Значит, в общем, говорите, моя сдоба понравилась вам?

— О! Еще бы! Замечательная сдоба!

— Вот что значит свое, домашнее, не покупное! — не удержалась хозяйка и принялась расхваливать себя, свое искусство. — Вы думаете, во сколько все это мне обошлось?

Она громко перечисляла в рублях и копейках стоимость каждого отдельного продукта, входящего в тесто. Подытожила все, вывела общую сумму, при чем во время последнего подсчета незаметно уменьшила полученную цифру на одну треть и, очень довольная собой, сказала:

— Вот видите, как дешево: 6 рублей 83 копейки! А еще говорят, что я плохая жена!

— Кто говорит? — засмеялся Ипполит Петрович. — Никто этого не говорит. Наоборот!

— Нет, вы только подумайте! — продолжала хвалить себя, как в горячке, хозяйка. — Вы только подсчитайте: сколько мы с вами съели сдобы сейчас, и сколько мы еще с мужем есть ее будем, и все это за какие-нибудь 6 рублей 83 копейки!

Гости наперебой высказывали свое восхищение. Так вкусно и так дешево. Даже не верится. Вот что значит искусство домашней хозяйки. Никакое общественное питание в будущем коммунистическом строе не даст того, что может дать семье хорошая жена.

— Дуничка! — вдруг прервал бойкую болтовню жены Федор Иванович, тоже растроганный похвалами, расточаемыми гостями по ее адресу. — Дуничка, как же ты считаешь, что сдоба обошлась тебе 6 рублей 83 копейки? А то топленое масло, в той банке, разве оно все в тесто ушло? Я видал, там осталось почти полфунта, значит выйдет не 6 рублей 83 копейки, а меньше!

Жена страшно обрадовалась поправке мужа. Даже вскрикнула.

— Да, да! — засмеялась она. — Я и забыла! Я и забыла, что масло в той банке осталось! Там больше полфунта, но будем считать полфунта, значит 42 копейки! 6 рублей 83 копейки минус 42 составляет 6 рублей 41 копейку... Значит, еще дешевле!!!

Восторгу хозяйки не было границ. Лицо — красное, глаза — блестят, рот — улыбается, пальцы рук — сжимаются, разжимаются, дрожат. Она сидела победительницей, посматривала то на одного, то на другого, готовая вбирать в себя новый поток похвал.

— А дрова? — вдруг спросила ее Анна Андреевна, со странным волнением, мешавшим ей говорить. — А дрова вы считали? Дрова вы ведь жгли? Они денег стоют? Значит, их тоже надо считать!

Произошло общее замешательство. Минуту никто не мог ничего говорить, ни женщины, ни мужчины. Все сидели, молчали и морщились.

— Ах... да... ведь еще... дрова... — раздумчиво произнесла хозяйка, после тяжелой паузы, и закусила губы.

— Дрова какие были: березовые, еловые? — продолжала спрашивать гостья как-будто спокойно. — Березовые? А вы знаете почем теперь в «Москвотопе» березовые дрова? Вы когда их брали? По теперешним

ценам будем считать или по старым, по которым вы их тогда закупали? Я цены на дрова хорошо знаю и теперешние, и прежние!

И, чтобы замять чувство неловкости, все собрание с подчеркнутым оживлением принялось высчитывать заново. Вчетвером делали вслух сложение, вычитание, умножение, деление. Посаженную цену на дрова переводили в попудную, попудную в поленную...

Уши Евдокии Семеновны горели. Глаза помутнели. Рот сам собой виновато улыбался, как она его ни удерживала.

— Зачем же вы начали все с начала? — удивилась она. — Там же было верно сосчитано! Надо только прибавить стоимость 12 полен москво-топовских березовых дров прошлогодней июльской закупки!

Результат нового, коллективного подсчета получился совсем неожиданный. Вместо прежних 6 рублей 41 копейки, была оглашена новая цифра: 9 рублей 87 копеек.

— Но это не так... не важно... — с больной улыбкой проговорила хозяйка по оглашении новой суммы.

Остальные скорбно молчали, как-будто в доме был покойник...

Затем, под влиянием усилий и гостей и хозяев, жизнь за чайным столом мало-по-малу вошла в прежнюю норму. И возобновившаяся общая беседа, спустя некоторое время, опять раскололась на два русла: женщины говорили о своем, мужчины о своем.

— ...Служить при советской власти было бы хорошо, если бы больше платили! — гудел как бы всегда недовольный бас Федора Ивановича у одного конца стола, в мужском отделении.

— Да! — горячо подхватывал его слова Ипполит Петрович своим тенорком, и подвижное актерское лицо его покрывалось множеством мелких морщинок. — Платят нам мало, Федор Иванович, вот беда!

Потом отрывок из женского разговора.

— ...Выходила замуж за агронома, думала стану поближе к красотам природы, а оказалось никаких «красот природы» нет, одна капуста..

— ...Я тоже, еще хуже вашего, увязла в мужниной патоке. Патока да крахмал, крахмал да патока, вот и все, что приходится от него слышать. А это, согласитесь сами, как бы безумно мужчину ни любить, в конце концов может наскучить...

— ... Мало платят! — бухал мрачный бас Федора Ивановича между одним глотком чая и другим.

— ... Мало платят! — подпевал за ним меланхолический тенорок Ипполита Петровича.

Вздыхающий голос хозяйки:

— ... Возьмем теперь какао. Вот его опять нет в продаже...

Застрявший смешок во рту гостьи:

— Предлагают, вместо него, какой-то «народный шоколад в порошке», из жженого жита.

Пренебрежительное движение губ хозяйки:

— Пускай сами его едят.

— ... И это бы, Федор Иванович, еще ничего, если бы только мало платили. А то — сокращают!

— Да, Ипполит Петрович, сокращают!

Несмелый полушопот хозяйки у другого конца стола:

— Анна Андреевна... Вы не знаете, почему это... в Москве... утопленников стало больше?..

Трепет в голосе гостьи:

— А разве больше?

— Конечно, больше... Такая масса людей стала тонуть в Москва-реке!.. Дня не проходит без утопленников... Что ни день, то обязательно семь-восемь утопленников достают из Москва-реки... А скольких — не достают!.. И все больше тонут молоденькие, да здоровенькие, которым только бы жить, да жить... Раньше этого не было.

— ... Живешь, Ипполит Петрович, и каждую минуту дрожишь от страха быть сокращенным!

— Вот именно, Федор Иванович: живешь и дрожишь, живешь и дрожишь!

— Анна Андреевна... Скажите... а вы не замечаете... что луна... сделалась меньше?..

— Ев... Ев... Евдокия Семеновна... как луна меньше?

— А так, Анна Андреевна, меньше... В объеме меньше... В окружности меньше... Раньше разве такая была луна?.. Раньше на луну было приятно смотреть... А теперь что от нее осталось?..

— Евдокия Семеновна, дорогая... Да неужели же все это правда?..

— Ага! Значит, вы тоже об этом слыхали?

— Ну, конечно же, слыхала!.. Об этом сейчас вся Москва говорит... Только я все как-то не верила...

— Не верили?.. Хе-хе...

— Нет... Теперь-то... я верю...

— Вы, Анна Андреевна, лучше всего, сами к луне приглядитесь, когда от нас пойдете. Только не забудьте.

— Посмотрю, обязательно посмотрю.

Потом гостья, беззвучным голосом:

— Евдокия Семеновна...

— Ну?

— А как это... А как это... страшно!!!

Хозяйка, вся вздрагивая и пожимаясь:

— Как же не страшно?.. Сейчас, Анна Андреевна, все страшно...

IV.

В течение слишком затянувшегося вечера хозяева несколько раз оставляли в комнате гостей одних, а сами выбегали в прихожую и становились там друг против друга в угрожающие позы.

— Чего же они не уходят? — в отчаяньи шипел на жену в темноте Федор Иванович и потрясал руками. — Так долго сидят и не уходят!

— А я знаю, отчего? — стояла Евдокия Семеновна и чувствовала, как от усталости подкашиваются у нее ноги. — Об этом ты у них спроси.

— Почему же ты не принимаешь против этого никаких мер?

— А ты?

— Ты хозяйка, а не я!

— Что же я могу с ними поделать?

— Как что? Каким-нибудь намеком должна дать им понять, что, мол, посидели и довольно. Иначе я за себя не ручаюсь! Ты знаешь мой характер, я не люблю полумер: я или молчу, или чорт знает чего могу наделать! Я могу сейчас ворваться к ним и закричать: что же вы, сволочи, до таких пор сидите и не уходите, тут вам не «Новая Бавария», тут частное жилище! И еще я могу их матерными словами...

— Федя, что с тобой, ты с ума сошел?

— Да, сошел! Конечно, сошел! Давно сошел! С ними сойдешь!

— Откуда у тебя такая грубость? Раньше у тебя ее не было! Я тебя не узнаю!

— Я сам себя не узнаю!!! Ррр...

— Ну, тише ты, успокойся, идем скорее к ним, а то они могут что-нибудь подумать...

У брошенных в комнате гостей происходил в это время такой разговор.

Жена:

— Ну, что же? Отсидели свое? Будем собираться домой?

Муж:

— Зачем? Раз пришли, погубили вечер, давай еще посидим. Все равно отдуваться. По крайней мере, потом подольше можно будет не ходить.

В двенадцать часов ночи Ипполит Петрович поглядел на часы и вскочил.

— Аничка, ты знаешь уже который час? Двенадцать! Идем. Нам пора, да и хозяевам надо дать отдохнуть.

Анна Андреевна встала.

Евдокия Семеновна, видя, что они уходят, завертелась, засуетилась вокруг них.

— Что вы, что вы! Это в такую-то рань? Неужели вы с этих пор ложитесь?

Федор Иванович, еще не уверенный, уходят они или только так говорят, пробормотал вяло, как-будто даже не им:

— А об нас не беспокойтесь... Мы с женой, бывает, сидим до часу ночи, бывает, до двух...

— Посидели бы еще хоть полчасика! — упрашивала хозяйка, когда гости уже взяли в руки шляпы. — Только разговорились, а вы уходите...

Федор Иванович, чтобы куда-нибудь спрятать мрачные глаза, устремил их на стенные часы.

— Еще совсем детское время... — вырвалась у него, против его воли, трафаретная фраза.

Гость, почти одетый, вдруг, с решительным видом, спросил:

— Евдокия Семеновна, за вами последнее слово, — скажите, оставаться или уходить?

Евдокия Семеновна, с изменившимся лицом, нетвердо:

— Ну, конечно, оставайтесь... Муж просит, я прошу...

— Уговорили! — весело вскричал гость, зашвырнул шляпу и упал в кресло. — Уговорили! Посидим, Аничка, еще немного, раз люди так просят!

И все четверо заняли прежние места.

Для хозяев такой оборот дела был настоящим ударом.

Они долгое время не могли ни смотреть в глаза гостям, ни сидеть на месте. Придумывали всевозможные поводы для беготни с места на место. Носились, — и вместе, и порознь, — из комнаты в кухню, из кухни в комнату, заскакивали с жалобами к соседям, прятались в уборной...

Федор Иванович во время этой гонки окончательно осатанел, дважды пытался схватить Евдокию Семеновну в темной передней, но она оба раза удачно увертывалась от него.

— Ты, наверное, хочешь, чтобы я гостям все рассказала, всю правду?

— Уу, д-дура!!!

В половине первого Корешковы опять встали, благодарили за хорошее угощение, за радушный прием, «за все, за все», прощались.

Тут уже не могло быть никакого сомнения в том, что они на самом деле уходят. И Евдокия Семеновна, с повеселевшим лицом, энергично помогая гостье одеваться, говорила тоном недоумения:

— Хоть убейте меня, не понимаю, почему вы так рано уходите...

Федору Ивановичу тоже сразу сделалось на душе легче.

— Остались бы еще немного... — скупо ронял он слова и щедро зажигал в передней для уходящих гостей полный электрический свет, широко раскрывал перед ними двери, стоял, не садился, как бы выпирал их собой. — Завтра воскресение, и Ипполиту Петровичу в «Центрокапусту» все равно не надо итти...

— Ваше соображение, конечно, правильно, Федор Иванович, и мы вам очень благодарны за все, — одевался Ипполит Петрович и одевал жену. — Но нам надо успеть на последний трамвай. Аничка, как ты думаешь, успеем?

— Если поспешим, то успеем.

— А зачем вам непременно на трамвай? — поправляла хозяйка платье на гостье последнюю складочку и, разглаживая сзади ей спину, незаметными, бесконечно малыми толчечками поворачивала ее лицом к дверям.

— В такую лунную ночь и на трамвай? — улыбнулся Федор Иванович, насильно всовывая гостье в руку ее сумочку, чтобы скорей уходила.

— Аничка! — вскричал Ипполит Петрович, умиленно глянув за окно. — А ведь правда! Посмотри, какая ночь! Ночь-то какая, посмотри! Пойдем домой пешечком! И приятнее будет, и здоровее! По крайней мере, спать крепче будем! Посидим минуту еще! Так давно не были! И я все забываю, что ведь завтра воскресение, и мы с тобой сможем валяться хоть целый день...

— Как ты, Ипполитик, хочешь. Смотри сам. А у меня все равно уже сон прошел. И я сейчас могу сидеть хоть до утра.

— Остаемся, остаемся. Я уже решил.

Они быстро разделись, побросали пальто, шляпы и сели.

— Только не надолго, — извинялся Ипполит Петрович. — Но вы на нас не сердитесь за это, дорогие хозяева. Мы лучше в следующую субботу придем пораньше и посидим подольше, поосновательнее.

А хозяева, с почерневшими лицами, летали по всем закоулкам квартиры, метались взад-вперед, как две крысы внутри горящего здания: куда ни кинутся, везде жжет, приходится бежать обратно. Они хватали первые попавшиеся под руку вещи, таскали их из угла в угол; якобы для соседей, нацеживали из самовара в чайник кипятку, переливали этот кипяток в кухне в кастрюлю, потом в комнате из кастрюли лили обратно в самовар... Федор Иванович, в горячке, схватил в охапку и куда-то понес платье гостей, Евдокия Семеновна погналась за ним, он внезапно обернулся в дверях кухни и показал ей из-под чужого платья кулак.

— Только попробуй! — остановилась она и помчалась обратно с пустой полоскательницей в руках.

— Уу, фе-фе-ла!!! — проскрежетал он ей вслед искривленным ртом.

На часах пробило раз, когда гость опять встал.

— Ну, теперь мы уже окончательно пойдем. Вставай, Аничка. Прощайте, хозяева. Только, ради бога, не обижайтесь на нас, что в этот раз мы так мало сидели, зато в другой раз...

— Извиняемся... — повторяла за мужем одеревенелая жена. — Не обижайтесь... Ноги себе отсидела... И руки...

Муж, смеясь, нежно расшевеливал ее, расталкивал, растирал, переставлял с места на место, как деревянный манекен:

— Ну, проснись же, проснись. Ха-ха...

— Я не сплю... Я только так... Теперь уже ничего... Прошло...

Одевшись, гости шли через переднюю к выходным дверям. Хозяева по пути их следования зажигали свет: щелк, щелк...

— Все-таки значит решили уходить? Жаль, жаль...

Федор Иванович незаметно ткнул жену рукой в бок, и она на полуслове замолчала, как поперхнулась.

В раскрытых парадных дверях все четверо остановились, неудобно сгрудились, — кто перед порогом, кто за, — и еще раз прощались за руки. Снизу, с пятиэтажной лестницы, дуло и свистало, как в трубу.

— Ну-с, так смотрите же, не забудьте, что теперь ваша очередь к нам, — напомнила хозяевам гостья.

— О, конечно, конечно! — проговорили хозяева в два голоса, поеживаясь на режущем сквозняке.

— Значит, вас ждать, как сговорились, в ближайшую пятницу? — спросил гость.

— Да, да, в пятницу, — стояли на сквозняке хозяева и прижимали к ребрам ладони, чтобы не схватить воспаление легких.

Гости стали спускаться по лестнице вниз. Хозяева стояли на площадке и провожали их кивками головы.

— И вообще теперь заходите к нам, не считаясь визитами, — подняла голову вверх гостья, держа мужа под руку и медленно ступая в ногу с ним со ступеньки на ступеньку.

— Теперь-то будем заходить! — глядела хозяйка сверху вниз на две удаляющиеся макушки, делающие по пролетам лестницы зигзаги.

— Главное, почаще! — прокричал Корешков уже с третьей площадки.

— И вы к нам, смотрите, почаще! — перегнулась через перила вниз Кузина.

— Если обманете, не придете в пятницу, будем обижены! — глухо, неразборчиво прошумело в преисподней.

— Придем! — взялась Кузина руками за барьер и с силой швырнула слово вниз.

И из пустого каменного мешка ей ответило только эхо: — «о-ом»!

V.

— А п-посуды! А п-посуды напачкали сколько! — обомлела Евдокия Семеновна и с простертыми руками остановилась перед хаотически загроможденным столом. — А к-крошек! А к-крошек на полу! — приподняла она край скатерти и заглянула под стол. — А окурков везде! — бросилась она отовсюду выдергивать корешковские окурки, угрожающе глядевшие из всех щелей, как жерла крепостных орудий. — А мусору!

— Погляди!!! — проклинающим плачем вопил в то же время Федор Иванович и ходил следом за бегающей женой, тщетно ища в ней сочувствия и тыча ей в нос каким-то маленьким поблескивающим металлическим предметом. — Полюбуйся!!! Едва Корешков вошел в нашу комнату и сел на стул, как сейчас же облюбовал на письменном столе мой перочинный ножичек, которым я каждый день разрезываю на службе завтрак, и весь вечер чистил им ногти!!!

Проговорив эти слова, Федор Иванович, с видом непоправимого горя, обнял руками голову, застонал и грохнулся ничком на постель.

— Чего же ты молчал? — взяла жена брошенный им ножичек, повертела его в руках и потом тоже бросила на стол

— Кто молчал! — отделил от подушки несчастное помятое лицо Федор Иванович. — А отчего же я весь вечер сходил с ума! Разве ты не видела, как я не находил себе места, когда он восседал, развалясь на стуле, и с эдаким противным сладострастием вычищал грязь из-под своих ногтей моим ножичком! Неужели ты не замечала, как при созерцании этого зрелища я вдруг выходил из себя, срывался с места и хищным волком кружил вокруг него, готовый его растерзать! А он?.. А он!.. А он до тех пор не оставил моего ножичка, пока не перечистил все свои ногти, все до последнего ноготка! Скажи, — ну, разве же это человек? Разве его можно назвать человеком? Свинья свиньей! Теперь, надеюсь, ты понимаешь, зачем эти люди ходят в гости? А ты еще сравнивала Корешковых с Зубковыми! Зубковы святые люди, по сравнению с Корешковыми! Зубковы, те хотя и ходят по гостям всегда в числе не меньшем шести, но зато они...

— Ну, довольно причитать, — пошевелила его за плечо Евдокия Семеновна. — Слезай с кровати, буду постель стелить. Надо скорее ложиться спать, завтра наговориться успеем.

Муж слез с кровати, как паралитик, повалился на ближайший стул; жена, со смыкающимися глазами, пошатываясь от желанья спать, машинально готовила постели, даже не глядя, что хватает в руку, одеяло ли, подушку ли.

— Вот чувствую, что всю ночь не засну, — хныкнул муж и, скрючившись на стуле, с горьким выражением лица, стаскивал с себя сапоги.

— Это из-за перочинного-то ножичка не заснешь? — сонными дергающимися руками заправляла жена одеяло. — Из-за такого пустяка?

— Это, милая, не пустяк! — стащил он с себя брюки, зачем-то скомкал их и бросил на соседний стул. — А раз не буду спать ночь, значит завтра весь день буду злой, как чорт! Так что ты, Дуня, пожалуйста, старайся завтра не раздражать меня...

— Прими на ночь успокоительного, и все пройдет, — энергично взбивала жена подушки и при этом глядела на них такими глазами, точно ожидала, что они полетят.

— Принимай сама успокоительное! — в одном белье, босой, бродил по комнате муж, с парой отсыревших носков в руках, ища где бы их лучше развесить. — Все мои веревочки пообрывала! И все ради гостей! Как же: «некрасиво»! Любители «красоты»... Хе-хе...

— Ну, будет ворчать, ворчун, постели готовы, ложись!

И она сама начала раздеваться.

— Я мог его убить тоже... — Грузно залезал под одеяло Федор Иванович. — Ты ведь знаешь, что я не люблю полумер: я или молчу, или... сразу убиваю.

— Знаю, знаю, — в одной нижней сорочке, с отвисающим животом, босая, стояла перед своей постелью Евдокия Семеновна. — Ты всех убиваешь. Говори: гасить свет?

— Посмотри сперва, который час. Тогда гаси.

— Половина второго.

Выключатель щелкнул, свет погас.

Супруги, охая, ворочались в темноте. Пружинные матрацы под ними противно скрипели. Особенно долго не удавалось улечься как следует Федору Ивановичу: все время что-то мешало.

— Ни с того, ни с сего сидеть в гостях до половины второго!!! — после долгой паузы, вдруг высказал он вслух душившее его возмущение.

— Скажи спасибо, что не остались ночевать, — раздался в темноте голос Евдокии Семеновны. — А то в Москве это принято: нарочно пропустят последний трамвай, а потом стелятся ночевать. Что им нравится в этом, — спать на столах, на стульях, — не знаю.

— А ты уговаривала их еще оставаться!

— А ты? А ты не уговаривал?

— Я только говорил для вида, просто как хозяин, слегка-слегка. А ты — просила! Ты — уговаривала! Ты — умоляла!

— Неправда.

— Как неправда? А кто за рукава стаскивал с них пальто? Кто шляпы у них из рук вырывал?

— Мне, как хозяйке, было бы неудобно не просить, раз люди стоят и смотрят прямо в глаза.

Супруги замолчали. Вот один с громким завыванием зевнул в темноте на своей постели; потом, заразившись от него, взвыл другой на своей.

— И не боятся, черти, по ночам шляться! — фыркнул насмешливо в подушку Федор Иванович, с закрытыми глазами. — Раздели бы их догола бандиты в нашем переулке, тогда бы они знали, как от восьми вечера до двух часов ночи людей морить!

— Будь доволен, Федя, что у нас сегодня все так гладко, так хорошо обошлось. Чайку попили, побеседовали и разошлись. А у Красильниковых в прошлое воскресение хозяева вздумали угостить гостей вином, гости перепились и начали бить хозяев за их же добро. А у нас тихо, смирно, прилично, ни одного оскорбительного слова друг другу.

— А на кой бес ты обещала им, что мы придем к ним в эту пятницу? Кто тебя тянул за язык?

— Они тянули. Разве ты не видел, что мне никак нельзя было отказаться? Они могли подумать, что мы с тобой гордимся или за что-нибудь сердимся на них. Раз они у нас были, то и мы должны у них побывать. Разочек сходим, бог с ними, — они люди не плохие...

— К-комедия!.. — вздохнул с горькой усмешкой в голосе Федор Иванович, повозился на скрипучей постели, хорошенько умостился и, судя по ровному дыханию, начал засыпать.

А через час он, уже спящий, простонал во сне тоненьким, детским, беззащитным плачем:

— Так!!! испоганить!!! мой ножичек!!!

* * *

— Ффу... — точно, наконец, вынырнув из глубины моря на поверхность, громко отдыхивался Ипполит Петрович, выбравшись из квартиры Кузиных на улицу. — Ффу...

— Уухх... — никак не могла надышаться удивительным ночным воздухом Анна Андреевна. — Уухх...

Они даже остановились на улице от охватившей их неожиданной легкости, словно не знали, в какую сторону итти, — в ту ли, в другую ли. Везде было одинаково хорошо, везде было по-ночному прекрасно, тихо, свежо, упоительно, в какую бы сторону ни итти.

— Какая прелесть! — воскликнул Ипполит Петрович, вытянувшись во весь свой громадный рост и жадно обратив трепетное лицо прямо к прохладному московскому ночному небу, северному, иззелено-черному, с далекими мелкими, серебряными звездочками, мигающими своими лучами, как хорошенькие котята усиками. — Кажется, нет ничего особенного, только ночь и только лето, а между тем какое глубокое испытываешь наслаждение! Так и пронизывает всего! Брр... Хо-ро-шо!..

— Ну, довольно ораторствовать, идем уже, — нетерпеливо взяла его под руку Анна Андреевна и, зачарованного красотой летней ночи, повела по тротуару.

— Шагать бы сейчас и шагать без конца! — притаптывал он по тротуару так, точно возвращался с победного боя. — Ас-два... Ас-два... Шагай, Аничка, в ногу со мной... — маршировал он, выкидывая коленки чуть не до подбородка. — Ас-два... Ас-два...

— А хотел еще оставаться у Кузиных, — напомнила ему жена. — Сто раз прощался и сто раз оставался еще сидеть.

— Почему же ты не тащила меня домой, а давала оставаться еще и еще? Ты женщина, слабый пол, к тебе они так не придрались бы, как ко мне.

— Наоборот, мужчине, «сильному полу», легче настоять на своем.

— Нет, женщине легче.

— Нет, мужчине.

— Ну, чего мы, Аничка, будем пререкаться об этом! Не надо. Прошлого все равно не вернешь. Отдежурили у них вечер и — баста. Но вот: зачем ты зазвала их в пятницу в нам? На кой чорт? Вот вопрос.

— А как же иначе? И разве я одна звала? Ты тоже звал. Еще как кричал с лестницы и потом с самого низа, когда они давно заперли за собой дверь.

— Я только так, для формы, отделывался общими «деликатными» фразами, и они должны это учесть. А ты — старалась! А ты — разливалась соловьем!

— Как ты не понимаешь этого, Ипполит, что раз мы у них были, то должны и их у себя принять. Разик примем. По крайней мере, потом на долго будем обеспечены.

— Если бы только разик! А то: то они к нам «разик», то мы к ним «разик», потом опять они, и так всю жизнь, до самой смерти.

Некоторое время они шли молча.

— Жаль луны уже нет, — тревожно проговорила Анна Андреевна.— Такая непроглядная темень, такая темень! Я не понимаю, Ипполит, куда мы зашли. Тут какие-то сплошные кирпичные здания без окон. Склады, что ли? Потом эти пустыри, ямы... Где мы?

— Куда ты меня завела? — остановился Ипполит Петрович, посмотрел в одну сторону, в другую, но местности не узнавал. — Вот навождение!.. Заблудиться по пути от Кузиных к себе домой!..

Они стояли, озирались, старались понять, куда попали.

Подул легкий ночной ветерок и принес с собой освежающий запах близкой воды.

Ипполит Петрович повернулся в ту сторону и повернул жену.

— Вон, видишь, черную темень, там река Яуза... А то, светящееся на другом берегу многоэтажное здание, это фабрика... Теперь я начинаю понимать, где мы... Эх, ты! Разве нам в эту сторону надо было итти? Нам прежде всего надо выбраться на Покровку, а разве Покровка в этой стороне?

Они повернули. Теперь уже вел Ипполит Петрович.

— Чтобы сократить путь, пойдем вот так наискосок.

Они перешли через дорогу, вошли в глубокий малосвещенный окраинный переулок, с темными силуэтами спящих домов по бокам. Прошли переулок до конца и не встретили ни одного человека. Опять перешли через дорогу и погрузились в другой такой же переулок. Редко где стояли маленькие, низенькие, погнувшиеся провинциальные фонарики, светившие мелко и тускло.

Сонливость у супругов быстро прошла. В теле появилась небывалая легкость, в ногах крепость, шаги ускорялись сами собой. Гнал глупый, слепой, нарастающий страх. Страх перед темью, страх перед тишиной, страх перед безлюдьем. Не хотелось ни думать, ни разговаривать,— только бежать!

Вскоре стали попадаться пешеходы, — чаще одинокие, реже парные, — черные спешащие силуэты. И всякий раз так отрадно было различать среди них женщин: женщины не нападают, женщины не раздевают, женщины не убивают. И во всех встречных человеческих силуэтах, маячивших еще издали, глаза Корешковых, прежде всего, искали очертания юбок. И в приближавшемся говоре слух жадно выделял голоса женщин.

— Чем сокращать путь такой глушью, лучше было бы сделать крюк, да пойти хорошей дорогой, — проговорила Анна Андреевна, которую от страха уже пробирала дрожь.

— Ерунда. Сейчас выйдем, — подбадривал ее Ипполит Петрович.

А сам шел и, затаив дыхание, перебрасывал испуганные глаза то на тот тротуар, то на этот. Всматривался в заборы, в калитки, в ворота, в подозрительные черные тени, похожие на притаившиеся человеческие фигуры. У конца каждого квартала с замиранием сердца ожидал, что вот-вот выйдет сейчас из-за угла бандит с дубинкой.

— Тут страшно ходить, — крепко жалась к нему жена, своим плечом врастала в его плечо.

— Ничего страшного нет, — проговорил Ипполит Петрович деланным басом, мужественным, развязным, не успевая перебегать глазами с тротуара на тротуар.

— Что с твоим голосом, Ипполит? — поразилась жена. — Почему ты так басишь? Ты охрип?

— Нет, так. Ничего, — пробасил муж еще ниже, еще суровее в тишине ночи. — Горячий чай, прохладный вечер.

— Ипполит, прибавим шагу, видишь на той стороне улицы, у забора, две подозрительные тени чернеют!

— Ничего подозрительного не вижу. Кха-кха... — грозно прокашлялся в ту сторону Ипполит Петрович. — Просто любовная парочка.

— Хорошая любовная парочка, когда оба в штанах!

Ипполит Петрович, вместо ответа, могуче крякнул в жуткую темноту.

— Ипполит, они шевелятся! Бежим!

— Пускай шевелятся, — неустрашимо бухал в тишину ночи отчаянный, чудовищный бас. — И куда ты тут побежишь? Пока ты со мной, можешь ничего не бояться.

— Ипполит, они на нас смотрят!

— Ну, и пусть себе смотрят. Они на нас смотрят, а мы на них будем смотреть. Кхе-кхе... — пустил он в их сторону еще одну мрачную дерущую ноту.

Даже Анна Андреевна вздрогнула:

— Только, пожалуйста, не хрипи так громко, а то они могут подумать, что ты их задираешь, и разозлятся!

— Пускай злятся. И я разозлюсь. Видали мы.

И без того великан, Ипполит Петрович, едва поравнялся с двумя подозрительными фигурами, как еще более вырос, раздулся, распустил полы пальто, сделался огромен, размашист, страшен, как человек, который во всякую минуту может дать хороший отпор.

— Ипполит, они сговариваются!

— З-замолчи ты!.. Не даешь!.. по-человечески!.. пройти!..

— Ипполит, выйдем на ту освещенную улицу, — там, кажется, уже Покровка!

— Ну, хорошо, идем туда, раз ты так боишься.

Они выбрались на широкую, хорошо освещенную улицу. Вдали, на взгорье, медленно, вперевалку, пересек дорогу одинокий, ярко освещенный, запоздавший трамвай.

— А вот и Маросейка! — спустя несколько минут, вскричала Анна Андреевна, встретив знакомые места.

И она засмеялась от радости.

Ипполит Петрович застегнул пальто, заговорил своим обычным тенором.

С Маросейки прошли на Лубянскую площадь оттуда стали спускаться на Театральную.

На Театральной было особенно хорошо: светло, как днем; широко, — целое поле; людно и порой даже весело. Тут уже совсем хотелось целовать мостовую и кричать, как когда-то Колумб: «Земля, земля!». На душе — безопасность полнейшая!

Множество одиночек, парочек, групп выходили из прилегающих улиц и переулков, пересекали Театральную площадь и тонули в других улицах и переулках. Слышался говор, звенел смех, затягивалась и тотчас же обрывалась нескладная пьяненькая песня. Пролетали бесшумно автомобили, тряслись ползком извозчики, стояли у ночных ресторанов лотошники — папиросники в бутафорских фуражках... Все было свое, родное, московское.

Так же весело шлось и Большой Дмитровкой, и Камергерским переулком, и Никитской...

У парадных подъездов многих домов толпились кучки людей. Одни из них уходили; другие, стоявшие на крылечках, их провожали. Уходящие оборачивали лица назад и кричали оставшимся в дверях:

— Мы у вас были! Теперь ваша очередь к нам! Смотрите же, заходите! Чайку попьем, побеседуем!

Стоявшие в дверях кричали вслед уходящим:

— Не забывайте нас! Надолго не пропадайте! Приходите скорее!

Подобные сцены стали встречаться Корешковым часто-часто, на каждом шагу. Можно было подумать, что в этот ночной час вся Москва возвращается из гостей.

На повороте одной улицы, уже вблизи своего дома, они натолкнулись на компанию трех подпивших мужчин.

Двое, бывшие лишь навеселе, тащили третьего, плохо соображавшего. Они крепко держали его за подмышки и вели, как санитары водят больного. А он всей своей тяжестью нависал на их руки, волочил по земле ноги, болтал влево и вправо упавшей на грудь головой и, перефразируя известную походную комсомольскую песню «По морям, по морям», непослушным своим голосом, срывающимся в пьяненький очарованный визг, на всю улицу весело голосил:

По гостям, по гостям,
Нынче здесь, завтра там...
По-о гостям!.. гостям, гостям, гостям...
Иэх!.. нынче здесь, а завтра там...

Потомок рыбака.

(Из повести).

Андрей Платонов.

I.

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Наблюдая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кишащей мелкими людьми — его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш — сын утонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

— Ну, что ж: чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша!

Сирота поел хлеба с молоком, потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

— Новое сокрушение господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч; только хлеб будет есть напрасно...

Но мальчик не умирал два года, и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой:

— Ешь, ешь, родимый, — говорила она, — у нас не возьмешь — у других не схватишь...

Прохор Абрамович давно оробел от нужды и детей и ни на что не обращал глубокого внимания — болеют ли дети, или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый, — поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни — они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил и трудился, как сонный, не имея избыточной энергии для внутреннего счастья и ничего не зная вполне определенно. Богу Прохор Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не чувствовал; страсти молодости, вроде любви к женщинам, желания хорошей пищи и прочие — в нем не продолжались, потому что

жена была некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если бы все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел босым неизвестно куда — туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, также грустно, но хоть ногам отрадно.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное — не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это приметила вся деревня и, если тетка Марья ходила порожняя, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит — летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

— Парӯешь, Марь Матвевна? — с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

— А то что же! — говорила Марья и с непривычки стыдилась своего положения.

— Ну, ничего, — успокаивали ее. — Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

— А чего же зря-то жить! — смелела Марья. — Лишь бы хлеб был...

— Это-то хоть верно, — соглашались мужики. — Бабе родить не трудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то — ведьма: ты свою пору знаешь...

Прохор Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

— И-их, Проша, — ответила Марфа Фетисовна, — я рожу, я и с сумой для них пойду — не ты ведь!

Прохор Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было — озимые вымерзали. Мавра Фетисовна родила двоешек.

— Снеслась, — сказал у ее кровати Прохор Абрамович. — Ну, и слава богу: что ж теперь делать-то! Должно, эти будут живучие — морщинки на лбу и ручки кулаками...

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное с искаженным постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Так же ему было одиноко, скучно и страшно, когда он увидел склещенных собак — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда. У кровати роженицы пахло говядиной и сырым молочным телкóм, а сама Мавра Фетисовна ничего не чуяла от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она

обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с напором и с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела.

— Что, Сашь, загляделся? — спросил Прохор Абрамович у ослабевшего приемыша. — Два братца тебе родилось, отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать — нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые жидкие глаза и позвала мужа:

— Проша! С сиротой — десять у нас, а ты двенадцатый...

Прохор Абрамович и сам знал счет:

— Пускай живут — на лишний рот лишний хлеб растет.

— Люди говорят, голод будет — не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

— Не будет голода, — для спокойствия решил Прохор Абрамович.— Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и вправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели, подарив по десяти пудов с десятины. Старшему сыну Прохора Абрамовича было лет одиннадцать и почти столько же приемышу: кто-то один должен итти побираться, чтобы носить семье помощь хлебными сухарями. Прохор Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту — стыдно.

— Что ж ты молчишь-то сидишь? — озлобилась Мавра Фетисовна.— Агапка семилетнего отправила, Мишка Дувакин девчонку снарядил, а ты все сидишь, идол беззаботный! Пшена-то до Рождества не хватит, а хлеба со Спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уемистый мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

— Ничего? Тут не тянет?

— Ничего, — отвечал Саша.

Семилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

— Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? — спросил Прошка.

— Чего ты болтаешь сидишь? — сердился отец. — Вот ты подрастешь, сам попобираешься.

— Я не пойду, — отказался Прошка, — я воровать буду. Помнишь, ты говорил кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гришка мерина опять купил. А я вырасту, украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей — дала ему отдельно, после всех, каши с маслом и молока, сколько

попьет. Прохор Абрамович принес из риги жердь и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгает палку хлебным ножем. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

— Ты, Сашь, не спишь? — спросил Прохор Абрамович, — спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались только по второму разу и чесали пролежни. Ни один запор еще не скрипел на деревне, и ничто не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович вывел приемыша за околицу. Мальчик шел сонный, доверчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохла́дно; сторож в церкви звонил часы и от грустного гула колокола мальчик заволновался. Прохор Абрамовича наклонился к сироте:

— Саша, ты погляди туда. Вон видишь дорога из деревни на гору пошла — ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре, — ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе повстречается город, а там много хлеба на ссыпках. Как наберешь полную сумку — приходи домой отдыхать... Ну, прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудость полевой осени.

— Там дожди были? — спросил Саша о далеком городе.

— Сильные! — подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один — с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одинокие воробьи спозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты, — думал про них Прохор Абрамович, — кто им кинет чего!»

Саша вошел на кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я, — а всюду было чужое и непохожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом, — его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водою сознания, сжалась полная давящая обида, — он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами; у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саши почти растоптался—

через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе — тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро притти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша перешел через протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

— Куда ж у него палка делась? — гадал Прохор Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

— Ишь ты, сшил я ее как: не по нищему, а по жадности, — поздно упрекал себя Прохор Абрамович. — С хлебом он и не донесет ее... Да теперь все равно: пускай — как-нибудь...

На высоте перелома дороги на ту, невидимую сторону поля, мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи; высота, даль, мертвая земля были важными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села на кладбище — там отец, там тесно, и все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он поскорее пошел в город за хлебными корками.

Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги: «ослабнет мальчик от ветра, ляжет в межевую яму и скончается — белый свет не семейная изба».

Прохор Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в покое, но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.

— Все мы хамы и негодяи! — правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему полегчало. В хате он молча скучал целые сутки, занявшись ненужным делом — резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельника или несуществующих лесов по дереву — дальше его искусство не развивалось, потому что нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушед-

шем приемыше. У нее умерло восемь человек детей — и по каждому она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это было для нее то же, что резьба по дереву для Прохора Абрамовича. Прохор Абрамович уже вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре Фетисовне плакать, а ему резать неровное дерево: полтора дня.

Прошка глядел-глядел и заревновал родителей:

— Чего плачете? Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал — тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.

— Мои милые! — в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна, — он как большой балакает — сам гнида, а уж отцу попрек нашел!

Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать. К вечеру он лег на печку и не мог согреться — всю его теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытьи он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озере в землянке, где растут и падают кресты.

Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город — стоять на площадях и наниматься на работу.

Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу, и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче — все мужики ею роют.

— Тебя все едино прогонят со двора, — сообщил про будущее Прошка. — Отец с осени ничего не сеял, а мамка летом снесется — теперь кабы троих не родила. Верно тебе говорю!

Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы.

Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:

— Широко не рой — гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорей управляйся, а то мамка родит, а ты лишний рот будешь.

— Я землянку вырою и буду тут жить, — сказал Саша.

— Без наших харчей? — осведомился Прошка.

— Ну да — безо всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.

— Тогда живи, — успокоился Прошка. — А к нам побираться не ходи: нечего подавать.

Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

— Лежень, — сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек. — Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас — корми теперь!

— Вот остаток от чертей-то! — поругался сверху Прохор Абрамович. — Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!

Прошка сидел с большой досужестью на лице, думая, как надо сделаться отцом. Он уже знал, что дети выходят из мамкиного живота — у ней весь живот в рубцах и морщинах, — но тогда откуда сироты? Прошка два раза видел по ночам, когда просыпался, что это сам отец наминает мамке живот, а потом живот пухнет и рожаются дети — нахлебники. Про это он тоже напомнил отцу:

— А ты не ложись на мать — лежи рядом и спи. Вон у бабки у Парашки ни одного малого нету — ей дед Федот не мял живота...

Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего, тогда Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошки. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вниз лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.

— Не больно, не больно, все равно не больно! — говорил Прошка, не показывая лица.

После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:

— Тогда прогони Сашку, чтоб лишнего рта не было.

Прохор Абрамович измучился больше Прошки и понуро сидел у люльки с замолкшими двоешками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фетисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом — ливни, в ветер — песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича — труднее, чем самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот, — от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же свободные люди называли такое самозабвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.

— Прошь, а Прошь! — позвал Прохор Абрамович.

— Чего тебе? — угрюмо сказал Прошка. — Сам бьешь, а потом Прошей зовешь...

— Прошь, сбегай к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух, аль худой. Что-то я давно не встречал ее, либо захворала она?

Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит.

— Мне бы отцом-то быть, а тебе — Прошкой, — оскорбил отца Прошка. — Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял — все одно голода жди.

Одев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать:

— Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожжи были. Вот она и промахнулась — ей бы рожать нахлебника, а она нет.

— Озимя вымерзли, она чуяла, — негромко сказал отец.

— Все детенки матерей сосуть, хлеба ничуть не едят, — возразил Прошка. — А матерь пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье твоей — будет у ней пузо, ты тогда с печки не слезешь: скажешь — будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота: нарожал нас с мамкой!..

Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, похожий против Прошки на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает — не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя, и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.

II.

Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек — Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице — стало быть, перемены погоды не предвиделось.

В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы во время заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села, где жила его душевная забота — полудевушка Настя пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей, — поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми надежными руками, способными на неутомимые объятия будущей жены.

— Ничего, — довольствовался сам собою Кондаев. — Мужики тронутся, бабы останутся. Кто меня покушает, тот век не забудет — я ж сухой бык...

Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте — в такой слабости ее тела — живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду

и набирал внутрь столько воды, словно в теле его была пещера, а потом выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.

Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на заработки.

— Город как крепость, — говорил Кондаев. — Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор — какой же тебе урожай! Ты опомнись!

— А ты как же, Петр Федорович? — спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе найти ход.

— Я калека, — сообщал Кондаев. — Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак — человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял — прибыльное дело!

— Да, пожалуй, что так и придется, — нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодой, грибками, разной травкой, а там — видно будет.

Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней, Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую почерневшую Настю, бредящую от голода в колкой иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева — он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по-своему.

От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные мирные зори и вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю и деревню в старость, в запекающуюся сухую злобу людей.

Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он спрашивал у отца одно и то же — не болела ли у него поясница, чтобы переменилась погода, и когда будет месяц обмываться.

Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего без порток на улицу, потому что ему показалось, что с неба что-то капнуло.

Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем, тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари.

— Прошк! — позвал горбатый. — Ты чего небо пасешь? Правда, нынче не особенно холодно?

Прошка понял, что ничего не капнуло — только показалось.

— Иди курей чужих щупать, сломатая калека! — обиделся Прошка, когда разочаровался в капле. — Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у папашки петуха пощупай!

Прошка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прошку горстью сухого праха. Но Прошка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал на двор, шаря на бегу руками по земле. На дороге ему попался Саша, — Кондаев ударил его с навеса суставами пальцев своей худой руки и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с полопавшейся кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.

Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый, Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в мутные места и бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а этим кольцом громко бил его по голове горбатый — под треском рассыхающегося неба, из трещин которого вдруг полился черный дождь, — и сразу стало тихо: звон белого солнца остыл и замер вдалеке — на тонущих лугах. На лугах стоял горбатый и мочился на маленькое солнце, гаснущее уже само по себе. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал разговор Прошки с Прохором Абрамовичем.

Кондаев же гнался по гумнам за чужой курицей, пользуясь безлюдьем и другим горем односельчан. Курицу он не поймал — она от страха залетела на уличное дерево. Кондаев хотел трясти дерево, но заметил проезжего и тихо пошел домой, походкой непричастного человека. Прошка сказал правду: Кондаев любил щупать кур и мог это делать долго, пока курица не начинала от ужаса и боли гадить ему в руку, а иногда бывало — что курица преждевременно выпускала жидкое яйцо; если кругом было малолюдно, Кондаев глотал из своей горсти недозревшее яйцо, а курице отрывал голову.

Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много, и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:

— Петр Федорыч, пощупай нашего петушка, ради боа!

Кондаев не переносил надруганья и гнался за обидчиками до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.

Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада — в виде маленьких девочек и ребят.

В избе было открыто окно и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать, ей что-то надоедало внутри.

— Тошнит меня! Трудно мне, Прохор Абрамыч!.. Ступай за бабкой.

Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных грустных теней. Окна в избе заперли и завесили. Бабка вынесла на двор лоханку и выплеснула что-то под плетень. Туда побежала собака и съела все, кроме жидкости. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и итти в избу не во время. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла — наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своею песнью двор, травы и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.

Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.

В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, непохожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже наверное слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка — с мешком Саши, с каким сироту посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.

— Сашка! — прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух. — Беги сюда скорей, дармоед!

Саша был около.

— Чего тебе?

— Нà держи — тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок — ходи и не сымай, что наберешь — сам ешь, нам не носи.

Саша взял шапку и мешок.

— А вы тут одни жить останетесь? — спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.

— А то нет? Знамо, одни! — сказал Прошка. — Опять нахлебник у нас родился, кабы не он, ты бы задаром жил! А теперь ты нам никак не нужен — ты одна обуза, мамка, ведь, тебя не рожала, ты сам родился...

Саша пошел за калитку; Прошка постоял один и вышел за ворота — напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел — он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.

— Сашка! — приказал Прошка. — Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили — ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то — ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...

Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.

— Ну, никак нету дожжей! — пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. — Ну, никак: хоть ты тут ляжь и рашшибись об землю, идол ее намочи!

Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся итти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке на берегу озера.

Позже на кладбище приходили два мужика и негромко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.

III.

Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.

Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил — в нем думала голова, чувствовало сердце и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо, — всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие, — то, во что превратился посредством труда человек и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был — машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая в одиночестве. Захар Павлович подумал — на что похоже небо? И вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов — то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на-глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте. Это его обеспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись беспрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.

— Сколько верст — неизвестно, потому что далече! — говорил Захар Павлович. — Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если б бесконечность была на самом деле, она бы распустилась

сама по себе в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну, как — бесконечность? Тупик должен быть!

Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут, — ведь, пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича, — топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, — но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей; люди здесь не при чем.—Наоборот, доброта природы, энергии и металла портит людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй — только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов выродятся в ржавчину, — тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других — Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машин инструментами.

— Господин наставник! — обратился раз Захар Павлович, осмелев, ради любви к делу. — Позвольте спросить: отчего человек — так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?

Наставник слушал сердито — он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.

— Серый чорт, — говорил для себя наставник, — тоже понадобились ему механизмы: господи боже мой!

Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета — в смуглое будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины.

Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то освирепевшей крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствие гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу.

— Ты вот поработал и поумнел! Но человек — чушь! Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...

Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошли сквозь строй остывших паровозов.

— Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну, по пище, жилищу они нас кое-как хлопочут, — ну, а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.

— А у человека что? — не понимал Захар Павлович.

— А у человека есть машины! Понял? Человек — начало для всякого механизма, а птицы сами себе конец...

Захар Павлович думал с наставником одинаково, затрудняясь лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих — и для машиниста-наставника, и для Захара Павловича — природа, нетронутая человеком, казалась мало-прелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия своей жизни, потому что никакой человек не принимал участия в их изготовлении, — в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия — особенно, металлические — наоборот, существовали оживленными и даже были, по своему устройству и силе, интересней и таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыслью: какой дорогой подспудная кровная сила человека объявляется вдруг в волнующих машинах, которые и по размеру и по смыслу больше мастеровых.

И выходило, действительно, так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя — делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую взволнованную силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно, слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.

Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал: нет ли у кого болта в три осьмушки — под резьбу. Ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастеровым одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей, Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел, по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был во-время предупрежден одним случайным кочегаром, — иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.

Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, принялся приспосабливать для прогонки гаечной резьбы один штырь, и приспособил бы, потому что никогда не терял терпения, но ему сказали:

— Эй, Три Осьмушки Под Резьбу, иди возьми болт!

С того дня Захара Павловича звали прозвищем «Три Осьмушки Под Резьбу», но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.

После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Трех Осьмушек Под Резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павловича к той истинной стране, где железные дюймы побеждают земляные версты.

IV.

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что вырастет и поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи, оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе — какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки — в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была стеснительная тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая равнодушная жизнь — речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении, — они с заднего хода доказывали уму Захара Павловича, что ничто не изменяется к лучшему — какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равносильности в природе, беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай — мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, — но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась: ради точности хода всеобщей жизни.

Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет — остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничего к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством — таким далеким, что почти бессмертным. Но Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая растоптанная дорога. И он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось — глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни, либо увеличивал свои надежды и веру в нее.

Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».

Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника под-ряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безыменной безответной могилой матери. На том кресте сохранилась ржавая почти исчахшая вековая надпись — о смерти Ксении Федоровны Ирошниковой в 1813 году от болезни холеры, 18 лет и 3 месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах — за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие, они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение — для какого счастья они живут — тоже не приходило в голову нищим. Какая вера-надежда-любовь давала силу их ногам на песчаных дорогах — ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден, — понимание машин.

На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее — в сумку. Мальчик был телом худ, но лицом бодр и озабочен.

Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.

— Отбраковываешь?

Мальчик не понял технического слова.

— Дядь, дай копейку, — сказал он, — иль докурить оставь!

Захар Павлович вынул пятак.

— Ты, небось, жулик и охальник, — без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.

— Не, я не жулик, я — побирушка, — ответил мальчик, утрамбовывая корки в мешке. — У меня мать — отец есть, только они от голода скрылись.

— А куда же ты пуд харчей запаковал?

— Домой собираюсь наведаться. Вдруг мать с ребятишками пришла — чего тогда им есть?

— А ты сам-то чей?

— Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те — все жулики, а меня отец порол.

— А отец твой чей?

— Отец тоже от моей матери родился — из пуза. Пузо намнут, а нахлебники как из пропасти рожаются. А ты ходи и побирайся на них!

Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее; в кисете было еще порядочно медных денег.

— Уморился, небось? — спросил Захар Павлович.

— Ну да, уморился, — согласился мальчик. — Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Брешешь, брешешь, аж есть захочешь! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.

Мальчик взял заплесневелый ломоть из кучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.

— Небось, отец тебя любит?

— Ничего он не любит — он лежень. Я матерь больше люблю, у нее кровь из нутра льется. Я рубашку ей раз стирал, когда она хворала.

— А отец твой кто?

— Дядя Прошка. Я ведь не здешний...

В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, растущий из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.

— Так ты Прошка Дванов, сукин сын!

Мальчик вывалил изо рта непрожованную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.

— А ты нито дядя Захарка?

— Он!

Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время, как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время — это движение горя и такой же ощутительный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.

Какой-то малый, похожий на лишенного звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смирные, но без резкого ума, — таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою непрерывную беду.

Прошку взволновал прохожий — особенно своими губами.

— Чего губы оттопырил? Руку мою поцеловать хочешь?

Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал — где она находится.

Прошка это сразу почуял и сказал вслед послушнику:

— Пошел, а куда пошел — сам не знает. Поверни его, он назад пойдет: вот черти — нахлебники!

Захар Павлович немного смущался раннего разума Прошки, — сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.

— Прошь? — спросил Захар Павлович. — А куда девался маленький мальчик — рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.

— Сашка, что ль? — догадался Прошка. — Он вперед всех из деревни убег! Это такой сатаноид — житья от него не было! Украл последнюю коврежку хлеба и скрылся на ночь! Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай, и ко двору воротился...

Захар Павлович поверил и задумался.

— А где отец твой?

— Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А заместо народа, крапива в хатах растет...

Захар Павлович отдал Прошке полтинник и попросил наведаться еще, когда будет в городе.

— Ты бы мне картуз отдал! — сказал Прошка. — Тебе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожди моют, я могу остудиться.

Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значек, который ему был дороже головного убора.

Прошел поезд дальнего следования, и Прошка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прошке пришелся на лохматую голову как раз, но Прошка его только померил, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.

— Ну, прощай. Иди с богом, — сказал Захар Павлович.

— Тебе хорошо говорить — ты всегда с хлебом, — упрекнул Прошка. — А у нас и того нет.

Захар Павлович не знал, что дальше сказать — денег у него больше не было.

— Намедни я Сашку в городе встретил, — проговорил Прошка. — Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты, небось, мамке его подкинул — теперь давай денег за Сашку! — кончил Прошка серьезным голосом.

— Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи,— ответил Захар Павлович.

— А что дашь? — заранее спросил Прошка.

— Получка будет — рублевку дам.

— Ладно, — сказал Прошка. — Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомутает.

Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.

Захар Павлович последил за ним глазами и с чего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше любого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешим по железной дороге — по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого рассуждающего ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум — это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.

Прошка пропал на закруглении линии — один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.

Утром Захару Павловичу не так хотелось итти на работу, как обыкновенно. Вечером он затосковал и лег сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли рассеять его скуки — он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то сверлило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов, — одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять — что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.

На следующий день — третий после встречи Прошки — Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.

Рыбак утонул в озере Мутево, бобыль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию — и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.

— Что бы наделал Прошка в моих летах и разуме? — обсуждал свое положение Захар Павлович.

— Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы.

Тот теплый туман любви к машинам, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.

Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича: я, говорит, серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так себе — чернорабочая сила, шлак из-под бабы!

Захар Павлович от душевного смущения, действительно, терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал это лучше всех — он верил, что когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной натуры станет одной денежной нуждой, — тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.

V.

Сын рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подаянии, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена, и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарю понравилась какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаянию. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.

Саша целыми днями сидел на табуретке, в ногах больной, и женщина ему казалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожей. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше.

На тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь.

Саша взял непривычные деньги, вышел на двор и заплакал. Близ уборной, верхом на мусоре, сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесть, курил и постарел лицом от прахóвой пыли мусорных куч.

— Ты опять плачешь, гундосый чорт? — не прерывая работы, спросил Прошка. — Пойди поройся, а я чаю попить сбегаю: нынче соленое ел.

Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу — вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное, храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая»...

Прошка сначала послушал, — думал, что это сказка, а потом разочаровался и сразу сказал:

— Захар Палыч, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!

— А?! — испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.

Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он был теперь и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время, хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра. Они возмужали настолько, что не знали места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них серчал, — а они говорили ему: чего ты, дед, огня боишься — что сгорит, то не сгниет, тебя бы, старого, сжечь надо — в могиле гнить не будешь и не провоняешь никогда!

Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.

Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.

— Сашка, — сказал он. — Пойдем, я тебя отведу, чтобы ты больше мне не навязывался!

VI.

В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу — жену Дарью Степановну. Ему легче было полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухсменная суета была несчастием Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересовать: во-первых — сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно, во-вторых: мир заволакивался какой-то равнодушной грезой — наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.

Дома его утешением был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.

В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:

— Сашь, тебя ничего не мучает?

— Нет, — говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.

— Как ты думаешь, — продолжал свои сомнения Захар Павлович, — всем обязательно нужно жить или нет?

— Всем, — отвечал Саша, немного понимая тоску отца.

— А ты нигде не читал: для чего?

Саша оставлял книгу.

— Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.

— Ага! — доверчиво говорил Захар Павлович. — Так и напечатано?

— Так и напечатано.

Захар Павлович вздыхал:

— Все может быть. Не всем дано знать.

Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло; но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми предметами: он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему какое-то удовлетворение. Саша не мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.

— Я так же, как он, — часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, он думал заунывным голосом: — Стоит себе! — и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью задушевно поскрипывали ставни и Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: — Им тоже скучно! — и переставал скучать.

Когда Саше надоедало ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.

— Я так же, как он, — видел ветер Саша, — я работаю хоть один день, а он и ночь — ему еще хуже.

Поезда начали ходить очень часто — это наступила война. Мастеровые остались к войне равнодушны — их на войну не брали, и она им была так же чужда, как паровозы, которые они чинили и заправляли, но которые возили незнакомых незанятых людей.

Саша монотонно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда. Он уже забывал отца-рыбака, деревню и Прошку, идя вместе с возрастом навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще перечувствовать, пропустив внутрь своего тела. Себя самого, как самостоятельный твердый предмет, Саша не сознавал — он всегда воображал что-нибудь чувством, и это вытесняло из него представление о самом себе. Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником. Своих целей он не имел, хотя ему минуло уже шестнадцать лет; зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни — слабости хилых дворовых трав и случайному ночному прохожему, кашляющему от своей бесприют-

ности, чтобы его услышали и пожалели. Саша слушал и жалел. Он наполнялся тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине. Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безымянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля, шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни.

Захар Павлович ни в чем не мешал Саше — он любил его всею преданностью старости, всем чувством каких-то безотчетных, неясных надежд. Часто он просил Сашу почитать ему о войне, так как сам при лампе не разбирал букв.

Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил:

— Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, что война — это нарочно властью выдумано: обыкновенный человек так не может...

Саша спрашивал, как же должно быть.

— Так, — отвечал Захар Павлович и возбуждался. — Иначе как-нибудь. Послали бы меня к германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!

Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там наверху — царь и его служащие — едва ли дураки. Значит, война — это не серьезное, а нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился втупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?

В первый раз Саша увидел убитого человека в своем же депо. Шел последний час работы — перед самым гудком. Саша набивал сальники в цилиндрах, когда два машиниста внесли на руках бледного наставника, из головы которого густо выжималась и капала на мазутную землю кровь. Наставника унесли в контору и оттуда стали звонить по телефону в приемный покой. Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком.

— Черти! — ясно сказал наставник. — Помажьте мне голову нефтью, чтоб кровь-то хоть остановилась!

Один кочегар быстро принес ведро нефти, окунул в нее обтирочные концы и помазал ими жирную от крови голову наставника. Голова стала черная, и от нее пошло видимое всем испарение.

— Ну вот, ну вот! — поощрил наставник. — Вот мне и полегчало. А вы думали, я умру? Рано еще, сволочи, ликовать...

Наставник понемногу ослаб и забылся. Саша разглядел ямы в его голове и глубоко забившиеся туда вдавленные уже мертвые волосы. Никто не помнил своей обиды против наставника, несмотря на то, что ему и сейчас болт был дороже и удобней человека.

Захар Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не капали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, как ни умен и храбр человек, а все равно грустен и жалок, и умирает от слабости сил.

Наставник вдруг открыл глаза и зорко вгляделся в лица подчиненных и товарищей. Во взоре его еще блестела ясная жизнь, но он уже томился в туманном напряжении, а побелевшие веки закатывались в подбровную глазницу.

— Чего плачете? — с остатком обычного раздражения спросил наставник. Никто не плакал — у одного Захара Павловича из вытаращенных глаз шла по щекам грязная невольная влага. — Чего вы стоите и плачете, когда гудка не было!

Машинист-наставник закрыл глаза и подержал их в нежной тьме; никакой смерти он не чувствовал — прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей. Все это уже случалось с ним, но очень давно, и где — нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей, как в волнующейся воде. Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обиженное лицо грязной испорченной на работе рукой.

Наставник рассердился на него и поспешил сказать, потому что вода над ним уже смеркалась.

— Плачет чего-то, а Гараська опять, скотина, котел сжег... Ну, чего плачет? Нового человека соберись и сделай...

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму; это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленными костями, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста...

— Нового человека соберись и сделай... Гайку, сволочь, не сумеешь, а человека моментально...

Здесь наставник втянул воздух и начал что-то сосать губами. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, он толкался плечами и силился навсегда поместиться.

— Просуньте меня поглубже в трубу, — прошептал он опухшими детскими губами, ясно сознавая, что он через девять месяцев снова родится. — Иван Сергеич, позови Три Осьмушки Под Резьбу — пусть он, голубчик, контр-гаечкой меня зажмет...

Носилки принесли поздно. Некчему было нести машиниста-наставника в приемный покой.

— Несите человека домой, — сказали мастеровые врачу.

— Никак нельзя, — ответил врач. — Он нам для протокола необходим.

В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы — при перегонке холодного паровоза, сцепленного с дежурным паровозом пятисаженным стальным тросом. При переходе стрелки трос коснулся путевого фонарного столба, который упал и повредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил Службы Движения и Эксплоатации.

Захар Павлович взял Сашу за руку и пошел из депо домой. Жена за ужином сказала, что мало продают хлеба и нет нигде говядины.

— Ну и помрем, только и делов, — ответил без сочувствия Захар Павлович. Для него весь житейский обиход потерял важное значение.

Для Саши — в ту пору его ранней жизни — в каждом дне была своя, безымянная прелесть, не повторявшаяся в будущем; образ машиниста-наставника ушел для него в сон воспоминаний. Но у Захара Павловича уже не было такой самозарастающей силы жизни: он был стар, а этот возраст нежен и обнажен для гибели, наравне с детством, и он горевал о наставнике всю остальную жизнь.

Больше ничто не тронуло Захара Павловича в следующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгой — если б там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом. На самом деле Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нем постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлеченной, успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни.

Захар Павлович терялся в своих догадках; всю жизнь его отвлекали случайные интересы, вроде машин и изделий, и только теперь он опомнился: что-то должна прошептать ему на ухо мать, когда кормила его грудью, что-то такое же кровно необходимое, как ее молоко, вкус которого теперь навсегда забыт. Но мать ничего ему не пошептала, а самому про весь свет нельзя сообразить. И поэтому Захар Павлович стал жить смирно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин — на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому. Паровозы работают либо для посторонних людей, либо для солдат, но их везут насильно. Машина сама — тоже не своевольное, а — безответное существо. Ее теперь Захар Павлович больше жалел, чем любил, и даже говорил в депо паровозу с глазу на глаз:

— Поедешь? Ну, поезжай! Ишь, как дышлà свои разработал — должно быть, тяжела пассажирская сволочь.

Паровоз хотя и молчал, но Захар Павлович его слышал:

— Колосники затекают — уголь плохой, — грустно говорил паровоз. — Тяжело подъемы брать. Баб тоже много к мужьям на фронт ездят, а у каждой по три пуда пышек. Почтовых вагонов, опять-таки, теперь два цепляют, а раньше один, — люди в разлуке живут и письма пишут.

— Ага, — задумчиво беседовал Захар Павлович, и не знал, чем же помочь паровозу, когда люди непосильно нагружают его весом своей разлуки. — А ты особо не тужись — тяни спрохвала.

— Нельзя, — с кротостью разумной силы отвечал паровоз. — Мне с высоты насыпи видны многие деревни: там люди плачут — ждут писем и раненых родных. Посмотри мне в сальник — туго затянули, поршневую скалку нагрею на-ходу.

Захар Павлович шел и отдавал болты на сальнике.

— Действительно, — затянули, сволочи, — разве ж так можно!

— Чего ты там возишься? — спрашивал дежурный механик, выходя из конторы. — Тебя очень просили копаться там? Скажи — да или нет?

— Нет, — укрощенно говорил Захар Павлович. — Мне показалось, туго затянули...

Механик не сердился.

— Ну, и не трожь, раз тебе показалось. Их как ни затяни — все равно на ходу парят.

После паровоз тихо бурчал Захару Павловичу:

— Дело не в затяжке — там шток посредине разработан, оттого и сальники парят. Разве я сам хочу это делать?

— Да я видел, — вздыхал Захар Павлович. — Но я ведь обтирщик — сам знаешь — мне не верят.

— Вот именно! — густым голосом сочувствовал паровоз и погружался в тьму своих охлажденных сил.

— Я ж и говорю! — поддакивал Захар Павлович.

Когда Саша поступил на вечерние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, никто ему ничего не подсказывал — раньше собственного чувства, а Саше книги чужим умом говорят.

— Я мучился, а он читает — только и всего! — завидовал Захар Павлович.

Почитав, Саша начинал писать. Жена Захара Павловича не могла уснуть при лампе.

— Все пишет, — говорила она. — А чего пишет?

— А ты спи, — советовал Захар Павлович. — Закрой глаза кожей — и спи!

Жена закрывала глаза, но и сквозь веки видела, как напрасно горит керосин. Она не ошиблась — действительно, зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг,

которым он позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место — та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир. В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем — ни веры в бога, ни другого умственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтоб мир остался ненареченным, он только хотел услышать его собственное имя из его же уст, вместо нарочно выдуманных прозваний.

Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его незакрытое верой сердце мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слов песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное — горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни.

— Вот это — я! — громко сказал Александр.

— Кто — ты? — спросил неспавший Захар Павлович.

Саша сразу смолк, объятый внезапным позором, унесшим всю радость его открытия. Он думал, что сидит одиноким, а его слушал Захар Павлович.

Захар Павлович это заметил и уничтожил свой вопрос равнодушным ответом самому себе:

— Чтец ты, и больше ничего... Ложись лучше спать, уже поздно...

Захар Павлович зевнул и мирно сказал:

— Не мучайся, Сашь, — ты и так слабый...

— И этот в воде из любопытства утонет, — прошептал для себя Захар Павлович под одеялом. — А я на подушке задохнусь. Одно и то же.

Ночь продолжалась тихо — из сеней было слышно, как кашляют сцепщики на станции. Кончался февраль, уже обнажались бровки на канавах с прошлогодней травой, и на них глядел Саша, словно на сотворение земли. Он сочувствовал появлению мертвой травы и рассматривал ее с таким прилежным вниманием, какого не имел по отношению к себе.

Он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе.

Захар Павлович однажды разговорился с Сашей, как равный человек.

— Вчера котел взорвался у паровоза серии Ще, — говорил Захар Павлович,

Саша это уже знал.

— Вот тебе и наука, — огорчался по этому и по какому-то другому поводу Захар Павлович. — Паровоз только что с завода пришел, а заклепки к чорту!.. Никто ничего серьезного не знает — живое против ума прет...

Саша не понимал разницы между умом и телом, и молчал. По словам Захара Павловича выходило, что ум — это слабосудная сила, а машины изобретены сердечной догадкой человека — отдельно от ума.

Со станции иногда доносился гул эшелонов. Гремели чайники и странными голосами говорили люди, как чужие племена.

— Кочуют! — прислушивался Захар Павлович. — До чего-нибудь докочуются.

Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.

— Революция легче, чем война, — объяснял он Саше. — На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так...

Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он, ради безошибочности, отверг революцию.

Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят — добра не будет.

До самого октября месяца он насмехался, в первый раз почувствовав удовольствие быть умным человеком. Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь пробыл на дворе, заходя в горницу лишь закурить. Всю ночь он хлопал дверями, не давая заснуть жене.

— Да угомонись ты, идол бешеный! — ворочалась в одиночестве старуха. — Вот пешеход-то!.. И что теперь будет — ни хлеба, ни одёжи!.. Как у них руки-то стрелять не отсохнут — без матерей, видно, росли!

Захар Павлович стоял посреди двора с пылающей цыгаркой, поддакивая дальней стрельбе.

— Неужели это так? — спрашивал себя Захар Павлович, и уходил закуривать новую цыгарку.

— Ложись, леший! — советовала жена.

— Саша, ты не спишь? — волновался Захар Павлович. — Там дураки власть берут, — может, хоть жизнь поумнеет.

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум — он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

— Вот это так! — резонно удивлялся Захар Павлович. — Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплоатация. Идем, Сашь, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем — это был бы конец света.

— Его-то нам и надо! — сказал Захара Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что? — спросил он у Захара Павловича.

— Хочем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?..

— Социализм, что ль? — не понял человек. — Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

— Тогда пиши нас, — обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжек и по одному, вполовину напечатанному, листу.

— Программа, устав, резолюции, анкета, — сказал он. — Пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

— А устно нельзя?

— Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

— А мы являться будем.

— Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело — по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия — наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

— Ты запишись, Сашь, для пробы, — сказал Захар Павлович. — А я годок обожду.

— Для пробы не записываем, — отказал человек. — Или навсегда и полностью наш, или — стучите в другие двери.

— Ну, всурьез, — согласился Захар Павлович.

— А это другое дело, — не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал расспрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

— Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошел бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

— Ну?

Партийный человек отвлекся телефоном. «Нет, не могу, — сказал он в трубку. — Сюда приходят представители масс, надо же кому-нибудь информацией заниматься!»

— Что, ну? — вспомнил он. — Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал.

— Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой и дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.

— Ну, товарищ рабочий, — спокойно сказал член партии, — если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы советская власть.

— В Москве нет беднейших крестьян, — усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился: он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ничего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду, — вспомнил он про свои изделия. — Ее я сроду не делал».

— Дай мне товарища Перекорова, — сказал по проволоке партийный человек. — Перекоров? Вот что. Надо бы поскорее газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературки побольше выпустить... Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку, — ты ничего не понимаешь...

Захар Павлович вновь рассердился.

— Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия, — я много передумал...

— А что же надо? — озадачился собеседник.

— Имущество надо унизить, — открыл Захар Павлович. — А людей оставить без призора — к лучшему обойдется, ей-богу правда!

— Так это анархия!

— Какая тебе анархия — просто себе сдельная жизнь.

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой.

— Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода, и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

— Обождем, — сказал Захар Павлович. — Если не справитесь, отсрочку дадим.

Саша дописал анкету.

— Неужели это так? — говорил на обратной дороге Захар Павлович. — Неужели здесь точное дело? Выходит, что так.

На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке, — он думал о том крон-

циркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил все — разверзтое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довел себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым. И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принес никакой радости и защиты и с которыми ему предстоит расстаться.

— Сашь, — сказал он, — ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалей ее, живи главной жизнью.

Александр молчал, уважая скрытое страдание приемного отца.

— Ты не помнишь Федьку Беспалова? — продолжал Захар Павлович. — Слесарь у нас такой был — теперь он умер. Бывало пошлют его что-нибудь смерить, он пойдет, приложит пальцы и идет с расставленными руками. Пока донесет руки, у него из аршина сажень получается. Что ж ты, сукин сын? — ругают его. А он: да мне дюжо нужно — все равно за это не прогонят.

Лишь на другой день Александр понял, что хотел сказать отец.

— Хоть они и большевики и великомученики своей идеи, — напутствовал Захар Павлович. — Но тебе надо глядеть и глядеть. Помни — у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут, — тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...

Захар Павлович разжигался от собственных слов и все более восходил к какому-то ожесточению.

— А иначе... Знаешь, что иначе будет? В топку — и дымом по ветру! В шлак, а шлак — кочережкой и под откос! Понял ты меня или нет?..

От возбуждения Захар Павлович перешел к растроганности и в волнении ушел на кухню закуривать. Затем он вернулся и робко обнял своего приемного сына.

— Ты, Сашь, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что революция — это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в Политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, а тот наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро ученье Александра прекратилось, и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны — в степной городок Новохоперск.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидая попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговорили, кроме любви. О ней Захар Павлович сказал стесняющимся голосом предупредительные слова:

— Ты, ведь, Сашь, уже взрослый мальчик — сам все знаешь... Главное, не надо этим делом нарочно заниматься — это самая обманчивая вещь: нет ничего, а что-то тебя как будто куда-то тянет, чего-то хочется... У всякого человека в нижнем месте целый империализм сидит...

Александр не мог почувствовать империализма в своем теле, хотя нарочно вообразил себя голым.

Когда подали сборный эшелон и Александр пролез в вагон, Захар Павлович попросил его с платформы:

— Напиши мне когда-нибудь письмо. Что жив, мол, и здоров — только и всего...

— Да я больше напишу, — ответил Саша, только сейчас заметив, какой старый и сиротливый человек — Захар Павлович.

Вокзальный колокол звонил уже раз пять, и все по три звонка, а эшелон никак не мог тронуться. Сашу оттерли от дверей вагона незнакомые люди, и он больше наружу не показывался.

Захар Павлович истомился и пошел домой. До дома он шел долго, всю дорогу забывая закурить и мучаясь от этой мелкой досады. Дома он сел за угольный столик, где всегда сидел Саша, и начал по складам читать алгебру, ничего не понимая, но постепенно находя себе утешение.

Старый скорняк.

(Рассказ).

Илья Эренбург.

Что такое «Шехтель»? Воспаленные глаза над грудой вонючих мехов. Скорняк это или библейское проклятье? Стоит только посмотреть на него... Впрочем, кто же станет смотреть на Шехтеля? И без того жизнь горька. Люди глядят на меховую шапку Горовича, или на красивых девушек, или же на свое собственное горе. На Шехтеля никто не смотрит. Из его глаз неизменно текут слезы. Но это не слезы скорби и не слезы умиления. Это стыдные слезы гноящихся век. Шехтель беден и уродлив. К тому же он одинок. Смерть — известная сумасбродка. Она забыла о Шехтеле, и Шехтель остался над пестрыми шкурками. Он подбирает меха, и он думает.

Под окном шумят дни. Меняются мундиры, вывески, ассигнации. Но не об этом думает Шехтель. Он думает не о боге, хоть он честный еврей, хоть он соблюдает все посты, и в пятницу на его нищенском столе — взволнованные свечи. О боге он не умеет думать. Он думает о самом простом: зимой о том, что дни короткие, летом о том, что они длинные. Старый скорняк выжил из ума.

Иногда к нему приходит племянник Мотька. У Мотьки горячие зрачки и комсомольский билет в кармане. Мотька смеется над Шехтелем.

— Скажи, например, почему вошь можно раздавить в субботу, а блоху нельзя?

Шехтель молчит, печально разглаживая теплый мех. Он не знает этого. Он ведь не ученый раввин, он только последний скорняк. Пусть Мотя беседует с умными людьми. Но Мотька не унимается:

— Глупо придуман твой бог, и пора бы его выкинуть, как керосиновую лампу.

Шехтель глядит на Мотьку. Он глядит беспомощно и трогательно. Он даже пробует улыбнуться — ведь мальчик наверное шутит. Из его больных глаз все текут и текут ничего не выражающие слезы. Тихо говорит он:

— Зачем ты меня обижаешь, Мотя? Может быть, твой новый бог придуман лучше. Я этого не знаю. Я слишком стар и глуп, чтобы читать твои листки. Но ты хороший человек, и, значит, у тебя хороший бог.

Оставь же меня с моей глупостью. За вами бегать мне поздно. А без бога я не могу жить. Без бога я буду только ругаться и горевать, как самый страшный злодей. Скажи, с кем я стану тогда разговаривать? С твоими напечатанными листками? Или с кровавым ножом? Или, может быть, с моим окаянным одиночеством? Пожалей меня, Мотя! Ты сам говоришь, что с вами весь мир. Много ли места занимаю я, и мои субботние свечки, и мои смешные слова?..

Нет, Мотьке не переубедить Шехтеля. Он и не очень старается. Он ведь занят делами поважнее: он переделывает заново мир. А Шехтель продолжает подбирать шкурки и повторять слова, теплые, желтые, шершавые, как его щеки.

Под окном шумят дни, и, наконец, приходит один ветреный, злой день. С утра противно скрипят обозы. Возле заборов жмутся смельчаки. Они читают великодушные воззвания победителей. Шехтель не читает воззваний. Он сидит без дела — никто не приносит заказов. Он сидит и думает: вот уж осень, дни становятся короче... Шехтель дряхл и туп. Он не думает о том, почему это так волнуются люди, почему скрипят телеги, и мать Мотьки ревет. Нет, он думает о старой сумасбродке, о смерти. У него болит поясница, и слипаются глаза.

Ночь заводится в узких проклятых дворах. На улице сверкают аксельбанты и бодрится крикливая баба со своими мочеными яблоками. А во дворах уже темно: ночь рвется на волю, чтобы придушить жалкий воробьиный день, и она, наконец, выбегает. Тогда-то раздается топот.

У победителей глаза, полные озорства и несчастья, серьги у них в ушах, охрипшие голоса. Они заходят в первый дом. Глядя на груды пестрых и никчемных вещей, они, кажется, примиряются с жизнью. Не замечая перепуганного дыхания хозяев, они разрывают сундуки. Они комично чихают от нафталина. Заботливо проверяют они пробу на серебре. Перед затейливым кофейником или домотканной скатерткой они становятся трогательными домоводами. Вот они вышли. Они улыбаются смущенно и недоверчиво, как после театральной феерии. А из узлов торчат яркие ленты, мельхиоровые вазы, голенища сапог... Но вот второй дом, третий... Тоска ошеломляет победителей.

Уныло они отворачиваются и от ваз, и от лент. Ничто уж не может их развеселить. Как едкие костры среди степной ночи, разгораются сердца. Они мстят этим, мягким, кудахчущим, залезающим кто в курятник, кто в погреб, за других, мстят за свою злобу и сиротливость, мстят за сожженный хутор, или за убитого друга, или просто за ветер, за проклятый ветер, под которым должны они носиться, спать, убивать.

А люди?.. Люди кричат. Зачем?.. Что пользы в крике?.. Об этом они не думают. Они кричат просто и непоправимо. Крик одного подхватывается всеми, он заражает квартиру, этаж, и вот уже не человек кричит, кричит дом, высокий черный корпус, каменная коробка среди темноты и топота.

Сначала крик озадачивает победителей. Кого они зовут на подмогу? Только ветер отвечает невесело: «Чорт с вами! пропадайте!..». Но быстро они привыкают к крику. Он для них теперь часть огромной ночи, когда текут звезды, и гудит земля, как грохот пушек и чад огней, как ругань, вши, печаль. Когда они выходят из дому, брезгливо отряхиваясь, дом молчит. Молчат все этажи, с ювелирами и с попрошайками, с седобородыми начетчиками и с запальчивыми подростками, вчера еще горланившими на сходках.

Шехтель живет на самом верхнем этаже крутого рабочего дома. Это далеко, это в Заречьи, и к Шехтелю приходят под утро. Кричат, один за другим, умолкая, нижние этажи. В соседней комнате воет часовщик Фукер — он оплакивает сорок злосчастных лет и часы заказчиков. А Шехтель стоит возле лампы. Он молится. Лампа выгорела и тяжело дышит. Сейчас лампа умрет. Но Шехтель знает слова на память. Он бормочет: «Да будет сладка и легка смерть перед тобой...». Эти слова ничего не означают, они пахнут пылью, гвоздикой, старостью. Они просто-на-просто слова молитвы.

Тогда входит один из победителей. Это огромный дурень с двумя крестами на груди. Он печален, как вся ночь. Нарочито топочет он и даже пытается залихватски сверкнуть серьгой, но дыхание его полно тревоги; он дышит в лад лампе.

Увидев поблескивающий тускло штык, Шехтель пятится. На лице вошедшего теперь усмешка: трусишь, гад!.. Он ведь не знает Шехтеля, он думает, что Шехтель и впрямь боится, что Шехтель, как другие, будет ползать по полу, выклянчивая жизнь, что будет он визжать о детках или о внуках, целовать будет пахнущие дегтем сапоги. Пусть помучается, собака!.. Может быть, это его сын сжег беленький хутор, далеко отсюда, в стране высокого солнца и золотой пшеницы?.. В ненастных глазах победителя посвечивает радость. А Шехтель все пятится к окну.

— Убежать хочешь? Дудки!

Одна мысль у Шехтеля — дойти до окна. Он и не думает о бегстве. От кого ему убегать? От сумасбродки-смерти? Но разве горче она этой остывшей старости среди мехов и усмешек? Нет, смерть сладка и легка. Но может ли старый еврей умереть, не вымыв рук? Может ли он подать богу руку, всю перепачканную жизнью? С детских лет тяготел над Шехтелем суровый закон, и теперь вспоминает он последнее его предписание.

В окно уже просачивается грязный свет зари. Сальные облака обложили небо, и жалок рассвет среди вящшей нищеты выпотрошенного города. Стекла запотели, на них несколько капель, серых и подлых, как все цвета этого часа. К оконным стеклам пятится Шехтель — он хочет выполнить свой последний долг.

Победитель хохочет. Дурак наверное высунется в окно и будет звать на помощь. Как будто кто-нибудь поможет ему!.. Там, внизу только угрюмые его товарищи, трупы, мусор; пух подушек, осколки зеркал, конец первой ночи.

Дойдя до окошка, Шехтель прижимает ладони к слезящемуся стекл
Он трет одну руку о другую, и он улыбается. Он выполнил все, что предп
сывает суровый закон. Он протянет богу чистые руки. И Шехтель ласков
говорит:

— Теперь я вымыл руки, теперь вы можете меня убить.

Тогда внезапная злоба чернит лицо простодушного парня:

— Сволочи! Умереть и то не могут!.. Нет, он еще всю душу из теб
вывернет!..

Яростно ударяет он старика прикладом. Шехтель падает просто
шумно, как стул. Но убийца уж не может успокоиться. Бросив винтовку
бежит он вниз. Сидя на тумбе, товарищ его зевает и, нехотя, свертывае
папироску.

— Старый чорт!.. Руками зачем-то водил и смеялся... Не могу
этого вынести!.. Жить они мне не дают!..

Товарищ молчит. Он только зевает — громко и одиноко, как пе
И победитель бежит по прямым, чересчур просторным улицам.

Месть.

(Рассказ).

Леонид Леонов.

Высокий, надежный забор окружал огород, на котором трудились ребята. Их труд был напрасен, — прелые клубни лопались на руке, испуская сок, грязный как ветреное небо того дня. Утром опять шел дождь, и проникнутая осенними запахами земля грузными ломтями ложилась на лопату. Весь в грязи и поту, Никитка со злым усердием выбирал с грядок уцелевшую картошку, когда Корявый, ткнув в плечо, приказал чесать себе спину. Он ждал с сердитым достоинством, ему уже надоедало ждать. Никитка не двигался, и Корявый внушительно оглянулся на него через плечо.

— Чеши же, муха... свербит очень! — тоскливо прибавил он.

Закусив губу, Никитка продолжал упорствовать, и вся колония исподлобно взирала на это неравное единоборство. Никитка безмолвствовал, но за все одиннадцать лет скандального своего существования на земле так не волновался Никитка... даже в тот раз, когда вернулся отец из проруби, в которую нырял за упущенным ломом. Войдя, он бросил обмерзший лом на пол и опустошенно молчал, — но его смятенно раскинутых рук и грохота падающего лома никогда не смел забыть Никитка. Он оставался спокоен, когда впоследствии беспризорная шпана вбивала в него свою поганую мудрость; он лишь усмехался, обучаясь презрению. Минуя сладостные дни детства, он так и вступил в жизнь молчаливым старичком, бесчувственным к своим лишеньям. Он улыбался на людей и великодушно прощал им их нищенскую ласку, под которой они прятали какую-то сокровенную вину перед ним. Примирить его с людьми могла только катастрофа, способная исторгнуть жалость из Никитки — сожжение мира или потоп, и он ждал этого момента с холодком созерцания. Теперь же волнение внушал ему сам этот кислый осенний денек, пропитанный странной предвестной напряженностью.

Корявый зловеще усмехнулся, готовый свершить лютое правосудие сильнейшего. Примирясь с мыслью быть когда-нибудь расстрелянным, он уже не ждал пощады от людей и не страшился ничего. Он имел длинные, неспокойные руки и лицо, рыхлое как ляшка, с нарисованными на нем глазами. И потому, что непослушанием своим Никитка поднимал явный

бунт против него, повелителя и коновода, Корявый лениво ударил его в грудь, заряжая себя злостью. Никитка шатнулся и, подставив спину Корявому, стеклянными глазами уставился в угол забора, где, прикрытая репьем и щебнем, зияла дыра в мир. Никогда прежде он не примечал ее, и теперь рассеянно ждал удара, второго и самого сокрушительного, за которым сразу наступит бессилие Корявого: он имел скверное сердце, и оттого драчливый задор его никогда не бывал длителен. Корявый медлил, и Никитка досадливо обернулся; тут лишь понял он причину промедленья.

В колонии появился новый гость. Это был серый котенок, смешное и тощее существо, забредшее сюда во утоление ребячьей любознательности. Больше того: это был Тропкинский котенок, а Тропкин был сторож при колонии. Тропкин выловил его из пруда и пригласил разделить нелюдимое свое одиночество.

— Он и есть жизть моя, — значительно сказал он учителю Шарадаму, наблюдавшему внедрение мокрого сего зверя в Тропкинский обиход. — Покеда живет, и я поживу. А то древен я. Нет у меня старушки, негде руки погреть...

Тропкина не любили в колонии. Тропкин был законник и даже бога своего подчинял закону писанному и земному; иметь бога строжайше воспрещалось в колонии, и потому Тропкин содержал своего бога за занавесочкой, которую отдергивал по надобности. Бог его был угрюмый бог, — по должности своей он правил миром, состоявшим из одних нарушителей закона. И бог, и раб его были одинаково скоры на руку и скупы на язык, а котенок не знал, повидимому, что он—Тропкинский. Видный отовсюду, он открыто переходил двор, бережно ставя лапки и блюдя чистоту. Ему очень хотелось казаться страшным, почему и было в его щуплом тельце нечто, позывавшее на улыбку.

— Путешествует по водам... — воодушевленно сказал Харламчик, и тотчас все дружно посмеялись его мелкой глупости. — Тропкин подсматривать за нами подпустил! — уже со злым умыслом открыл он, но смех его заглох в одиночестве.

Точно учуяв недобрый смысл всеобщего вниманья, котенок перебежал к ногам Корявого и там обреченно урчал, ласкаясь и льстя сапогу человека. Десятки рук тянулись к нему отовсюду погладить и ободрить к дальнейшим прогулкам в мир, а котенок пугливо озирался на обступившие его ноги.

— Ликвидировать... — важно сказал Корявый, и эта могущественная формула эпохи прозвучала как заклинание в его землистых устах. Он щурким взором окинул ребят, приводя всех к повиновению, и сразу двор стал велик как мир, и ни ямки на нем, чтоб спрятаться. — Расступись! — сипло крикнул он и, отведя ногу, с величием первенства ударил котенка.

Вряд ли кто думал о мести Тропкину, но, обезумевшие от жажды угодить Корявому, ребята усердно играли котенком в футбол. И хотя

ни один не испытывал удовлетворения от этой забавы, всякий щеголял безрассудной жестокостью. Игра велась в полном молчании, и каждый раз, свершив смертный полет, котенок еще находил силы на писк и попытку к побегу. Потом он уже не касался земли, а лишь порхал, мутно и красно, все нескладней и косолапей. Вдруг, точно по сговору, гонимые отвращением к совершенному, ребята разбежались по сторонам. Бушевал ветер, нес брызги и шумные листья, пронизывал насквозь. Тогда, в томительном затишьи преступления, Никитка сдвинулся с места. Он шел стариковским шагом, храня в лице презрение и холод, а подойдя, склонился к котенку, полный, казалось, жалости и стыда за остальных; потом он изогнулся и со свистом неистовства поддал котенка ногой в сторону Корявого.

— Принимай паса! — вызывающе крикнул он, выставляя острое и злое плечо наперерез всему свету, если бы тот двинулся на него.

В его голосе прозвучали одновременно и упрек и угроза. Он устрашал; губы его сжались и стали жестки, как щель почтового ящика, а Корявый понял, что новым и молодым пора уступать власть и место. Едва ускользнув от жуткого Никиткина послания, он согнулся и заковылял в глубину двора. Руки его гнусно мотались по сторонам, а спина вихлялась, как битая, свидетельствуя об окончательном посрамлении. Никитка пристальными глазами проследил его уход, потом вытер запотевший лоб и усмехнулся низости поверженного. Тотчас трое кинулись тащить его корзину в дом, а остальные нерешительными возгласами приветствовали победителя в этом скверном поединке.

Именно с этого часа началось возвышение Никитки. Его молчаливость сочли за несуесловное сознание могущества; его давно осмеянная тихость стала представляться грозовой, готовой изрыгнуть смрад и молнии на голову соперника. В обед он сожрал лучший кусок мяса, в чай он положил шесть кусков сахару и терпеливо пил его, задыхаясь от сладости и власти, а вечером Харламчик притащил ему три папиросы в поисках высокого Никиткина расположения. Никитка не курил к великому огорчению подхалима и ростовщика.

В эту ночь ему снился отец. Синий и мокрый, он стоял посреди невнятного пространства и пронзительно глядел в сына; ледяные вихры торчали из-под расклокоченной шапки. Никитка заметался и, приподнявшись на локтях, вгляделся в окно. Там стояло дерево, но Никитка увидел только ночь. Она неизъяснимо звенела в Никиткиных ушах. Кроме того, бредил сквозь сон Корявый и сопел Харламчик; за стеной дрыхнул на семейной кровати и в объятьях скучной Мыги учитель Шарадам; где-то у ворот спал, наверно, лютый Тропкин, держа в руках палку, которая тоже спала. Погрузясь в сон, колония не ведала про необыкновенность ночи. Дрожко ступая по ледяному полу, Никитка перебежал к окну.

От окна дуло сыростью. Жидкой плотности туман наполнял двор. Странными призраками населяло его ночное Никиткино воображение. Они двигались и жили, а длинные, как на ходулях, тела их глянцевито

поблескивали в измороси. Вдруг они униженно побежали в глубь мрака Никитка беззвучно засмеялся и еще жадней приник к стеклу. Тут стремительная струя света пересекла небо и, раздвоясь в зените, опрокинулась в неизвестность. Тотчас она воздвигнулась вновь, ища кого-то в осенней мгле, искала и не находила, и всегда, когда она обессиленно падал на Никитку, обнаруживался зубчатый как пила забор, которым ми защищался от беспризорной колонии.

Где-то невдалеке стояла красноармейская часть, и несколько раз в неделю непогодное небо обшаривали световые пятна, направленны из прожектора чьей-то властной рукой. Никитка не помнил; дыра в заборе виденная утром, звала его в мир, обещая чудеса, сокрытые по ту сторону забора. Дрожа как в ознобе, Никитка торопливо одевался, привлекаемый струйчатым светом в окне. Крадучись по стене, он вышел на крыльцо дома Листва одинокого дерева звучала дробным соломенным шорохом; Никитка высунул руку из-под навеса: шел мелкий дождь. Над головой все метался то слабея, то усиливаясь, мутный столб света; облака пожирали всю его световую силу, но не иссякал свет и не утолялась мгла. Ступая осторожно как зафутболенный утром котенок, Никитка спустился во двор.

Он был без шапки и не замечал; памятуя лишь о неусыпной бдительности Тропкина, он не замечал ни сырости, ни ужасной беззащитности своей. Во мраке он споткнулся о кирпич и с падающим сердцем схватился за водосток; железо хрустнуло, но звук был глухой, сонный. В воздухе прохладно пахло мокрым лесом. Освоясь с обстоятельствами ночи, Никитка прислушался, но Тропкин спал крепко. Тропкин и его глупая палка думали, что все в мире обстоит благополучно. Всегда такое зоркое окно его сторожки сонно вглядывалось во мрак; оно дразнило и приманивало. Тогда, повинуясь необоримому позыву к озорству, он быстро пересек двор и почти с отчаянием геройства заглянул в окно.

На стене, вися наклонно к полу, горела лампа. Тропкин сидел на лавке, спиной к окну, положив голову прямо на стол. Руки его, жилистые, ожесточенные трудом, валялись тут же, на столе, вблизи медного чайника. Он спал. Сон застал его врасплох, и вся поза его потрясала своей неустойчивостью. На скудной известковой стене висела пила, а в углу, скрытый занавеской, дремал унылый Тропкинский бог. И тут же, приставленную к столу, Никитка разглядел знаменитую палку сторожа Тропкина. Она была белая, хитрая, костыль старца и поучение непослушной юности. Точно подтолкнутый, Никитка слабо потянул дверь на себя и вошел в сторожку. Дверь спала, как и все в колонии, если смел уснуть Тропкин; спросонья она визгнула в петлях и снова уснула. Закрыв глаза, Никитка протянул руку вперед; Тропкин спал, и сон был ему дороже палки. Всем телом ощущая присутствие спящего чудовища, Никитка взял палку и робко удивился: она не обожгла, не закричала, она была легка как из ольхи, смешная, обманная, нестоющая палка. Потом с плененной палкой в руках, он ошалело носился по ночному двору, страдая от незнания кары, которую она заслуживала. Он яростно сломал ее о колено и

олохмаченные концы закинул в обе стороны мрака, по которому еще рыскал тускнеющий прожекторный свет. Колени его подкашивались от сознания могущества и жажды все новых и новых свершений.

Снова, через окно удостоверясь в Тропкинском бездействии, он уже по-хозяйски вошел в сторожку. Ничто не изменилось в ней, только опустелое место возле стола, где стояла палка, ошеломляюще зияло в его сознании. Все было позволено в ту необычайную ночь, и Никитка беспрепятственно творил свою наивную расправу. Еле справляясь с удушьем хохота, он плюнул в недопитую кружку и размешал лучинкой. Он остановил часы и согнул маятник, утеряв надежду вырвать его бесшумно из колесатого чрева. Уже не робко, грохая казенными сапожищами, он бегал по сторожке, скверня ее всяко, пакостя Тропкинское место, сон его и закон его. Тут звук, более страшный чем при паденьи отцовского лома, взгремев над головой обрушился на Никитку. С безумным сердцем и смертельно сомкнув глаза, он присел к полу и ждал развязки, но все длилась эта нестерпимая тишина. Он уже уверовал в месть Тропкинского бога, но, пошарив рукой за спиной, с облегчением понял, что со стены упала пила. А Тропкин все спал; он спал так крепко, что и разрушение мира не пробудило бы его.

— Тропкин, эй... дяденька! — тоненьким голоском и весь в испарине страха закричал Никитка. — Тропкин, проснись... — по-ребячьи стонал он, топая ногами, но безмолвствовал Тропкин, и руки его остались недвижны, точно устали карать нарушителей закона. Тогда Никитка ветром вырвался из сторожки, оставляя позади себя грохот и вой проснувшихся вещей.

Уже не соблазняла ночь на дерзость, и прожектор не нарушал плесневого ее покоя. Никитка проскочил двор и, ворвавшись в обжежитие, плечом припирал дверь, как будто мертвый Тропкин мог настигнуть его и отплатить за поруганье. Во мраке у окна, где стояла Харламчикова койка, скрытно тлел уголек папироски; это успокоило его. Шаря руками мрак, он пробрался туда и сел на край кровати.

— Дай курнуть, — тихо сказал он. Потом, взяв окурок из дрожащей руки Харламчика, он долго и неутоленно втягивал в себя непривычный дым. — А я вот на прожектор ходил смотреть. Ишь, играет! — Он кивнул на окно, но там было пусто. — Ты чего же не спишь-то?.. Ты спи.

— Мне тут сон снился... ангелы, — смутно начал Харламчик. Он никому не доверял своих мечтаний, скрывая их с той же тщательностью, как и ненавистное людям имя своего отца, и только это, явно ощутимое смятение Никитки понуждало его на откровенность. — И один все на скрипке играл... — прибавил он еле слышно.

Никитка не понял его порыва; ему показалось, что Харламчик нарочно выдает на осмеяние свою убогую тайну, чтоб хоть этим добиться его, Никиткиной, приязни.

— Они не играют на скрипках, — гадливо сказал он и, выплюнув папироску, стал снимать сапоги. — Знаешь... Тропкин умер. — Харлам-

чик оглушенно молчал. — Умер! Я в окно видал... — раздельно проговорил Никитка, и вдруг ему стало холодно и тоскливо с Харламчиком. Он был чужой, и мечтания его были чужды и непонятны. Он поднялся и с силой оттолкнул Харламчика в лицо. Тот покорно откинулся назад, не выказав ни удивления, ни ропота.

Держа сапоги в растопыренных руках, Никитка пошел к своей кровати. Он заснул сразу, и ему не снилось ничего, кроме звука. Будто все заострялось вокруг него, и где-то здесь, на острие, происходило рождение звука. Звук мучил; он был тоненький и очень гибкий. Никитка проснулся с головной болью. За ночь выпал снег; к вечеру его расточило дождем, но Тропкина увезли еще до обеда. Вся колония хмуро наблюдала, у окон, как грузили на подводу вчерашнее чудовище, негодное уже ни к какому сопротивлению. Имущества на телегу не клали, потому что кроме палки и котенка не было у Тропкина ничего.

Телега уехала, а долговязый Шарадам все еще суетился около сторожки. Никитка строгими глазами созерцал жирный след, продавленный колесом на снегу. Лицо его остарело; оно стало серо как у матери, когда уже умирала мать. Он с недоумением внимал внутренней своей суматохе, в которой копошился зародыш настоящего человека. Он испытывал пустоту и стыд, и кроме того ему просто жалко было Тропкина. Но он поборол в себе ребяческие всхлипы и ничем не выдал себя колонии, которая с трепетом взирала на него, как на сообщника непонятной Тропкинской тайны.

Дерево у окна казалось на снегу совсем черным. На нем сидела ворона, качаемая ветром.

Забытая ночь.

(Рассказ).

С. Заяицкий.

Я сидел под сосною на опушке леса и смотрел, как «отдыхающие» репетировали номер предстоящего вечером в «доме отдыха» кабарэ.

Актеры двигались на фоне желтого поля, ровно уставленного снопами.

Среди простора слабо стучали гитарные струны.

Молодой инженер пел:

За реал, что подала,
Помолился он за Клару.
Долорес щедрей была
И дала реалов пару...

Почтенный хирург-режиссер, стоя в стороне, всеми морщинами лица переживал песню...

— Больше радости, — кричал он «нищему», — Пепита, не зевайте...

Но Пепита та бедна.
Не имела ни реала.
Вместо золота она
Бедняка поцеловала!

Пышная терапевтичка сняла пенсне и поцеловала нищего...

— Торговец цветами, торговец цветами, — кричал хирург, — ну, чего зеваете, ей-богу!

За букет из красных роз
Отдал он все три реала
И красавице поднес,
Что его поцеловала...

— А розы вечером будут? А то с васильками ужасно неудобно получается...

— Будут, будут розы... Но больше экспрессии... Испания... ведь Испания!..

Вдалеке над полем поднялся дымок и что-то зарычало.

— Климовские с трактором возятся... Америка, а не Испания! Ха, ха!

Хирург отер пот со лба и вдруг захлебнулся летним восторгом.

— Я помню, мы эту штуку еще в одиннадцатом году ставили на юбилее Коноедова... Нищего тогда покойный Травин изображал... Вот Испанию, собака, запустил... Глаза выпучил, пыхтит... Но подумайте!.. была революция... чорт знает, какие годы... И вот опять... Донна Клара, Долорес и прелестная Пепита... Живучи мы, как черти...

— Пошли философию разводить!.. Надо, господа, еще раз репетировать... У меня мимика не удается. Зуб ноет!

— Сойдет... Но давайте еще... Я всегда рад!

Струны опять застучали:

Три красавицы небес —
Шли по улицам Мадрида...

* * *

Мне захотелось пить, и я пошел в деревню раздобыть молока...

Дорога повела меня мимо былого помещичьего гумна через заброшенный парк. Над прудом среди груды кирпичей белела одинокая, устремленная в ясное небо колонна.

В стороне на пригорке толпились кресты кладбища, а немного дальше виднелась деревня.

Я толкнулся в первую избу.

Старуха приняла меня ласково и полезла в подполье за молоком. Она одна была дома — все работали в поле.

В избе рядом с посудною полкой стояла александровских времен красного дерева этажерка с маленьким гербом на дверце. На ней лежали книжки старые с пестрыми форзисами: «Плутарх для прекрасного пола», два больших тома великой французской энциклопедии и еще какая-то исписанная записная книжка с цифрой 1919 на заглавном листе. Вот то, что я прочел в ней.

* * *

«Кошмар и ужас... Морозная ночь — осень, правда, еще только — но уж с сибирских тундр ползут легионы былых привидений и от их дыхания холодно и тоскливо необычайно.

Тоска сидит съежившись у меня на груди тяжелая, как мешок с рожью — не подняться, не пошевелиться. В соседней комнате во сне ли, на яву ли бормочет тетушка моя Екатерина Петровна — бредит лучшими временами, а может быть — вслух думает, чтò бы такое продать завтра. При свете неугасимой лампады различаю черный лик евангелиста. Евангелист пишет огромными буквами. Встаю, надеваю отцовский халат — вата из него торчит бакенбардами — и пишу. Поглядываю на евангелиста. Холодно. Подхожу к окну — темно. Там где-то огромная степь и по ней ползут черные змеи — поезда — ползут, останавливаются и хрипят в судорогах и звякают на весь мир ржавыми цепями. Сидит, свесив ноги — наган у пояса — путешественник и глядит в мрак, а из мрака ему подмигивает алое зарево и на кожаной куртке трепещут алые блики. Вот вся

Россия. Но странно не это. Странно то, что всем этим я почему-то втайне горжусь. Знаю, что там где-то экспрессы зеркальностенные и англичанин в шоколадной с шелковыми отворотами пижаме. Даже чувствую, как пахнет сигарой. И все-таки горжусь...

Не угодно ли — красное знамя на Notre Dame, и в Пантеоне всемирный совдеп под председательством Владимира Ленина...

На подоконнике рассыпаны, будто орудия пыток в Нюренбергском музее, приборы из проволоки и из гнутого металла. Вот этим некогда сбивали сливки, этим чеканили печенья и вафли. В магазинах продавали их и расхваливали почтительные приказчики и без них нельзя было пообедать. А теперь разве подарить их мальчишкам, чтоб пугали воробьев и галок? Так же на подоконнике всероссийского «окна в Европу» рассыпаны древние императивы, веками освященные обычаи, добродетели, пороки! Вздор. Вот старая коробка из-под конфет — на ней Козьма Крючков. Убил в конце июля 1914 года одиннадцать немцев и удостоился великой славы. А ткни он только как следует одного из немцев в начале июля или обругай поцветистей, так, пожалуй, посидел бы с пауками в карцере. Тетушка моя Екатерина Петровна стучит в стену:

— Саша, ты бы Роберта Францевича спросил, выжималку для лимонов не купит ли... Он в Париж едет, там это, небось, еще нужно.

Да, там это еще нужно. Там еще лимоны выжимают и «o, ma patrie!» кричат. Опять чувствую, как сигарой пахнет... Пахнуть бы на весь мир махоркой так, чтоб задохлись... Ведь это в первый раз, что русский Россией гордится...

* * *

— Нет, постой. Ты на вопрос мне отвечай... Ты воспитание какое получил?

— Ну, буржуазное...

— Да не «ну буржуазное», а говори просто буржуазное. Твой отец кто был?

— Капиталист.

— Хорошо-с... Теперь — подожди, дай мне сказать... Угнетал он рабочих?

— Угнетал.

Тетушка моя Екатерина Петровна, приготовляя печенья из разной гнили, качает головой: договорились.

Старик бегает из угла в угол, лавируя между мебелью, а я бледнею.

— И все-таки, как вы, дядя Петя, ни горячитесь...

— Не могу не горячиться... Ведь это уж чорт знает что такое.

— Как вы, говорю, ни горячитесь, и как это мне ни тяжело говорить про отца, но он, конечно, был эксплоататор.

— Молчи, молчи. Не раздражай.

— Он заставлял рабочих...

— На чьи деньги ты образование получил?

— ...работать по двенадцати часов...

Да ведь иначе ты бы с голоду подох, неучем бы остался.

В конце концов, если хотите, то воспитался я на деньги рабочих.

Ах ты, свинья эдакая!

Ну, если вы будете ругаться...

Да как же не ругаться? Отец для тебя все...

В данном случае неважно, что он мой отец..

Вот-с, Екатерина Петровна,—оказывается, нашим детям неважно, ıх родители.

т моя тетушка неудачно вступает в спор:

Говорят, Елизавета Тихоновна в тифу проговорилась, что ее ; от Алексея Федоровича, а от какого-то итальянского певца. то, оказывается, у него и голос такой громкий.

дя сердится.

Уж ваша Елизавета Тихоновна. Вот из-за таких-то и пошло все.

Неважно, что он мой отец, а важно, что он жил на счет рабочих.

Ах ты, цаца! А кто им больницу построил, кто им?..

Благотворительность — зло. Она препятствует пробуждению ре- ·нного сознания.

Да ты не партийный ли работник?

К сожалению, нет!

Ах, к сожалению, — ну, тогда прости. Я еще ни с одним коммуни- :толом не сидел. У меня сына красные убили... И чай с тобой пить '... Ленина приглашай... Я-то ведь думаю, что черное — черно, — бело... А оказывается наоборот

Да, именно, наоборот.

Тьфу!

дя уходит.

:ле его ухода тетушка моя Екатерина Петровна, опасаясь, как стал и взаправду коммунистом, пытается переубедить меня, рас- ı разные дневные происшествия:

Вот к Корочевым пришли двое какие-то, да комнату и отняли. ·рят, из совета... И такие грубые — страсть! В нянюшку из ружья ıись...

* * *

· сейчас смотрю на портреты, что стоят на столе передо мною. и небритый с длинными волосами студент — мой отец, когда он народ».

ом — длинноусый с пронзительными глазами гусар. Тоже мой ·да после убийства Александра II разочаровался он в революции ил в гусары.

тий — бородатый с руками, заткнутыми за пояс. Мой отец — тол-

наконец, четвертый висит на стене над диваном. Бритый седой с :ским искривлением рта джентльмен на фоне многотрубного и

многодымного завода. Таким я уж его помню. К этому периоду относятся многие в его жизни удивительные начинания: европеизация рабочих. Из Англии выписан был для образца здоровенный парень, ходивший в будничные дни в синей блузе, а в дни праздничные в пиджаке и белых штанах. Жил он в специально оборудованном коттедже, ездил на велосипеде и метал диск на лужайке. Все это при полном безделье. Из черноземной грязи слепленные мужики смотрели на него с почтительным страхом. К несчастью, скоро начал он пить водку и задирать девок. Нашли его однажды в канаве мертвым со штанами, завязанными вокруг шеи наподобие галстука.

Потом устроили огромный скеттинг-ринк и разбили теннисные площадки. Мечтали о том, чтобы все рабочие съезжались на завод на роликах. С этой целью приступили к залитию асфальтом проселков. Тут выяснилось, что денег нет. Обложили рабочих маленьким вычетом из жалованья, ибо все делалось для их пользы. Но совпало это с девятьсот пятым годом. Скеттинг — сожгли, а на площадках устроили гигантскую уборную...

Есть еще портрет «прекрасной дамы». Это моя мать. Увы, ее таинственные зеленые глаза всегда смотрели рядом со мной, через меня, сквозь меня, но никогда не заглядывали в меня. Вот и сейчас она смотрит куда-то в сторону. Как сквозь сон помню томного юношу вроде вандиковского Вильгельма Оранского, которому я — дитя — завидовал, ибо в его глаза часто глядели таинственные зеленые глаза. Потом переехала к нам на житье тетушка Екатерина Петровна, ибо прекрасная дама исчезла... Говорят, в Париже, на Пер-Лашезе, можно найти ее могилу...

Шептали, что отец уедет в Индию. В его кабинете появился стеклянный ящик с ужасной пятнистой змеей. Она раз убежала и потом ночью шуршала бумагою за шкафами...

Ее выманили молоком и убили.

Маленькая обезьяна — чорт — говорили в людской — бегала по комнатам, взбираясь по занавескам, гасила неугасимые лампады и качалась на них, как на качелях. Говорят, отец умер от гашиша. Я помню, как монотонное чтение монахини ночью над телом вдруг прервалось громким криком ужаса... Мы все побежали в зал, где стоял гроб. Монахиня в обмороке лежала на полу, а на груди мертвеца сидела обезьянка и, подняв ему веки, с любопытством рассматривала мертвые глаза.

* * *

Сегодня был пасмурный день. Я вышел на свой балкончик, прилепившийся к бетонной стене высоко над улицей... Деловые и мрачные мчались осенние облака целой толпой — одинаковые — будто торопились на некую небесную службу. Взмахнув железными крылами, застыл на кремлевской башне орел. Блестели среди зеленых и черных холмов крыш золотые и синие букетики куполов. В тумане вдали торчали воткнутые в землю гигантские спицы радиотелеграфа, и вздымалась рельсо-

стенная башня. Казалось, что где-то все время едет и шумит, не сдвигаясь с места, пустая телега. Шум этот то замирал, то вдруг явственно щекотал уши... Грянули вдруг трубы... Неужели сидеть и скорбеть о дороговизне и потом умереть в нетопленной комнате, слушая утешения, что через две недели все будет по-старому?.. Точно старый мир — это салоп, который посыпали нафталином и спрятали в сундук до будущего года... Беда в том, что нафталину теперь нигде нету...

* * *

Прочел в газетах, что в совет выбран между другими товарищ Григорий Ручьев. Когда-то мы восемь лет под-ряд просидели почти рядом, списывая друг у друга латинские переводы. Он презирал меня тогда за богатство, а я его — за бедность. Впрочем, он свое презрение показывал, а я стеснялся...

* * *

Он долго смотрел на меня с некоторым недоумением.

— С чего это вы? — спросил он меня.

Я начал сбивчиво объяснять, почему считаю сейчас позорным не итти с ними. Он долго слушал и вдруг усмехнулся. Я понял его мысли и покраснел.

— Вы не подумайте, что я из-за выгоды...

— Я и не думаю... Чудной вы народ — буржуи... Ну, я всю жизнь в тюрьмах сидел, у меня, кроме мешка с бельем, ничего не было... Вот таких жилетов, например, никогда не было.

Я посмотрел на свою английскую полосатую жилетку. На нем была кожаная куртка и галифе, тоже подшитые кожей.

— Азбуку бухаринскую знаете?

— Знаю.

— Голосом обладаете?

— То есть как голосом?

— Ну, говорить громко можете? Нам сейчас для деревни нужны агитаторы... Сейчас самый больной вопрос — крестьянский... Разумеется, одного мы вас не пустим, а это для вас будет пробой.

Вошла женщина в сапогах и тоже в кожаной куртке и с ней высокий с опущенными углами рта военный.

— Поругалась сейчас с публикой, — сказала она, — в особенности с Гороховым... Чего он обывательщину разводит?

Увидев меня, прищурилась.

— Это вот гражданин Оленев... вместе учились когда-то... Хочет быть нашим товарищем...

Женщина вскинула на меня косые глаза.

— Вы в Бутырках в девятьсот двенадцатом не сидели?

Ручьев усмехнулся.

— Он еще в тюрьмах не сиживал... Он, небось, в те времена больше по Кузнецкому с тросточкой.

Военный сел за стол.

— Был сейчас в ЦК, — сказал он с таинственной улыбкой.

— И что же?..

— Да кое-что есть...

Их молчание было оскорбительно и дерзко. Оно значило: «Вот уйдет этот господин, я и расскажу».

Ручьев проводил меня во двор.

— Знаешь что, — сказал он вдруг, — (ведь мы с тобой при царе-Горохе тыкались). Брось ты это дело... Куда тебе... Ведь вот ты сейчас в драном пальто, а сразу видно, что всю жизнь дамочек пирожными на балах угощал. Ведь это мы люди привычные. А у тебя небось всякие там любимые кресла...

— Но, ведь, я так дальше не могу жить.

— Понимаю... А только, если ты уж непременно шкурой рисковать хочешь, то я бы на твоем месте к белым пошел... Борьба классов... А там уж посмотрим, мы ли тебя метлой в Черное море сметем, ты ли — нас...

— Но ведь я ненавижу белогвардейщину... Я считаю, что старое восстановить немыслимо... Как же я могу?

— Преобразился еси на горе? Ну, ладно... Ты не сердись за откровенность... Хочешь с нами работать, изволь — работай...

* * *

Вернувшись, долго я смотрел на себя в зеркало. В самом деле видно, что всю жизнь пирожными дам угощал. Необыкновенно жутко и одиноко у меня на душе. Знаю, что не друзья мне эти с их «публикой». За окном воет осенняя вьюга, и обливает окна свирепый дождь. Чудятся когда-то родные и милые, раскинутые по миру революционной центрифугой... И тоже не друзья мне! «Бог. Царь. Отечество. Доблесть. Честь». Бедные! Бедные! Бедная тетушка Екатерина Петровна! Она вспоминает, как много было раньше сахару и масла в огромном ореховом буфете, и стонет во сне... Тянутся по мокрой степи черные змеи — поезда — и на весь мир звякают ржавыми цепями. Слушает это звяканье и морщится в «слипинге» клетчатый в пледе англичанин. Слушает и грызет ногти где-то в мансарде тамбовский помещик... «Большевики, думает, мерзавцы».

А, может быть, только ими и славны будут необъятные степи?

* * *

Легкий утренний морозец. В лужах словно битое стекло — льдинки — голубые от неба и желтые от листвы. Парк уступами нисходит к реке. Вместо помещичьего дома над прудом белая колонна, как перст одинокая, среди груды кирпича. Уцелела беседка — эрмитаж — каменная голая нимфа съежилась от холода в траве. Среди золотых листьев серая урна. На ней высечена надпись:

Все то, что ты любил в те радостные дни,
Под этой урной сев, припомни и вздохни.

Сажусь и вспоминаю.

Вдали расстилаются осенние холодные твердые от мороза поля. Пахнет здесь в парке сырою землею и гнилыми прошлогодними листьями. Пахнет старым миром благословенного императора. Какая грусть!

Мы двое суток ехали в теплушке. На тюках рядом со мною сидели люди и ругали меня, т. е. не прямо меня, а косвенно. Вот, мол, большевики то, большевики это. А я, ведь, без пяти минут большевик. Это я-то! Или: помещики, мол, то, да помещики это... А я, ведь, пять минут назад помещик... Это тоже я-то! Со мной приехал опытный партийный работник Ваня Воробушек — восемь лет сидел в Шлиссельбурге. Презрительно вежлив, но говорит мало — читает историю социализма. Говорят, кругом было много вспышек крестьянских восстаний. Я беседовал сегодня с некоторыми здешними жителями. Непроницаемы и на вид тупы, но ясно, что притворяются. «Вам виднее... Советская власть — это тебе не царь — до всего доходит... Жизнь теперь, конечно, аккурат. Вот только портянками пообносились, а достать негде... Опять тебе за каждой иголкой в Москву поезжай, и ту отнимают, а так очень всем довольны».

* * *

К вечеру ярусами покрыли небо стальные тяжелые облака. Поля дохнули холодом, и с печальным шумом наклонились в парке липы. Мы поселились в маленьком уцелевшем флигеле. Когда-нибудь жили здесь старушки-приживалки, вязавшие чулки и поившие молоком сонных кошек. От них остался еще здесь уютный кислый запах.

Долго беседовали с учительницей, худенькой бледной девушкой. Мрачная картина. Учительница боится нас и, видимо, не сочувствует. Должно быть, эсерка. Все тоскливо глядит в окно на тускнеющие поля. Как, должно быть, одиноко ей жить в этой темной глуши, далеко от железной дороги, под зловещий шум мертвого парка. Что-то забытое пробудилось во мне. Когда Ваня Воробушек вышел зачем-то, я тихо спросил ее:

— Вам скучно здесь?

— Как когда... — сказала она и, ясно, не хотела быть откровенной.

— Я ведь не большевик, — шепнул я.

Она изумленно взглянула на меня.

Необыкновенную нежность почувствовал я к ней, к этой одинокой в огромном мире девушке. Захотелось вдруг самого обыденного мещанского счастья где-нибудь здесь в маленькой комнатке с огромной печью. Затопить печку вечером и обнявшись смотреть в окно на темнеющие дали.

— Уезжайте, — прошептала она вдруг со страхом, схватив меня за руку, — сегодня из Климова приходили мужики... о чем-то с нашими

договаривались... Смотрите... В Климове двух агитаторов убили... Уезжайте пока до ночи...

Я посмотрел в ее большие испуганные глаза и поцеловал руку, лежавшую на моей. Бедняжка! Как задрожала она, как затрепетала. Ах, какое дело мне до этих темных степей! До этих людей с всклокоченными бородами. Своего, своего тихого счастья нужно мне, и не безумен ли был я в тот миг, когда позавидовал могучим рукам, потрясающим основы вселенной...

Ваня Воробушек вошел в комнату и насмешливо взглянул на меня и на учительницу.

— Темная здешняя сторона, — сказал он, — народ глупый, не знает куда ему ткнуться. Придется попотеть. Отряд вызвал. Что-то не едет...

И он вынул и положил на стол револьвер.

Учительница ушла, испуганно снова поглядев на меня. Я видел, как прошла она мимо окна на фоне блеснувшего вдали багрового неба и оглянулась, будто напомнить хотела о чем-то. Потом скрылась в парке.

Воробушек раскрыл «Историю социализма»

Счастливец!

* * *

Сейчас, когда я пишу это, он сидит спокойно и при свете огарка читает. Иногда складки собираются у него на лбу, словно удивляется читаемому. Тогда на секунду отворачивается он от книги и глядит на черное окно. Мы сидим с ним в одной комнате, но нам не приходит в голову заговорить... О чем? Он сознательно отрезал и передал в партийный комитет свою волю. Он чувствует себя колесиком в гигантской машине; он знает, что и после его смерти будет она шуметь и извергать пламя, только одно колесико заменят другим. А мне (теперь я чувствую это) нужно своего счастья, хотя бы маленького, как эта комната, и скромного, как худенькая учительница... Мне страшно. Воробушек внезапно перестал читать и, устремив взор в окно, стал напряженно прислушиваться... Вдруг он вздрогнул и схватился за револьвер... Да, это безусловно не парк шумит...»

* * *

На этом кончалась запись. Я взглянул в окно и чудно мне было увидеть залитые солнцем желтые поля... Где-то теперь она — та темная осенняя ночь?..

Старуха охотно продала мне записную книжку...

Я вышел из деревни, быстро прошел мимо развалин и с холма увидал, что скорее дойду до шоссе, если пройду прямо через кладбище.

Переходя через кладбищенскую межу, я повстречал женщину, худую и бледную, печальные глаза которой напомнили мне что-то... Кресты сгнили и покосились, древние в форме гробов камни покрылись мохом, и славянская вязь на них слилась с летописью тления. Около

дороги удивил меня необделанный камень с побуревшей когда-то красной пятиконечной звездой. На камне написано было:

Товарищи

Иван Зноев (Ваня Воробушек) и Александр Оленев.
Убиты в 1919 году восставшими кулаками.

А на земле среди зеленой травы, выросшей на холмике, синел пучок свежих только что сорванных васильков.

Я оглянулся. Худая женщина все еще медленно шла по дороге. Но небо было голубое, и золотистый туман трепетал над полями.

Пушторг [1].

(Роман).

Илья Сельвинский.

Глава VII.

Глава VIII.

1—6

7.

У ног президента дог «Оуэй».
Кук писал. Поверхность стола
Дымчатой толщей стекла отражала
С хвостиками горностайные брови,
Детский портрет и античные тела.
В камине с треском угасло жало,
И, встав, чтобы снова разжечь его,
Он уставился на вошедшего.

8.

«M-r Poloujaroff, — сказал он, — n'est ce pas? [2])
Enchanté de fixer ce premier pas
Qui me fait possible de serrer votre main
Et de complimenter vos actions «glcrieuse».
— «Ncs victoires sont assez dcuteuscs».
— «Oh! Nous, sommes assez fine-mcuches
Pour distinguer dans la poix farcuhe
Le succin bouillon de votre demein».

---

[1]) Окончание «Пушторга», как и начало, по недостатку места, помещается с рядом сокращений, указанных в тексте точками.

[2]) — Господин Полуяров? Не правда ли? Я счастлив приветствовать этот первый шаг, дающий мне возможность пожать Вашу руку и выразить уважение Вашей славной деятельности.

— Наши победы очень сомнительны.

— О, мы достаточно опытны, чтобы увидеть в желтой смоле — бульонный янтарь Вашего будущего.

9.

«Vous êtes un artiste». «Seulement gaulois». [1])
При этом в поклоне мистера Джошуа
Вылезла американская прошва.
— «Vous me prouvez encore une fois [2])
Tout la finesse du génie français
De son esprit et de ses pensés».
— «Hélas! Mon métier de foureur me ramène
Souvent a des songes de la race sibirienne».

10.

Однако уже через несколько фраз,
Забыв о «грезе сибирских рас»,
Телефонограммой пушной король
Отправил депешу в Париж,
Где колкие «К» (Мэк, Кроль)
В плавных «Р» (Рамон, де-Риш)
Свелись к четырем нулям, ибо Джошуа
Своим овчаркам платил недешево.

11.

Но пока вопрос о директории Онисима
Будут якобы утверждать,
Кук доставал ему паспорт и визы;
Сам же Полуяров бездельничал в гостинице,
От всех друзей получая гостинцы,
Из которых лучшими были письма
По всей вероятности от девицы:
Первая примета отсутствие дат.

12.

Ночью, от электричества палевое,
В дымном баре лицо Онисима
У кадки с мохнатой сигарою пальмы
Нависло над бездной застегнутой тени,
Полуотвернувшись от всенощных бдений
Эстрады с маленькими актрисами,
Под цокот дождя и видение лошади
В странной тоске о сахаре и злости.

---

[1]) — О, да вы артист.
— Только француз.

[2]) — Вы еще раз убеждаете меня в тонкости французского гения, его остроумия и мысли.
— Увы — мое ремесло меховщика заставляет меня мечтать о сибирской расе.

13.

Дней через 6, получив бумаги,
Онисим ехал в Константинополь.
В Москве на вокзале он виделся с братом.
Тот говорил о беде с аппаратом,
Отсутствии снега, о черной магии,
Какою Кроль даже Гая ухлопал,
И получил, удивившись слегка,
Пакет: «До востребованья. А. К.».

14.

Сутки Онисим ехал один,
Отлеживаясь на верхнем матраце.
В Харькове сел густой гражданин
Из черной пары и желтых ботинок
Очень широкий в плечах. На руке
Вытравлена акула в реке.
Поговорили сухо и вкратце:
Фамилия попутчика была Лошадиных.

15.

Под Мелитополем в красном агате
Спального фонарика играли в кун-кэн.
Полуяров плошал. Воображенье изуверца
Путало счет и вставало кто кем:
Четверка треф казалась гатью,
Где в снеге загружен тигровый прыг,
Галочьей стаей семерка пик,
А туз червей — увы, собственным сердцем.

16.

На станции «Гуляй-Поле» Онисим
Всматривался в темноту. Гулял
Махновский хохот, и дикая степь,
Седея туманом, встречала гостей.
«Правда ли, — произнес он, — что здесь
Был, так сказать, всебандитский съезд,
На котором застрелен каким-то киргизом
Узнанный большевик Улялай?»

17.

Лошадиных мрачно захохотал
И ногтем стал по зубам барабанить.

Поезд тронулся. Между отар
Овец и коз в товарных составах
Жужжали курганы, кружились горбами;
Навстречу рельсами, свистя в суставах
Дула с моря по обе стороны
Влажная еще от крови история.

18.

Онисим лежал и смотрел в окно.
Фонарь мигал внутри и снаружи.
Сильней и сильней нагревала уши
Душная сухость паровых труб.
В мокром поле было темно.
Онисим думал о страшных тайнах
Здесь похороненных, об отчаянных
Битвах, о зимних походах — и вдруг...

19.

Черные всадники с буйных коней
Во всю темноту из конца в конец
Со свистом, свойственным пике и гону,
Вдруг поднялись к вагону, к вагону.
Один с обожженной дырой во лбу
Припал к стеклу червивостью губ:
«Поручик Байков. Застрелился в бою.
Прошу, разыщите старуху мою».

20.

Другой с горлом, зиявшим, как рот,
Хрипя забульбулькал: «Мамаев, компот.
В бою проморгнул я секунду литую —
Прошу, разыщите мою молодую»,
Со свистом и воем давая гону,
Во всю темноту из конца в конец
Неслись, неслись бурьяном к вагону
Мертвые всадники с буйных коней.

21.

Онисим как зверь застонал и очнулся:
Морская синь, золотясь как бульон,
Варила солнце в себе и сама
В нем испарялась. В лазури зима
Увязана в снежное облачко. Улицы

Мягко раздували солдатское белье,
Бастионы, броненосцы, последний тополь —
И поезд шепнул: «Тсс... Севастополь».

22.

23.

Там у мола западной гавани
Важно готовился в дальнее плаванье
Осевший на кóрму черный отель
С белыми буквами имени «Reef-Rok»
С красным килем в латинских цифрах
Играющим под водою как жидкость.
Груз его — мясо, сало, жито,
Соль, меха и ель.

24.

И вот растаял последний удар,
Последнее русской страны условие.
На палубе турки типа дюшесс,
Контрабандой заткнутые вплоть до ушей,
Евреи, едущие туда,
Где Ройтман теперь уже мистер Роут
И где, как известно по южной пословице,
Рыба сама заплывает в рот.

25.

На самом дне — от салона диванной,
Где пианола и столики шахмат,
По коридору двери кают.
Медь нумерации, жаром упарив,
Отсвечивала пароходный уют,
Напоминающий праздность ванны
Каюта 4 — «О. Полуярое».
№ 5 — «Лошадиных, Ахмáт».

26.

Оба дипкурьера держались на струне,
От всех и каждого в стороне,
Не исключая того же Онисима.
Последний в свою очередь держался независимо,
Тем более, что Лошадиных, встретясь, прошел,

Кивнув головой, но избегая расспросов.
Медь нумераций, золото разбросив,
Осыпала самоварный порошок.

27.

Онисим спустился к себе и лег,
Предчувствием качки заранее измотанный.
Он взял юмористический журнальчик «Блестки»
В ажурных окружностях чайных пятен
От донышка чашки (он был опрятен).
Но вот его глаз ухватил диалог:
Дитя: «А зачем у тигра полоски?».
Мать: «Оттого, что в клетку немодно».

28.

Как зданье в тумане, вмиг озарясь,
Становится четким в любой детали,
Пушторг в своих стеклах, бетоне и стали —
Надежда столицы, надежда зырян —
Качнулся в каюте, просвеченный стулом.
И Полуяров, к плескам и гулам
Вмиг равнодушный, порывисто встал...
Но зданье оплыло и верх засвистал.

29—31.

32.

Вдруг — дверь. Трое в масках
С маузерами — у каждого два.
«Руки вверх. Ваше оружие».
Он поднял руки и сел на диван
С неощутимой нервной гримаской.
«Это не тот». Вышли. Снаружи —
Пауза. И сразу — раз. Ра-раз.
Он, подняв руки, сидел и тряс.

33.

Но вмиг озарило: нумеро 5
Дип-дип ура-курье... Опять:
Раз. Как лебедь, дверь улетела.
С дикой хищностью желтых рас
Он прянул на маски. Раз. Раз.

В сердце темно... И огромное тело
В темном поле, где мчались полки,
Пало, закатывая белки.

34.

Он содрогался, стегая хвостом,
Рыжим хвостом в черных квадратах.
Один, двенадцать, пятнадцать, сто.
И мрачно рычал и рыдал: «Скорее
Не было ль у вас белорусского еврея?».
Никого не было. Тогда он стал краток
И звал Онисима за собой вниз:
«Кис-кис-кис-кис».

35.

Стало неестественно легко и приятно.
Так вот она, смерть. Но уже поутру
Он с неудовольствием очнулся в опрятной —
Амбулатории. «Помог же вам бог.
Контузия сердца и обожжен бок».
Но «Reef-Rok» ревел изо всех своих труб,
Волна утоляла над пеною опыль —
В жемчужине лился Константинополь.

36—43.

44.

Онисим не слышал. Онисим залег
С бешеным сердцем на две недели.
Он вслушивался, окликал «Аллс»,
Но вскоре шумы ему надоели,
На третий день компресс полетел,
И ночью в кафэ он читал бюллетень:
«Лошадиных убит. Ахмату хуже.
Кто-то из пассажиров контужен».

45.

Унизанный бриллиантами, город
Россыпью евразийских дорог
В беспамятстве ночи играл цветами
За ювелирными стеклами стен.
Манжеты и зубы негров витали
Без рук и лиц между пестрых гостей.
В углу отдыхало оружье джазбанда
И пахло сигарами и контрабандой.

46.

Были здесь греки, были французы,
Англичане, американцы,
Но Полуяров, забыв о контузии,
Не отрывался от русского столика:
Там за черною гущей востока
Средь ветхих споров о Марксе и Канте,
Отдаляя все голоса,
Сияли северные глаза.

47.

Вы помните, читатель, женский портрет
Романтических поэтов: алебастровая маска,
Где волосы из золота или из ночи,
Сапфирно-изумрудно-агатовые очи,
Достойные разве только мазка
Леонардо да-Винчи и Айвазовского —
И вся она тень, видение, трепет,
Гаданье из женского воска.

48.

Этого сказать о незнакомке нельзя:
Она была прехорошенький мальчик,
Одетый в пушистое женское тепло;
У ней с деловитой морщинкою лоб
В римской челке и пористых смальцах,
Немного расставленные глаза,
И наконец отпустил ей всевышний
Вздернутый рот, как черные вишни.

49.

Я мог бы, конечно, вас угостить
Перчаткой из золотистого шелка
С пальцами, где процарапана щелка,
С черными кантами у кости,
С кисточкой точно на ушах рыси,
С пуговицей, где отбито «Лариса»,
С запахом выдуманной весны,
Где мифология, где сны.

50.

Я мог бы вспомнить карандаш Дорэ,
Изобразить, как с зубами в дыре,
Надушенный шипром вьюгой песец

Опенивает полудетские плечики,
Порассказать о родинках, или
Дать ее ножки из тех, что бродили
На полях пушкинских рукописей —
Мог бы конечно — да делать нечего...

51—55.

56.

Скажу лишь одно: если б сторож Архип
Надел на Венеру платье плиссе
С фестоном в оранжевой полосе
И шу по коленям (намек на штанишки) —
Она б на фокстроттах читала книжки:
Перси и лядви сданы в архив,
И архи-божественная жена
Просто немодно теперь сложена.

57.

Иное дело моя незнакомка:
Когда в объятиях заматерелых
Под бац и цокот цимбальных тарелок
Она выводила лисью тропу —
Завидя осевший бретель ее — пусть.
Жест ее, синкопически-ломкий,
Грацию чарльзстонущих ног —
Сам Фидий схватил бы ваяльный клинок.

58.

Онисим смотрел, напряженно силясь,
Почти гипнотически. Вот ее облик
Стал удлиняться, брови скосились,
Рыжие крылья скобок и чуб
Срезали щеки к углам губ,
Их Полуяров горечью облил,
И сквозь оттаявшие черты
Выступило сокровенное — Ты.

59.

Глава IX.

1.

Кроль счастлив. Британский солист
Сэр Чемберлэн посвятил нам ноту,
Если не очень похожую на оду,
То в области пафоса с нею о-бок.
Ученый кот семьи «твердолобых»,
Омывши лапки о желчную слизь,
За судейскую цепь выдавая ошейник,
Отказывал нам в торговых сношениях.

2.

Остя неумолим как танк.
В момент забастовки горнорабочих,
Когда, чтоб заткнуть торговый изъян,
Он двинул в шахты парк обезьян,
И те разбежались — в какой-то из бочек
Был найден главный оранг-утанг,
Который, представясь полиции видов,
Вдруг оказался критик Левидов.

3.

И здесь Коминтерн! Под горный рявк
Заказы на уголь полурастеряв,
И тем возродивши Силезию и Бельгию;
В Лиге спев сантиментальную элегию:

«Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля»...

(От которой поперхнулись румын и поляк.)
На крыше политики любитель романса
Затянул арию кота из Ламанча.

4.

И русские мельницы (которые, к тому ж
Имея в Париже агентуру — «Мулен-Руж»,
Мерещились красным империализмом),
Русские мельницы жуя понемногу,
Глазели по прибывающим письмам,
Как в колоратуре возмущенных икот
Хвостатый и черный дон-кхе-Кот
В цилиндре и монокле перебегал дорогу.

5.

6.

И Кроль счастлив. Его восторг,
Основанный на том, что при нем Пушторг
Почти оторвался от Англии и Штатов,
И значит козырь Онисима бит —
Дошел даже до расширения штатов.
Сейчас он герой. Полуяров забыт.
Он ждет повышенья. И правда — не кстати ль,
Родной, архитектор, зав, председатель.

7.

Вот он сидит с женою в такси,
Капризничая от счастливой тоски,
И раскисает. Ах, если б в Аткарске
Могли его видеть Рубинчик и Барский,
Эти несчастные часовщики.
Там помнят его золотушным мальчишкой —
И вдруг он в упитанном лоске щеки,
Будто жилет из химической чистки.

8.

9.

На самом любимом пункте оратора
Такси остановился у Большого театра.
Кроль расплатился, помог сойти
И с самой серьезной походкой Макс Линдера,
С лирикой мокрого от блеска цилиндра
(Которого не было) в крик «Осади»
Стал подниматься. Сияло синим:
Давали «Любовь к трем апельсинам».

10.

Двух вещей Лев Семеньч не выносил:
Во-первых, мертвецов и, во-вторых, музыки.
Надменно-мудрый игнорирующий труп
И патетический звон труб
Его приплющивали. Маленький, узенький,

Усвоивший истину меж трех осин,
Он опасался, что вдруг без акциза
Может явиться тень скептицизма.

11—13.

14.

Вот почему, симулируя кашель
И сунув три апельсина Саше,
Кроль укатил. Он больше не мог.
Прожди он в машине еще немного,
Он увидал бы знакомый мох
Жениных ботик и нечто двуногое.
Скрыв лицо от метели, оно
Об руку с Сашей мчится в кино.

15.

Но Кроль уехал. «Что ей во мне?»
Он знал, что Саша не претендовала
На его время. Он не кутил,
Но не терпел на себе удил
И сам не накладывал их. Годовалый
Опыт внушал лишь в звоне монет —
Смех и счастье истинных женщин,
Как бы ни воспевал их Шеншин [1]).

16.

И Кроль уехал домой. В дренаже
Семейных язв он зубы проел:
«Жена» это в сущности то же, что «на же» —
На-же, на-же, на, жена.
Правда, схема обнажена,
Но истина с бородой от Адама
Нам является только с годами.
Что есть мудрость? Осенняя прель.

17.

Правда, мысль эта мэковской пробы,
А Кроль, несмотря на осень, не прел.
Но как хотите — все-таки пред
Обязателен к сведенью и руководству.
Но как бы и где бы Кроль ни юродствовал —

[1]) Фет.

Он превосходнейший семьянин:
Он строил сынишке дредноут из пробок
И просто рыдал, когда тот семенил.

18.

Маленький Алик звался — Леваль:
Папаша Лев, а мать — Александра.
Мордаха его такова: овал...
А, впрочем, стоит ли? Вырастет — изменится.
Он рос на сахаре да на вареньице,
Благо, у мамы дома хандра,
Самый свободный по времени сон,
Зато хорошенько вычищен нос.

19.

Впрочем, считалось, что воспитанье
Он получает вполне современное:
Отменены углы и ременья,
От папы получен широкий мандат
На часы, ножницы, том «Капитала».
И Алик усвоил властное — дать.
И рос и рос, и теперь на свете
Ждут своей участи звезды и ветер.

20—28.

29.

Но что это? Кроль побледнел. В лихорадке
Упал на стул. Задрожала икра.
Ужели разгневанная игра
Пера моего его потрясает?
Ужели я плохо продумал характер?
Ужели мой белонегрый красавец
Эти филиппики взял на себя?
О, если бы в Кроле ошибся бы я.

30.

Но нет. Рисунок по общей канве
Я вычертил верный. Над черной шкатулкой
С японской мимозой и музыкой гулкой
Нервно прыгающая рука

Еще расправляла белый конверт,
Где в самое сердце запекся корнями
До боли знакомый орлистый орнамент:
«Москва. До востребованья. А. К.».

Глава X.

1.

В Пушторге сенсация: Кроля супруга,
Наслушавшись Брага и Брамса и Бруха —
Ушла от мужа, и он несчастный —
Буквально перья из головы.
Нет, вы подумайте. Этого мало:
Вы знаете, кто здесь герой романа?
Ну, отгадайте. Как будто бы ясно —
Скажете: Полуяров? Увы...

2.

Саввич. Не ожидали? Хи
Вы были от этого далеки
Не менее Кроля. Свирепая ярь его
Скорей примирилась бы на Полуярове —
Все-таки марка. Все же не зря.
А тут — гимназист. На губах молочишко.
Его, е-го... замещает мальчишка.
(Чуть не сказал — десятый разряд.)

3.

Кроль бесновался, патлатенький, обрубленький;
На кончике носа сидело окно...
«Она с ним ходила по всем кино
И наверно жила. Наверно, наверно —
Я говорю совершенно уверенно.
(Из горла брехнулся собачий лай.)
Саввич. Заведующий крысами республики.
Ха. Позор. Божже мой, айяяй».

4.

Гуров печально прихлебывал кофе.
Посреди комнаты зеленый сундук
И никкелем обитый желтый коффр
Укладывались полдюжиной рук:
Блох, Поповский да Настя старались —

Дамские сорочки, трико, халат,
Лифчики, блузки, даже анализ —
Все отправлялось на пушной склад.

5.

Пускай теперь придет за вещами.
Ушла в одном платьице — думает, пришлет;
Он очень извиняется, но сердце его лед.
Кроме того: инструктор Казаров
Командирован отделом товаров
Сегодня ж в Аткарск изо всех ног,
А с ним на родину Кроля сынок.
(В жилете грозное чревовещанье.)

6.

Третий день как Саша у Саввича.
Но неизменно, проснувшись рано,
Думала с сердцебиением душным:
Что Кроль? Как он там с ужином?
Помнит ли, что в аптечном шкафчике
Стояла тарелка с холодной бараниной,
Ключ за рамою корабля,
Молочнице долгу — четыре рубля?

7.

Затем разбирала письма домашних.
Вот, например, хоть это, от брата:
«Дура, скорей возвращайся обратно,
Подумай о маме». Отец писал:
«Умереть бы мне легче, чем слышать о шашнях
Единственной дочери. А этого пса...».
И, наконец, роковая депеша:
«Бывший дядя Андрей Бекешин».

8.

Но пес был чуток. — Телеграммы
Бедный Павел ни в жисть не проспит.
Он себя чувствовал гнусным убийцей:
Как он смел, как смел он влюбиться?
Обречь ее плечи всей этой драме.
И он, чтоб загладить горечь обид,
Играл в барам-бук и плакал: «Засмейся ж».
Так открывался медовый месяц.

9.

Сегодня Павел ушел в Пушторг,
И Саша могла наплакаться вволю:
«Я, господа, никого не неволю —
Позвольте ж и мне прожить, как хочу,
Маленькой радостью собственных чувств.
К чему же весь этот родственный торг?
Вам-то от этого что на свете?».
Но гардероб ничего не ответил.

10.

Это успокоило. Саша встает
И берется за трубку: «Замоскворечье.
1—17. Нюша? — Да, да.
Спасибо, родная. — Да, как всегда.
Что Алик? Не слышу. — Как? Резче...
Ну... Ну... Что ты, что т...
В Аткарск? Одного? На целое лето?
Скажи ему, Нюша, что это, что это...».

11.

12.

Что ж теперь делать? Вечером поезд,
А в доме ни гроша. Занять, но где?
Гуров? Еще бы. Картышев разве?
Нет, неудобно. Тогда у Тарасовой,
Но нужно поведать ей всю эту повесть.
Нет, надо искать идей
В столбце объявлений. И шесть газет
Она обыскала от «а» до «зет».

13.

И чудо пришло. Канюля (литая)
Вводится в вену донору. Кран
Сперва открывается в сторону ран,
Кровь отсасывается, потом
Пятидестиграммовый шприц глотает,
И вена стягивается бинтом.
Закон Мосса. Техника Эллекера.
Плата 40 и помощь лекаря.

14—29.

30.

Пашка летел домой. Автобус
Наматывал улицы в четыре колеса.
На каждой станции Пашка вылезал.
До того торопился. Вконец угробясь.
С глазами веселыми точно берилл
Пашка гаркнул еще с перил:
«Алло. Алло. Не менее, не более —
Ночка Бессонная выходит за Кроля».

31.

Увы, он вернулся домой, когда
Жена с забинтованными плечами
Уже отъезжала. Записка. С печалью...
... Алик. Какой еще Алик? Ах, да.
Так-так. Он знал, он предвидел заранее
И вдруг вздрогнул: в комнате гость.
В медвежьей дохе, огромный как стог,
Седой как луна, восседал зырянин.

32.

«Онисим Кондратьич». Они обнялись.
«Мне рассказали о вашей истории.
Но не волнуйтесь — право, не стоит.
Лучше внушите вы своей паве,
Что Кроль велик, но и мы не нули-с.
Я вас устрою в два счета». Но Павел
Ответил раздумчиво, как неврастеник:
«А где же Саша достала денег?»

33.

Он сбегал к соседке. Вернувшись с отдышкой,
С жизнью, которая размозжена:
«Она продала, понимаешь, она...»
Схватил было нож со стола, да бросил
И выбежал. Гость огромно сидел,
И комнатка в нем колотилась крышкой,
А он лениво жевал папиросы
И медленно на глазах седел.

Глава XI а и XI б.

Глава XI в.

«Читатель, за героев я своих
Перед тобой ответствовать не стану».

Байрон.

1.

Но чем бы ни кончилась литера «б»
Боа-констриктор верен себе —
В литере «е» конец несомненный.
Критик розовый: «Как ваше мненье?».
Красный критик: «Роман хоть куда,
Вполне достойный любого констра.
Но что, милый друг, если это контра?
Да и лихая. По ком здесь удар?».

2.

Розовый: «Не думаю. Такие люди есть».
Красный: «Пусть. Но его ли это дело?
А где же РКИ? Ревизионная комиссия?
Ячейка, наконец? А дикие мысли
Насчет ленинизма? А самый трест?
Где он его видел? Сотрудники отдела
Какие-то чучела навязчивых идей.
Но где он видал подобных людей?»

3.

Розовый: «Это ведь стиль гротеска.
Не всем же писать, как Сергей Городецкий.
О стилях не спорят». Красный: «Стиль...
Но служит ли стиль этот пролетарьяту?
Он слишком различное совместил,
В нем очень много желчи и яду,
В нем, если хотите, эзоповский сказ.
Нет. Это не наш заказ».

4.

Дурак (напряженно царапая темя):
«Гм. Итак, по этой системе

Я выхожу значит номер один.
Вот так штука. Нужно стараться
Читать календарь; хотя бы и вкратце;
Как № 2-й (умен господин).
«Читать надо все, — говаривал Бисмарк. —
Я даже читаю чужие письма».

5—8.

9.

Первый поэт: «Это явный упадок».
Второй поэт: «Он до прозы падок».
Третий поэт: «Глагольною рифмой...».
Четвертый поэт: «...он не брезгует, хи».
Пятый поэт: «А Дант — педант?»
Шестой поэт: «У меня — в шляпе Дант».
Седьмой поэт: «Скоро он логарифмы...».
Восьмой поэт: «...перепрет на стихи».

10.

«Жорж, вот тут неплохой анекдот;
Один армянин увидал жирафа...».
«Серж, погоди, не то уйдет:
Приходит Мотя требовать штрафа:
Семь лет назад какой-то мот
Сказал про Мотю, что он: «Бегемот».
Семь лет назад? И ответил Мотя:
«Я только вчера увидал бегемотя».

11.

12.

Некто с льняною бородкой: «Ну, как?».
Член ЦК совработников: «Прекрасно.
Идея трагедии беспочвенной личности
По-моему проведена отлично».
Льняная бородка: «И это все?».
Член ЦК: «Его стиль высок».
Бородка: «А дальше, дальше никак?».
Член: «О, это все приукрашено.

13.

Позвольте мне, как члену ЦК,
Заявить официально, что этого не было.
Я в романесках всей этой небыли,
Изобретательных и летучих,
Вижу открытие новеньких штучек,
Какими заняты поэтские цеха.
Напрасно искать каких-то шагов нам
Там, где царит несомненный Гофман».

14.

Льняная бородка: «Ну! уж извините:
Этого замалчивать нельзя.
Газетная сатира данного стиля
Имеет глубоко реалистические нити,
Далекие от провокационных лисят.
Я удивлен, что вы их упустили:
Все эти факты были и есть.
Но центр тяжести даже не здесь.

15.

16.

Автор: «Сатира или романс,
Кубок за друга, битва ли ворогам?
Масонский ли знак конструктивных гвоздей —
Сердце поэмы ищите не здесь:
Подумаем: как же нам быть с «Пушторгом»,
Который сквозь призму любого «изма»
Должен доплыть до социализма».
Так кончается этот роман.

Англия в борьбе за гегемонию.

Назыр.

В английской политической печати наших дней начинает выдвигаться новая теза, — будто Средиземное море утрачивает свое значение для Великобритании. Экономические, политические и даже военные интересы Англии, по утверждению некоторых ее публицистов, направляют внимание Британии гораздо более в сторону Атлантики.

Здесь не имеется в виду подробно анализировать это положение. Несомненно, оно весьма симптоматично, — в особенности, в связи с наблюдаемым ростом англо-американских противоречий, несущим в себе угрозу прямого конфликта между этими антагонистами. Не лишено оно характерности и как диверсионный маневр Англии, старающейся отвлечь международное общественное внимание от истинной роли ее в обостряющейся борьбе из-за господства в Средиземном море. Неоспоримым остается факт, что Средиземье доныне сохраняет для Англии всю свою важность. Это не только путь к колониям и доминионам Великобритании на Востоке. Это — морской бассейн, побережье которого представляет для английской экономики совершенно исключительный и притом все возрастающий интерес.

Известно всем, что доминионы и колонии Великобритании уже вступили на путь хозяйственной эмансипации от своей метрополии. Развивая собственную промышленность и торговлю, они захватывают рынки, ранее принадлежавшие Англии; с другой стороны, они предпочитают покупать нужные им товары у ближайших соседей, как Япония или Соединенные Штаты. При этих условиях Европа и Африка приобретают для английской экономики чрезвычайную жизненную важность.

Однако, Европа — без России — стала тесна. К тому же она изнывает под тяжестью военных долгов, бьется над стабилизацией своей колеблющейся валюты. Пытаясь подняться на ноги, она ищет облегчения в международных картелях, синдикатах, банковских концернах, таможенных соглашениях, экономических конференциях своих индустриальных держав. Этот процесс внутреннего сращивания промышленной Европы грозит Англии новыми опасностями. На континенте Европы для английской индустрии возникает сильнейший конкурент.

Взоры Англии, естественно, обращаются на Средиземье. Это, собственно, ни Европа, ни Африка, ни Азия. Европа, как говорит автор одной

из новейших французских работ по международной политике, — кончается на Альпах, Пиренеях, Карпатах. Африка и Азия начинаются в царстве пустынь. Средиземье, — со своими скалистыми берегами, глубокими бухтами, прибрежными рынками, лишенными связей с внутренними областями материков, — особый, замкнутый мир, естественная добыча мореплавателей. Здесь искони рыскали, грабили, торговали морские волки: финикияне, норманны, венецианцы, генуэзцы, англичане. И здесь Великобритания ставит свои сторожевые посты: Гибралтар, Мальту, Порт-Саид.

Средиземье, сравнительно, свободно. Здесь до поры до времени Англия не встречала сильных конкурентов. Французская промышленность, после войны, получившая сильнейший импульс, не мешает Англии снабжать средиземный юг уэлльским углем и ланкаширскими текстильными товарами. Лишь эпизодически появляются здесь американские или японские пароходы, завозящие товары, которые для Англии не представляют интереса.

Кругом — или слишком старая, застывшая, или чересчур молодая культура, легко подчиняющаяся промышленной гегемонии Англии. Португалия, Испания, Греция, Египет, даже Сирия — естественные и привычные данники англичан, без возражений оплачивающие то, что привозят им из Ливерпуля, Кардифа, Ньюкестля.

Однако и Средиземье становится тесным. И здесь возникает конкурент.

Италия, обделенная естественными богатствами земли и ее недр, захлебывающаяся избыточным населением, развивающая собственную промышленность до размеров «слоновой болезни», стихийно выходящая из своих берегов, — становится в Средиземье лицом к лицу с Англией. Она вытесняет англичан с болгарского рынка. Она успешно конкурирует в Юго-Славии с державами Центральной Европы, отодвигая Англию на четвертое место в ряду импортеров. В торговле с Турцией она со своим коммерческим флотом занимает первое место, вдвое превосходя тоннаж английских судов, посещающих турецкие порты. Угрожая торговой гегемонии Англии, она проникает в порты Сирии, Египта, Арабистана.

Куда же кинуться Англии? Латинская Америка захвачена Соединенными Штатами. В Азии укрепляются японцы. Европа экономически консолидируется и замыкается. Собственные колонии и доминионы освобождаются от хозяйственной зависимости от Великобритании. Нужно, во что бы то ни стало, удержать за собою Средиземье. Для этого необходимо отвлечь в другую сторону внимание конкурента — Италии. Италия бросает взоры на северо-африканское побережье, на африканский восток, на турецкую Малую Азию, на Балканы. Тем лучше. Не нужно ей мешать. Более того: пусть она развивает свои планы. Ведь это — музыка будущего. И вот Англия снисходительно выслушивает проекты Италии об ее экспансии на Восток.

30 сентября 1926 г. состоялось свидание Чемберлена с Муссолини в Ливорно. Здесь были регулированы дела, касающиеся Ливии и Сомали. Договорились относительно границ Джубаланда, положения в Абиссинии, охраны Красного моря, режима в портах Арабистана. И снова, как то было в 1899 г., попытались условиться об общей линии в отношении мусульманского мира.

Уже с 1911 г. Италия протягивает руку к средиземноморским владениям Турции. Накануне балканских войн, она овладевает Киренаикой и Додеканезом, как подступами к Африке и Анатолии. В Африке Италия встретилась с отпором мусульман — сенусситов. Но она удержалась на побережье, накопляя соответствующий опыт колонизации, упрямо напоминая о себе гегемонам Средиземья, ревниво охраняющим пути в Индию, Египет, Месопотамию. В Додеканезе она закрепилась, жадно поглядывая на Малую Азию, просторы которой манят к себе итальянских переселенцев... Лондонский договор и последующее участие Италии в мировой войне находят себе об'яснение в этих колониальных вожделениях Италии. Однако ни Англии не удалось занять в Передней Азии место Германии, ни итальянцам— влиться в Анатолию, на пепелища изгнанных греков. Отсюда — временная солидарность в мусульманской политике Англии и Италии, столкнувшихся с сопротивлением Ислама.

До поры до времени Великобритания не мешает Италии закрепляться на подступах к Востоку. Она не противодействовала ни ее соглашению с Грецией, ни тиранскому договору с Албанией. Как некогда, в пору Крымской кампании, она воспользовалась поддержкой Италии в своих собственных интервенционных предприятиях. Хотя Китай и дальше Севастополя, — Муссолини, как ранее Кавур, посылал на помощь Англии военные корабли Италии. За это Родосская морская база итальянцев в изобилии снабжалась английским углем. И в Женеве, где Турция не представлена делегатом в Лиге наций, с соизволения Англии поставлена была новая проблема — проблема колоний или мандатных стран для Италии.

Впрочем, было бы грубой ошибкой заключать, что Англия готова содействовать возникновению «великой Италии», могущей со временем стать соперницей великобританского морского могущества. На это англичане не пойдут. В Ливорно и не ставилось такого вопроса. В Ливорно происходило то же самое, что 16 сентября 1908 г. имело место в Бухлау, между Извольским и Эренталем, а 11 октября 1865 г. в Биаррице, между Наполеоном III и Бисмарком. Как Бисмарк предоставлял своему собеседнику высказывать вожделения на Рейнские провинции, а Эренталь Извольскому — притязания на проливы, — так и Чемберлен не мешал Муссолини развивать планы итальянской экспансии через Балканы на Восток. Ведь в создании барьера против СССР, воздвигаемого Англией, определенная роль предназначается и для Италии. А Балканы — это выход Советов в Средиземье. Этого мало. На тех же Балканах и в том же Средиземье имеется и другой соперник английской гегемонии. Этот соперник — Франция. Исконный антагонист Великобритании, лишь страхом перед немецкой опасностью вынуждается она хранить свое «согласие» с соседом по ту сторону Ламанша. И против Франции годится фашистская дубинка. И вот, как некогда Сольсбери поддерживал австро-германское движение на восток, чтобы через Берлинский конгресс привести Россию к дипломатическому поражению, а немцев — к временному господству над славянскими странами на Балканах, так и ныне Англия старается использовать итальянский фашизм и против проник-

новения СССР, и против чрезмерного усиления позиций Франции на том же Балканском полуострове и на всем Ближнем Востоке. Вот отчего Черчилль превозносит фашистскую Италию. И вот почему Муссолини прекращает игру с Советами, ратифицирует бессарабский протокол, принимает на себя роль габсбургской Австрии, некогда обуздывавшей балканских панславистов. Вместе с тем, укрепляясь на Балканском плацдарме, фашизм начинает свое наступление на франкофильствующую Юго-Славию.

Однако все это — лишь до известного предела. Когда немецкий «Дранг нах Остен» [1]) стал чувствоваться в Средиземье, проникать на Иран, приближаться к подступам в Индию, — Англия решила, что пришло время принять свои меры. Началось англо-русское сближение, приведшее затем к мировой войне. То же самое может случиться и с Италией. Когда она попробует всерьез превратить Адриатику в «маре италикум» [2]), а Албанию и Грецию — в трамплин для решительного скачка в Малую Азию, — Англия примет свои меры. Разумеется, сама она останется в стороне. Ее дело сделают Франция, Лига наций и балканские государства, склока которых вечно мутит воду международных отношений к радости опытных рыболовов из Форейн Оффиса.

Не нужно быть очень зорким политиком, чтобы заметить, как Англия уже начинает отнимать свою руку от Италии. Она поддерживает сговор Франции с Испанией о Танжере, — в ущерб Италии, крикливо заявлявшей и свои права на эту зону. Она проявляет повышенную активность в Албании, предостерегая Италию против нарушения суверенных прав этой страны. Она содействует урегулированию албано-сербских конфликтов, — как, например, спора из-за закрытия границы у Охриды. Она выказывает неожиданное дружелюбие к Юго-Славии, содействуя организации обороны ее береговой полосы, предоставляя ей заем для стабилизации государственной денежной единицы, устами своих публицистов развивая широкие планы англо-сербского экономического сотрудничества. Итальянской активности в Греции она противопоставляет свое собственное влияние, держа в своих руках греческую полицию и финансы, организуя флот Греции, демонстрируя ей могущество своих дредноутов, пропагандируя среди греков свой язык и свою спортивную культуру. Не уступает она своих позиций и в Болгарии, где прочно внедрился ее торговый капитал, где организуется английская морская база, где, при содействии Лиги наций, внушительными займами пополняются истощенные финансовые ресурсы страны. Наконец, когда италофильствующий румынский принц пробует подготовить из Лондона государственный переворот в Бухаресте, чтобы водвориться на королевском троне, — правительство предлагает ему оставить пределы Англии. Пусть лучше держится в Румынии франкофильский режим либеральной партии, — лишь бы итальянский фашизм не обрел себе на Балканах новой опоры.

---

[1]) Движение на Восток.

[2]) Итальянское море.

Чувствует ли Италия, что она лишается английской поддержки? Видит ли она перед собой опасность изоляции? Муссолини не слепец. В своей азартной игре он старается использовать и англо-французские, и франко-германские, и все возможные антагонизмы. В свое время Муссолини попробовал было нажить капитал на обострении рейнского вопроса. Однако скоро выяснилось, что слишком могущественные факторы противодействуют открытому столкновению Германии с Французской республикой. Тогда он принялся натравливать Францию на Турцию. Одесское свидание Чичерина с Тевфик Рушди беем 23 ноября 1926 года представило удобный повод для начала такой кампании. Франческо Коппола в «Трибуне» обрушился на Францию с целым градом упреков. Он обвинял ее в сантиментальном туркофильстве, приводящем самих французов к прямым унижениям. «От Пьера Лоти, — заявлял он, — естественный путь к делу Лотю'са». Он доказывал, что такая политика способствует советско-турецкой дружбе и грозит отторжением всего Леванта от цивилизованной христианской Европы. Он взывал к славным традициям Франции, издавна бывшей передовым борцом за интересы Запада на Востоке. Он проповедовал новый крестовый поход на неверных. Во имя этого предлагалось забыть старые итало-французские распри, чтобы восстановить единство народов латинской культуры. Цели такой агитации были слишком очевидны: Италия добивалась получения картбланш для захвата провинции Анатолии. Лиге наций внушалась мысль о соответствующем мандате для Италии. Греции указывались манящие купола св. Софии. Кстати, самому Штреземану сулилось перераспределение колоний.

Франция оказалась глуха к призывам воинствующего фашизма. Тогда к концу 1926 г. Италия заключает ряд договоров, проникнутых общей тенденцией — ослабить политические позиции Франции в Центральной Европе, на Рейне, в Средиземье, на Балканах. 7 августа — договор с Италией, затрагивающий интересы Франции в Северной Африке. 17 сентября — договор с Румынией, наносящий удар Малой Антанте. Наконец, 29 декабря — договор с Германией, явно направленный против Локарно. Одновременно, в своих заявлениях представителю «Нейе фрейе прессе», Муссолини клеймил презрением «гуманный идеализм» пацифистов. По его словам, «Италия не в силах прокормить все свое население»: она должна — «или расшириться, или же взорваться». В других декларациях он зловеще предсказывал, что не пройдет и столетия, как малые государства совершенно исчезнут с лица земли.

Французская дипломатия всегда выражала претензию — защищать интересы малых государств. После войны она более чем когда-либо готова протестовать против пересмотра политической карты Европы. При содействии Лиги наций, она ревниво охраняет статус-кво на континенте. Чтобы добиться своего, Муссолини посылает в Женеву шефа своего кабинета, ярого фашиста. Италия пробует продолжить свой роман с Черчилем. Но руководящая английская пресса слишком далека от восхищения фашизмом. В ней проглядывает все большая и большая холодность к Италии. Тогда Муссолини снова изменяет свою тактику. Принимая первого января французского

посла, он выражает пожелание, чтобы 1927 год был годом итало-французского альянса.

Рука, протянутая Римом к Парижу, опять повисла в воздухе. Вместо итало-французского альянса, — 1927 год принес ратификацию франко-югославского договора. Взбешенный Муссолини ответил на него союзно-оборонительным договором с Албанией. Вслед затем он предложил пакты — Греции, Турции, Болгарии. Однако, пока он работал над созданием такой про-итальянской группировки, — Греция успела заключить договор с членом Малой Антанты, франкофильствующей Румынией. Фонды Франции на Балканах снова стали подниматься. Теперь уже ею самой в порядок дня ставится вопрос — о Балканском Локарно.

В такой перемене обстановки на Балканах известную роль сыграла все та же Англия, так как не в ее интересах чрезмерное усиление Италии на Ближнем Востоке. Что касается балканского Локарно, то его антисоветский характер как нельзя лучше соответствует целям английской политики.

Оставляемая Англией, отстраненная Францией, — Италия мечется в поисках новых союзников и новой опоры. В последнее время опять намечается ее новая тактическая линия. Италия выступает в роли защитника слабейших государств, обиженных послевоенными мирными договорами. Она агитирует против Лиги наций, критикует локарнские соглашения, требует ревизии «несправедливых» договоров. Принадлежа к стану победителей, нажившихся на войне, она хочет стать адвокатом побежденных, вождем обделенных и недовольных. Положение, которое было бы парадоксом, если бы оно уже не стало банальностью в практике фашизма. Всякому известно, что фашисты служат целям контрреволюционной буржуазии и аграриев Италии. Не становились ли они, однако, в позу «революционеров»? Не бросали ли лозунгов — экспроприации богатств, рабочего контроля, земли для крестьян, секвестра церковных имуществ?

Не так давно один из влиятельнейших фашистов, Торре, выступил на страницах «Стампа» с характерным заявлением о целях внешней политики нынешней Италии.

Цели эти могут быть сведены к следующему:

1) Италия стремится к поддержанию мира в Европе.

2) Она отказывается содействовать захватническим стремлениям, угрожающим интересам слабейших стран.

3) Она намерена побуждать Лигу наций к более активному устранению всякого рода несправедливостей, питающих неустойчивость нынешних международных отношений.

4) Она хочет привлечь внимание Европы к вопросам перераспределения колоний и мандатов, дабы заинтересованные нации получили то, что им было обещано по договорам.

В сущности, те же положения высказывались в свое время членом великого совета фашистской партии — князем Буонкампаньи. Отрицательное отношение фашизма к Лиге наций, требования пересмотра мирных догово-

ров, перераспределение мандатов — вещи не новые. Но не замечательно ли это сочетание колониальных вожделений с защитой слабейших стран против посягательств империализма?

Германия явилась первым об'ектом новой тактики фашизма. К ней, прежде всего, были обращены его лозунги — о пересмотре послевоенных договоров, об исправлении созданных ими несправедливостей, о перераспределении колоний и мандатов. Но Германия уже поплатилась однажды за попытку ревизии версальских постановлений. После рурского опыта она стала благоразумнее. Теперь, когда в Лиге наций голос Штреземана звучит столь солидными интонациями, а в порядке дня так определенно стоит вопрос англо-франко-германского сближения, Германию не удается заманить в фашистские авантюры. Политический обозреватель «Фоссише цайтунг» недавно дал вполне ясный ответ на зазывания Муссолини.

Во-первых, Германия еще не решила, — выгоднее ли ей вновь получить колонии, или, не имея их, добиться от других держав торговых льгот и открытых дверей в их собственные владения. Во-вторых, Германия намерена вести самостоятельную политику на Балканах. Немедленно после выборов она приступит к осуществлению такой задачи. Назначение Кестера в Белград — первый шаг в этом направлении. Миллионы немцев, населяющих южную и юго-восточную Европу, будут проводниками германского влияния на Балканах. Дорога Германии — через Прагу и Вену, на Белград, Софию, Бухарест и далее. Этот путь — прямее и ближе, нежели маршрут через далекие африканские земли. Наконец, Германия привыкла сама устраивать свои дела. «Благодарению богу», она уже твердо стоит на собственных ногах. Она не нуждается ни в ободрениях, ни в покровительстве со стороны фашизма.

Получив такую отповедь от Германии, Муссолини пробует привлечь на свою сторону других. Он обращается к Венгрии, Болгарии, Литве.

Он заявляет о необходимости пересмотра Трианонского договора — для восстановления естественных этнографических границ Венгрии. Он вступает в сношения с влиятельными македонскими кругами Болгарии, суля им поддержку в борьбе с Юго-Славией за независимость. Он обещает свою помощь Вольдемарасу в тяжбе с Польшей из-за Вильны... И вот в европейской прессе подымается шум. Италия опять привлекает к себе всеобщее внимание. Рим становится местом паломничества дипломатов. Титулеску и Бетлен, Михалокопулос и Тевфик Рушди, Залесский и государственные деятели других стран ищут встречи с Муссолини и ведут с ним таинственные переговоры. Но большая политическая печать Европы остается спокойной. «Таймс» ограничивается бесстрастной регистрацией всех этих свиданий. Немецкая печать утверждает, что Муссолини шумит для того, чтобы о нем не позабыли. А французский полу-официоз многозначительно напоминает Италии, что перед ней — ряд существенных вопросов, которых не урегулировать без доброго согласия с Францией. Танжер, Тунис, неттунские соглашения, политика на Балканах — достаточно интересные предметы для итало-французских переговоров. Конечно, это не мировые проблемы. Франция не шумит из-за них на весь свет. Но не полезнее ли подумать об их спокойном

разрешении, чем кричать о несправедливости послевоенных договоров, на которых держится мир нынешней Европы, охраняемый великими державами?

Быть может, уже ближайшее время будет свидетелем новых попыток Италии сторговаться с Францией. Не исключено и другое, — именно, что в подходящий момент Великобритания снова окажет поддержку Муссолини, чтобы не дать чрезмерно усилиться французскому влиянию. Однако, так или иначе, при всех изменениях международной кон'юнктуры, внешне-политические стремления Италии направлены будут к тем же целям, что и раньше.

Чего же, в конце концов, добивается внешняя политика фашизма?

Соглашением относительно Танжера Италия хотела бы закрепиться у выхода из Средиземья в Атлантику, на простор мировых морских сообщений. В Тунисе она желала бы обеспечить национальные права 90 тыс. итальянских переселенцев, связанных со своей метрополией. В Триполи — укрепить и расширить свою базу для дальнейшего проникновения в Северную Африку. Едва ли пытается она, действительно, разложить Малую Антанту. Последняя служит и ее целям, препятствуя восстановлению германской империи, австро-германскому Аншлюссу, немецкой экспансии в сторону южного Тироля и Триеста. Но, дразня или пугая Малую Антанту, Италия пробует сделать Францию более сговорчивой в вопросах о сферах влияния в Средиземье, на Балканах, на Ближнем Востоке. Так, обеспечивая себя с севера и с северо-запада, с тем большей энергией подготовляет фашизм свое наступление на Восток. Его манит Албания, с великой императорской дорогой — «Виа Эгнациа» — от Дураццо до Салоник. Ему нужны Фиуме, Зара, Далмация, чтобы Адриатика стала внутренним итальянским морем. Он опасается образования свободной балканской федерации на основе самоопределения национальностей, — и намеренно обостряет внутрибалканские противоречия, заговаривая то с Грецией, то с Турцией, то с Румынией, то с Венгрией, то с Болгарией, то с самой Юго-Славией. Он пробует создать про-итальянскую группировку на Ближнем Востоке, чтобы облегчить себе прыжок в Малую Азию. В этом плане ему, между прочим, нужно усыпить подозрения Ангоры, отвлечь ее внимание в сторону, нейтрализовать ее до поры до времени каким-нибудь малообязывающим пактом.

Достижима ли, однако, хотя бы последняя цель Муссолини?

Худой мир лучше доброй ссоры. Эта истина, несомненно, понятна и для Турции. Строители молодой Турецкой республики знают, как важно для страны иметь передышку, чтобы оправиться и укрепить свои силы. Потому Турция не отказывается от мирных договоров со своими соседями. Потому и подписывает ее посол в Риме Суад бей пакт о нейтралитете с Муссолини. Но у турок — зоркий глаз и не плохая память. От них не могут быть скрыты истинные намерения фашистской Италии. И, конечно, они не забыли секретных документов, опубликованных в 1927 г. Титтони и связанных с мировой войной. Этими документами скандальной гласности были преданы обещания Сен Жан де Морриенн — вознаградить Италию за участие в войне весьма соблазнительными территориальными приобретениями. Какие

громы метала фашистская пресса против союзников, вероломно отказавшихся предоставить Италии Адалию и Смирнскую область! Турки должны помнить и это и многое другое. Но и они не могут не видеть, что в большой политической игре, — развертывающейся в Восточном Средиземье, — главная движущая сила — все же не Италия. Фигурами этой игры управляет Англия, и именно под ее руководством Италия, поддерживающая склоку европейских и балканских государств, пугающая Францию, сама боящаяся Германии, об'ективно работающая для создания барьера против СССР, — ведет наступление на Восток. Этому наступлению, однако, предначертаны свои пределы. Свершится положенный срок. Мавр, сделав свое дело, должен будет уйти. И тогда средиземному Востоку придется стать лицом к лицу с империалистической Англией. Откроются кулисы международной сцены. Сброшены будут маски. Перед народами Востока откроется волчья пасть властелина морей, хищника колоний, потомка разбойников и торгашей — Великобритании.

Из воспоминаний о Максиме Горьком.

(1906 — 1911 гг.)

К. Злинченко.

Комитет помощи безработным.

Это было в тот момент, когда Россия представляла ужасную картину... Расстрелы, казни, карательные экспедиции и сотни тысяч рабочих, выбрасываемых на улицу.

Это был 1906 год!

Страшная, кровавая контрреволюция все выше поднимала свою голову.

Чем можно было тогда помочь все возраставшим массам безработных стачечников, выброшенных на улицу контрреволюционной волной?..

Не помню в каком месяце товарищ Сергей Малышев, теперь «красный купец», образовал в Питере известный в истории революции 1905 года «Совет безработных»... Мне же пришлось принять участие в образовании «комитета помощи безработным» за границей.

Вместе с несколькими товарищами мы образовали такой комитет в Лозанне. В него вошел также и писатель Леонид Андреев, отозвавшийся из Глиона на посланное ему воззвание комитета.

«Учредительное собрание» этого комитета решило опубликовать в заграничных социалистических газетах воззвание, обращенное «К рабочим Швейцарии».

С проектом этого воззвания мне и было поручено отправиться к Леониду Андрееву для получения его подписи.

Приехав поездом в Монтрэ, я пересел на финикулер и среди весенней растительности, огромных кустов разноцветных душистых роз, тянувшихся вдоль горной линии, подымался все выше над озером и прибрежными городками в Глион, где жил Андреев.

В первый раз я находился на такой высоте. Передо мной открывалась волшебная панорама всего Женевского озера с далекими заозерными пространствами. По ту сторону красовались французские Савойи, и снежно-фиолетовые узоры их вершин сверкали в ярких лучах апрельского солнца. Слева темнели Водуазские Альпы, покрытые причудливой дымкой легких, разорванных облаков, а справа — зеленеющая Юра охватывала озеро не-

прерывной цепью холмов, прорывающихся голубыми зигзагами по направлению к Женеве.

Финикулер медленно полз вверх по зубчатым рельсам.

Участие или даже только имя Леонида Андреева казалось мне тогда главной основой строящегося здания стачечного комитета, и я возлагал на этого известного в Европе писателя — друга Горького — большие надежды.

Долго я искал отель «Монт-Флери», где жил писатель.

Наконец, встретившийся швейцар в позументах сказал мне, что Андреев гуляет, и предложил подождать в салоне.

Прошло минут десять. Я переживал закравшееся в меня волнение от предстоящей встречи. Вдруг в салон быстрой и стройной походкой вошел Андреев в синей русской рубашке, подвязанной шнурком, с белой соломенной шляпой в руках.

Я сразу узнал Андреева, зная его только по портретам.

Красивый, с большой шевелюрой черных волнистых волос, со сверкающими умными глазами, писатель произвел на меня такое впечатление, что сердце забилось свободнее, и в груди стало легко и спокойно.

— Вы ко мне?.. Рад с вами познакомиться, — ласково произнес Андреев, пожимая руку. — Пойдемте ко мне... Мы гуляли в саду...

И Андреев увлек меня по коридорам отеля, расспрашивая о комитете.

Вдруг в одном из поворотов я увидел перед собой человека, так похожего на Горького, что сразу узнал и его.

Горький, в обычной темной блузе, стоял в задумчивой позе, видимо поджидая Андреева, и своими, как мне казалось, грустными глазами с оттенком где-то в глубине души затаенного страдания смотрел мне прямо в лицо.

Я остановился в нерешительности от такой неожиданной встречи, невольно вглядываясь в это особенное выражение его лица и глаз. Чувство несказанной спокойной радости, почти не проявлявшейся наружу, охватило меня.

«Горький!.. Это тот самый Горький!» — подумал я.

И имя это и выражение его задумчивых глаз слились в моем сознании с идеей мирового стачечного союза, внушая полную уверенность в возможность реализации такого учреждения при помощи этого пролетарского писателя мировой известности и огромного влияния в социалистических кругах.

Андреев, на секунду зачем-то уклонившийся в сторону, познакомил меня со своим другом.

— Вот это и есть основатель комитета безработных, — произнес он все с тем же жизнерадостным оживлением весеннего солнечного дня.

С большим чувством пожал я руку Горького, по странной ассоциации сравнивая его с Львом Толстым.

— Ко мне или в столовую? — обратился Андреев к Горькому.

— Будете обедать с нами? — спросил Горький, видимо желая этого. Вероятно, Андреев успел уже заинтересовать его только что образовавшимся комитетом.

Я согласился, но заметил, что хочу познакомить Андреева, как члена комитета, с протоколами собрания и с новым воззванием «К рабочим Швейцарии».

— Там и познакомите... Кстати и Горький послушает! — сказал Андреев, пробуждая во мне все бо́льшую надежду, что и Алексей Максимович подпишет воззвание.

Андреев приоткрыл дверь в свое помещение и пригласил еще кого-то обедать.

В небольшой красивой столовой с несколькими изящно сервированными столами мы заняли угловой стол. Было д о или п о с л е общего обеда, и потому в столовой никого кроме нас не было. Вошел еще какой-то молодой человек, с которым Андреев познакомил меня.

В новом костюме по случаю своего визита я чувствовал себя несколько смущенным среди этих двух «блузников» и, чтобы подавить смущение, поторопился спросить, желают ли они выслушать мой доклад.

Горький и Андреев из'явили согласие.

Краснея и все еще волнуясь, я развернул целую кучу документов и, читая их в последовательном порядке, стал развивать план образования швейцарского комитета.

Горячась и увлекаясь рисовавшейся мне идеей, я ясно развил свою мысль о важности «материальной и моральной солидарности разнородных рабочих друг к другу и об особенной важности в настоящий трагический момент русской революции проявления такой солидарности по отношению к пролетариату России».

Писатели внимательно слушали, изучая, повидимому, как план образования комитета, так и самого докладчика.

Принесли первое блюдо, и доклад был прерван.

За обедом завязалась общая беседа. Горький, заинтересовавшись Лозаннской колонией, расспрашивал о ее жизни.

Когда подали кофе, я вновь взялся за свой пакет с бумагами. Освоившись, я был гораздо смелее.

Окончив доклад, я прочел воззвание «К рабочим Швейцарии» в двух редакциях — своей и в редакции «комиссии учредителей», урезавшей его в наиболее сильных местах.

— Мне больше нравится в м о е й редакции, — прямо заявил я, — комиссия выбросила самые сильные места. У нас пока еще, для начала, слишком разнообразный состав членов... Есть и социалисты, и кадеты, и филантропы... Необходимо привлечь побольше средств...

— Мне также нравится в а ш е воззвание, — сказал Горький, не возражая против состава комитета, и протянул за ним руку.

От радостного предчувствия у меня горячо забилось сердце, но пригласить Горького в комитет я не решался, не желая навязываться и боясь

отказа. С затаенным дыханием смотрел я на Алексея Максимовича, внимательно читавшего воззвание и в задумчивости вынувшего из кармана блузы карандаш.

— Запишите и меня в члены вашего комитета, — вдруг предложил Максим Горький, взглянув на меня серьезными, сочувствующими глазами.

Я не находил слов для выражения охватившей меня радости, понимая, что со вступлением Горького дело комитета пойдет быстрыми и решительными шагами. Андреев, видимо, также был обрадован.

— Вы позволите мне исправить некоторые места? — спросил новый член комитета.

Вооружившись своим карандашем, Алексей Максимович приступил к редактированию воззвания, читая его вслух:

— «...комитет... обращается к вам с живейшей просьбой...». Лучше с горячей, — предложил он, зачеркивая «живейшей» и надписывая новое слово.

— Конечно... теперь все горячее!.. — подчеркнул и Андреев, весело смеясь.

Черкнув еще что-то в воззвании, Горький вдруг встал и, сказав, что «в уединении он это сделает лучше», перешел из столовой в смежный с нею небольшой салон отеля.

Весь сияющий, бросился я чуть ли не на шею Андрееву.

— Вот видите, какого я дал вам члена!.. Горький — это побольше Андреева... — искренно радовался, печальной теперь памяти, писатель, так далеко ушедший от идеалов пролетариата в Октябрьские дни.

В ожидании Горького, Андреев весело стал рассказывать, как он, будучи еще студентом, наряжался в мундир с иголочки и раз'езжал по богатым домам собирать пожертвования и как он устраивал «благотворительные» концерты в пользу революции, надувая буржуазию и полицию.

Дверь открылась, и вошел Горький, протягивая мне два листочка бумаги — мое воззвание и другое, новое.

— Прочтите. Как вы найдете? — спросил он.

Я быстро пробежал глазами новый текст. Это было уже воззвание к рабочим Европы.

Текст моего воззвания оказался переделанным и расширенным, но сущность и даже основные формулировки остались. Заканчивалось воззвание новой боевой фразой, особенно понравившейся мне.

— Прекрасно!.. Прекрасно!.. — восклицал я, горячо сжимая руку Алексею Максимовичу.

Вот это воззвание:

«Лозаннский комитет для помощи русским безработным рабочим — вашим братьям по труду и единству цели — обращается к вам, рабочие Европы, с горячей просьбой: помогите русскому народу вашим посильным моральным и материальным содействием.

Рабочие всего мира должны помогать друг другу в общем для всех деле освобождения труда от гнета капитала и насилия власти. Эта

взаимная помощь сольет их во единую, неодолимую силу и ускорит победу справедливости над произволом, правды над ложью, человека над животным.

Русский рабочий народ решил бороться до полной победы над своим врагом. Помогите ему ускорить битву».

Горький еще раз прочел воззвание вслух и спросил Андреева:

— Ты согласен?..

— Согласен! — восторженно ответил сияющий Андреев.

— Ну, а теперь на прощанье давайте споем что-нибудь, — вдруг предложил развеселившийся Алексей Максимович, выпивая рюмку вина. Слабым горловым баском он затянул известную украинскую песню:

Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким,
Там орала дивчинонька
Волыком черненьким...
Орала, орала,
Не вмила гукаты...

— Будет с вас!.. — весело засмеялся задохнувшийся на последнем куплете певец, не допев до конца песню, тем более что никто из нас не поддержал его. Мы как-то не в такт только подмурлыкивали ему.

Всем было весело, все смеялись, но мне уж не терпелось: тянуло в Лозанну поделиться с комитетом слишком важной новостью... Да и не хотелось задерживать писателей.

Я встал, еще раз горячо поблагодарил Горького и Андреева и стал прощаться.

Раскол комитета

Потрясенный неожиданной встречей с Горьким и первыми шагами большого успеха комитета — я долго не мог найти станции финикулера, кружась все на одном и том же месте. В разгоряченном мозгу строились планы предстоявшей уже «европейской» работы с такими основателями комитета, как Горький и Андреев.

Наконец, я попал в вагон финикулера.

Вновь открылся тот же величественный вид швейцарских Альп, озеро и небо, утопающее в нем... Но в полуденном солнце тона природы были уже совсем другие. Все затянулось в легкую дымку сизого тумана, скрадывавшего многообразные рельефы далеких гор.

В самом низу бесшумно двигались по двум линиям совсем игрушечные поезда, а по стеклу бирюзового озера скользили такие же пароходики и две-три парусные лодки, превратившиеся вскоре в едва заметные точки.

Далекий стреляющий шум незаметного мотоциклета нарушал чарующую тишину. Вверху над Глионом простирались темнеющие облака, сквозь обрывки которых пробивались очертания отдаленных причудливых зданий.

На самом высоком из них вился флаг.

На другой же день утром «редакционная комиссия», а затем и «вне партийный комитет», не согласившись ни с воззванием, ни с порядком распределения средств, потребовали созыва общего собрания учредителей, которое также раскололось. Из восьмидесяти членов, после моего категорического отказа подчиниться большинству «филантропических» голосов и снять свою подпись, со мной осталось только несколько товарищей...

Главную роль в этом расколе сыграло, конечно, влияние меньшевиков и бундовцев, восставших против порядка распределения собранных средств, оставлявшего их за бортом.

В настоящих кратких воспоминаниях я не стану рассказывать десятилетнюю историю комитета. Это будет сделано в другой моей работе. Скажу лишь, что после «раскола» образовалось два комитета—внепартийный, в котором осталось огромное большинство прежних членов, и «международный комитет», в исполнительное бюро которого оказались избранными почти одни большевики и иностранные левые социалисты нескольких национальностей. Во главе комитета одно время стоял Н. А. Герцен, внук Александра Ивановича, а затем до конца — французский коммунист Густав Брошэ. Жена его — член Парижской Коммуны — Викторина [1]) также входила в бюро.

Комитету пришлось пережить много трудностей, трений и даже бойкот со стороны все тех же меньшевиков и бундовцев.

После «Об'единительного с'езда РСДРП» от вновь избранного представителя партии в Бюро II Интернационала Г. В. Плеханова было получено следующее официальное предложение, которому комитет обязан был подчиниться:

«Женева. 14 августа 1906 года.

Дорогой товарищ Злинченко,

Я только сейчас узнал, что деньги, приходящиеся от ваших сборов на долю нашей партии, вы делите пополам, отсылая одну часть бывшим большевикам, а другую — бывшим меньшевикам [2]). Это совершенно неправильно. Наша партия есть единая организация, глава которой есть ЦК, представителем этого комитета здесь по денежной части является А. Балабанова; адрес: Lugano, Paradiso, Tessin. Ей и надо отсылать деньги. Жму вашу руку. Преданный вам Г. Плеханов».

Ясно, что вместе с этим «предложением» распределение всех средств международного комитета, предназначавшихся для нашей партии, фактически переходило в руки меньшевиков. Согласиться с этим мы не могли и вскоре внесли в Международное Социалистическое Бюро просьбу о принятии им на себя распределения средств.

8 мая 1907 года комитет получил следующее письмо, за подписью секретаря Бюро К. Гюисманса:

---

[1]) См. книгу Victorine B. «Souvenirs d'une morte vivante», с предисловием известного писателя, члена Парижской Коммуны L. Descaves, Paris 1909.

[2]) Я посылал все деньги только Ладыжникову, а как они делились — не знаю. От него я получил извещение, что деньги переданы через ЦК и в отчете они будут фигурировать, как полученные от комитета.

«Бюро охотно берет на себя получение и распределение сумм, получаемых Международным комитетом помощи безработным России».

Воззвание, подписанное Горьким, Андреевым и другими членами, было напечатано в «Бюллетенях» Бюро и в социалистических газетах почти всех стран в июле—августе 1906 года от имени «Международного комитета». «Внепартийный» же «кадетский» комитет скончался, едва успев родиться вновь. Подпись Андреева стояла, однако, под обоими воззваниями. Раскол Лозаннского комитета, очевидно, подействовал на Андреева, все еще проживавшего в Глионе.

Вследствие от'езда Алексея Максимовича в Америку, нам пришлось бороться и строить Международный комитет без него, в ожидании истечения тех «двух месяцев», когда он должен был вернуться и «работать вместе с нами».

Но, вернувшись, он уехал в Италию и поселился на о. Капри, где основал «Каприйскую школу».

В 1907 году Международный комитет решил издавать литературно-художественные сборники, для чего и было основано издательство «Труд и свобода».

Когда было собрано достаточно литературного материала от крупных, в большинстве социалистических, писателей Европы и Америки, комитет обратился к Горькому с просьбой принять участие в этих сборниках и взять на себя редакцию русского сборника.

Горький ответил:

«К. Злинченко.

Укажите краткий срок выхода сборника — я пришлю рассказ.

Взять на себя редакцию — не могу, не имею времени и — главное — опыта.

Что касается приглашения моих друзей к участию в сборнике — я думаю, лучше мне не делать этого, — они откажутся, если приглашение изыдет от меня.

Уж вы сами сделайте это. Желаю успеха.

А. Пешков».

18-8-07.

Алексей Максимович проявил свое активное участие в работе издательства Международного комитета предоставлением для его литературно-художественных сборников двух рассказов: «Солдаты», напечатанного уже в берлинском издательстве Ладыжникова, и «Федор Дядин», написанного специально для сборников.

Рукопись рассказа «Федор Дядин» после напечатания была отослана в архив Второго Интернационала.

Горький и каменщик Луиджи Цапелли.

Последнее приводимое ниже письмо было получено мною по поводу моего фельетона и обращения к Горькому от имени одного руководителя стачки «масонов» в Швейцарии — Луиджи Цапелли.

Привожу часть этого фельетона, напечатанного в одной большевистской газете:

Несколько месяцев назад зашел ко мне один мой знакомый с большой встрепанной головой, с черными умными горящими глазами на сухом морщинистом, но еще молодом лице. Он подал мне руку, по которой сразу можно было узнать, к какому классу принадлежит этот итальянец. Большая, жесткая, с шероховатыми выпуклыми мозолями рука. Всегда чувствуешь себя неловко, сжимая в руке, отвыкшей от физического труда, такую руку. Точно она осуждает тебя...

Я давно уже знал этого итальянца. Это тот самый Луиджи Цапелли, который руководил описанной мною в газетах стачкой масонов и которого потом гнали от своих дверей все лозаннские «патроны», советовавшие ему «поискать труда в другой стране».

Высокий, с впалой грудью, страстно любящий свою несчастную Италию, угнетаемую попами и властями... И страстно преданный тому народу, жизнь которого зажата в еще более мучительных тисках, если не папизма, то п о п и з м а и т. п.

— Не можете ли вы подарить мне какое-либо письмецо Горького? — спросил меня вдруг Цапелли, когда мы уже заканчивали нашу беседу. — Я так люблю этого русского писателя...

И столько было действительной любви в этих словах итальянца, столько искренности в его искрящихся правдивых глазах, столько действительной преданности в нескольких словах ломанной французской речи...

Я не мог не пообещать ему найти какое-нибудь письмо, не имеющее делового значения...

Прошло несколько месяцев, и я то забывал об этой просьбе, то не находил времени порыться в бумагах, то мне казалось, что нет ни одного письма, которое я мог бы отдать Цапелли.

Я часто встречался с Цапелли, но он ни разу не напомнил мне о своей просьбе... Когда же я однажды извинился, что до сих пор, по неимению времени, не искал для него горьковского письма, он скромно и доверчиво сказал:

— О, не беспокойтесь, товарищ, я подожду.

Вчера мы опять встретились на одном рабочем собрании.

Я вспомнил о его просьбе и здесь же написал письмо Горькому с просьбой прислать автограф непосредственно Цапелли. Показав ему письмо, я попросил вписать адрес.

Обрадованный рабочий вписал адрес и вдруг, лукаво улыбаясь, говорит мне:

— А у меня, товарищ, есть уже одна рукопись Горького... Русская...

Я удивился, где он мог достать, и то, что он все же откопал ее, очень тронуло меня.

Цапелли вынул свой старый засаленный бумажник из простой желтой кожи и, порывшись в нем, нашел грязную пожелтевшую четвертушку и протянул ее мне.

Заинтересованный и умиленный, я развернул бумажку.

Действительно, на издырявленной от ветхости бумажке почерком Горького было написано стихотворение под заглавием «Юзгляр».

— Где же вы достали его?

— Дала одна добрая русская девушка... Это старые стихи.... написанные еще тогда, когда Горький только начинал писать... с ошибками...

— А вы откуда знаете?... Ведь, они русские....

Оказалось, что уже многие переводили ему эти стихи и на французский и на итальянский языки.

И итальянский рабочий хранит эту большую для него драгоценность, как амулет какого-то божественного идола. Но, в действительности, для него это письмо было не амулетом, а своего рода духовной связью с тем человеком и товарищем, все переводные произведения которого им были прочитаны и с которым он связан бесплотными нитями идейного братского и пролетарского единства.

Способен ли кто из выхолощенных «критиков» и «поклонников» Горького, как своего рода «Мумбы-юмбы», так любить и понимать его? Нет, конечно.

Культурные дикари — эти критики и поклонники. Любви и понимания им нужно поучиться у каменщика Цапелли!

Уверен, что Горький не рассердится на меня, если я позволю себе привести здесь эти наивные детские, нигде, конечно, не напечатанные стихи.

Всего лишь отрывок.

Цапелли дал мне на это своe право.

Вот они:

ЮЗЛЯР.

(Рассказ киргизца).

Ты хочешь знать, кто был Юзгляр?
То батырь был, бедняк.
Безбрежной степи зной и жар
Его учил и согревал,
А пить и есть ему давал
В ночевках наших всяк.

Он летом пас овечий гурт,
А зиму пропадал.
Никто его из наших юрт,
Хотя бы был большой мороз,
Иль ветер тучи снега нес,
Зимою не видал.

Являясь раннею весной —
Весь рваный, худ и хил, —
Мычал он что-то нам с тоской
И грустно в лица нам смотрел,
Как будто что сказать хотел,
Но нем он сроду был.

Порою лаской взгляд сиял,
Порой как бы жалел,
Порой же злобою сверкал,
Юзгляр руками потрясал
И так зубами скрежетал,
Как будто сгрызть хотел.

Указывал он в небо нам, —
Смотрели мы туда.
Но все, что видели мы там —
Одетый голубой кошмой,
Цвет неба с круглою луной,
Да ярких звезд стада...

Сердился он, когда все мы
Садились пить кумыс
И средь пахучей в юрте тьмы,
Хваля богов за старину,
Певали песенку одну —
Про счастье-жизнь киргиз.

Никто из них не понимал,
Чего хотел немой,
И часто вон из юрты гнал.
И уходил, рыдая, он,
И снежной вьюгой занесен...

Этими словами кончается отрывок.

Насколько эти стихи бездарны и не художественны, предоставляется судить гг. Ауслендерам, если они не спустятся, конечно, до их критики.

У нас же с Цапелли к этим стихам свое собственное отношение и своя оценка. То отношение и оценка, до которых дойдет человечество лишь тогда, когда творца их будут искренно оплакивать и русские и итальянские Цапелли...

Пролетариат будущего, олицетворяемый Луиджи Цапелли, будет самым высоким ценителем Максима Горького как поэта, художника и человека» [1]).

Этот фельетон был послан Алексею Максимовичу вместе с письмом, в котором я прошу подарить Цапелли автограф.

24 мая 1911 года от Максима Горького был получен следующий ответ:

«Уважаемый товарищ,

Пожалуйста, будьте добры, передайте прилагаемый автограф милому Луиджи Цапелли. Не мог сделать этого раньше за массой спешных дел.

Спасибо вам за присланный вами фельетон. Приветствую

А. Пешков».

К письму был приложен автограф-стихотворение Максима Горького на русском и в переводе на итальянский язык:

«Моему дорогому другу Луиджи Цапели.

Как искры в туче дыма черной,
Средь этой жизни мы одни...
Но — мы в ней будущего зерна,
Мы в ней — грядущего огни.

М. Горький».

Капри 24-IV-911.

[1]) По полученным от Г. Брошэ сведениям, Луиджи Цапелли (член Международного комитета) до войны был председателем итальянской колонии и секретарем секции итальянской соц. партии в Лозанне. В его родном городе, на Манджарском озере, его избирают в синдики. Умный и смелый администратор, Цапелли организует синдикат и защищает рабочих против буржуазного правительства. Но когда вспыхнул фашизм, его трижды избивают, чуть не проломив череп. Затем бросают в тюрьму и изгоняют из Италии. Теперь он живет в Лозанне, имеет маленькую «кантонеллу», с которой раз'езжает по Швейцарии, продает салами и другие итальянские продукты.

Я напечатал этот автограф в той же большевистской газете с комментариями о «критиках» Горького, сопроводив его строками:

«Сегодня от Максима Горького получено письмо с просьбой передать «прилагаемый автограф милому Луиджи Цапелли».

Вот это прекрасное четверостишие, в котором сказано в художественной форме гораздо больше, чем во всех многоскучных «критиках» многих современных буржуазных критиков.

Не будет итальянца-пролетария, который не знал бы на память этих четырех строк в итальянском переводе.

Не будет и русского пролетария, который не чувствовал бы признательности к своему итальянскому товарищу за сохранение и разрешение напечатать эти стихи и в русском подлиннике».

* * *

С этого момента до июня 1917 года я не переписывался с Алексеем Максимовичем и не видел его. Вновь мы встретились с ним в Петрограде уже в горячее революционное время.

ЗА РУБЕЖОМ

Собачье заседание.

Ольга Форш.

При благосклонном участии известного доктора психологии, профессоров, журналистов и огромного стечения публики, в зале Ваграм был назначен диспут на тему: «Кошка и парижанка».

В основу диспута положена книга, уже намозолившая всем глаза из-за витрин бесчисленных магазинов. «Любовь парижанки» так звалась она, в ужасной обложке, где кровавое сердце с мужской головой обнималось с сердцем другим, цвета увядшей розы, обладавшим головкою дамы.

А содержание книжонки было такое: какой-то замечательных чувств князь или маркиз, оскорбленный безнравственностью парижанок, женился на глухонемой женщине необыкновенной красоты. Уже со второй главы читатель догадывался, что глухонемая женщина — просто кукла в человеческий рост, лишенная притом, по бездарности автора, всякой прелести гофманской темы. Но, увлекшиеся графом или маркизом живые и по тексту, даже совершенно добродетельные парижанки о его жене-кукле догадывались только в самую последнюю минуту, когда хитрым маневром, заманивши в свой, ну, конечно, роскошный отель, граф или маркиз об'являл, что он женской коварной любви предпочел навек-безответную честность предмета и демонстрировал свою, сделанную на лучшей американской фирме «супругу». Затем герой давал приказ лакею отвезти в такси оскорбленную им даму домой. Пошловатая книжка разошлась в несметном количестве и взволновала все женское население.

Когда русский, взявший билет на диспут «Кошка и парижанка», прошел в залу фобура, она, вмещающая больше четырех тысяч человек, была набита. битком.

— Голова к голове, как поле капусты, — сказал ему спутник француз, — вот оно, уже несомненно французское место, куда вы так стремились попасть.

— А ведь, пожалуй, и вправду надо иметь кочан на плечах, чтобы притти слушать подобную дребедень?

— Ах, мосье, подождите судить, — сказал француз, — разве не проявленье тонкой культуры и богатств эстетических уже одно уменье невинно забавляться невиннейшим пустяком? Дайте срок, здесь наткут вам словесного кружева! И будет превесело: только вы, мосье, не дуйтесь, не взы-

вайте к высоким идеям и добродетели. Вспомните, как говорил ваш народный мудрец, un certain Кузьма Прутков. Его чудесному афоризму обучил меня мой приятель: заткни фонтан, и ему нужен отдых! — Француз расхохотался: — не может быть, чтобы он, этот Кузьма Прутков, хоть немножко не был француз. Однако берите соломенный стул и, стараясь не хватить по кочнам или головам, как вам больше нравится, пробирайтесь вперед!

Вклинившись в проход, попали в гущу спора. Старый эмигрант, тоже русский, припоминал с укоризной по адресу легкомысленных французов, особое значение «фобуров» в революцию. Говорил с чувством о роли клуба Сент-Антуан и, умоляюще поворачиваясь направо и налево, заклинал сказать ему: какое тайное содержание кроется под об'явленным диспутом?

— Никакого тайного содержания, мосье, — божились французы, — только о кошке. О кошке и парижанке: если себе кто позволит и иное — вы увидите, как его пресекут!

— Но все-таки, хотя бы и с пресечением, что именно, что под этим?..

— Прездоровое чувство, мосье, — желание забавляться! Уменье веселиться излечивает печень. Но тсс...

Профессор психологии, с пивным брюшком, скорей бы немецким, чем французским, взошел на высокую кафедру и стал говорить. С жестами, полными округлостей и достоинства, он открывал для четырех тысяч голов кошачью Америку.

— Le chat, видите ли, разнообразнейший зверь в смысле музыки. Когда он голоден, у него «мяу» одним способом (вот хорошо бы определить в каком именно тоне?); когда он бежит на крышу любить, у него еще новый звук; когда он сердится...

Профессора заглушили. Зал весь мяукал на все лады. Хохот, шиканье, свист. Профессор с немецким брюшком долго ждал, чтобы завершить свою экспозицию и законно передать слово публике.

Неожиданно с кафедры заверещала утлая, легкая как осенний листок, старушонка:

— Кошка полезна. Кошка уничтожает мышей.

— Мышей ядом может вывести и консьержка. Говорите по существу.

Плеснулась на кафедру немолодая в лиловых газах девица:

— О, я видела столько измен! Столько измен! Но только не от кошки.

Басовато сказал голос с мест:

— Поищите идиота, чтоб был тебе верен!

Еще старушка кофейная тонким голосом:

— А мне даже кошечка изменила! Сбежала в мясную...

— А ты салатом зверей не корми!

— Плохо слышу, — ставит рупором ручку. — Я говорю, уж не знаю какого зверя мне завести, чтоб не сбежал.

— Замаринуйте селедку!

Хохочут четыре тысячи голов. И недоумевает и мучается русский:

— Инсценировка? Памфлет? Может быть, война с рифами?.. Колониальный вопрос?

— На дьявола ваша инсценировка! Это женская тема, мосье. Консьержки и кошки — один организм. Здесь их со всех кварталов.

Доктор в черном сюртуке пытается с высокой кафедры вознести тему на высоту. У доктора оказалась идеология для смягчения нравов, по благоволению напоминавшая мечты Жуковского об идеальной смертной казни.

— Людям необходимо испытывать чувство любви. Это именно необходимо: раз — для внутреннего равновесия, два — для физического здоровья, три — для порядка. В любви — энергия, излишне накопленная, но никуда не направленная, находит общественно-безопасный исход. Накоплять энергию без исхода — запасать в себе динамит. Дальше: любить себе подобного часто очень хлопотливо, часто экономически невозможно. Отсюда у нас во Франции оскудение браков, отсюда бездетность. Чудесным суррогатом и, вместе, невинно разряжающим средством является любовь к животным. Из всех животных кошка — наиболее экономный об'ект любви. Ergo: да здравствует кошка!

— Vive le chat! — отвечали старику, — но про любовь вам, ситуайен, пора бы уже позабыть!

— Mesdames et messieurs, я только что из Германии, я задет как патриот. Неужто и в этом вопросе мы будем немцами посрамлены? Mesdames et messieurs, чем цивилизация в стране выше, тем в ней лучше живется животным. Это все равно, как культура дома и честь аккуратной хозяйки определяются чистотой ватерклозета!..

— Долой его! грубиян! — закричали женщины и порывались стащить юркого, легкого человечка, с голосом как из бочки.

Другие кричали:

— Правду говорит, оставьте!

Сам человечек кричал:

— Я клянусь больше женской чести не трогать. Я только статистику. Messieur et mesdames, на четыре с половиной миллиона у немцев восемьсот собак. Большие доги. Огромные доги. Они ходят с важностью в каждой лапе, как Гинденбург. Они каждой лапой говорят: «Deutshland über Alles». И они имеют право так говорить. А почему? Потому, что у них в Берлине два псиных журнала, у них на Аугсбургерштрассе образцовое ванное заведение, у них в пивных об'явление «фотикюр», что в переводе на человеческий язык означает — «маникюр». У них собачий «институт красоты», у них в булочных специальный собачий бисквит «хундебисквит». У них каждый может женить или выдать замуж свою собаку по собственному вкусу, потому что у них, — да простят мне деликатные уши дам, — у них в Берлине есть «собачий публичный дом»!

— Долой его, безобразник!

— Штраф, штраф... Он сорвал диспут. Он посмел говорить о собаке, когда надо только о кошке!

— Но он прекрасно говорил о собаке.

— Собака лучше кошки... vive le chie-e-en!

Председатель звонит:

— Я не позволю говорить о собаке. Диспут твердый: диспут о кошке. Про собаку нельзя.

— А про свинью? Про крокодила? Про лягушку? — перебирали зверей.

Кто-то кроя всех басом, гаркнул:

— Про те-е-ещу??

— Неужто это все не нарочно?.. Ради бога, что под этим всем кроется? — умолял русский, склонный к рефлексии.

— Лечите свою печень, — смеялся француз, — теща — зверь!

На кафедре опять женщины:

— Вы слышали речь приехавшего из Берлина?

— Уж из одного патриотизма нам надо что-либо подобное скорей сделать для кошек...

Сверху ухнули в рупор:

— Сты-ди-тесь, женщины! К чорту кошек, займитесь детьми!

Ярко-синяя с желтой шалью истошным голосом завопила:

— Человек все забрал себе! Человек обязан уступить животным! Я— буддистка, в животных — душа моих собственных предков.

Ей не дали больше ни слова. Изо всех углов зачастили неожиданной рифмой:

Père cochon,
Mère mouton,
Tente grenouille,
P'tite soeur poule...

Доктор-сангвиник с громовым голосом, махая руками и носовым платком, чтобы замолчали, вскочил на кафедру и прокричал одним духом:

— Цивилизация Франции не может быть ниже цивилизации Германии, если ее сыновья, ее герои, ее родные и двоюродные братья «неизвестного», всем известного, солдата затеяли на-днях столь гигантский прыжок на воздушной птице из Парижа в Нью-Йорк! Да здравствуют наши смельчаки-летчики Коли и Ненженсера!

Встали, выли, топали, отдавали дань патриотизму.

Кто-то провокационно прозвенел:

— Однако это не на тему!

Десятки голосов прокричали:

— О величии Франции всегда и всюду на тему!

Отец семейства предложил телеграмму матери Ненженсера. Женщины прочли текст телеграммы:

«Собравшиеся на диспут «Кошка и парижанка» благодарят вас, мадам, за то, что вы подарили нации достойнейшего сына!»

— Но, ведь, собрание по поводу кошки, — удобно ли?..

— Собрание, собравшееся по поводу кошки, всегда может превратиться в собрание, которое чтит своих героев...

Опять топали, выли, забыли о кошке. Но через минуту уже не помнили о летчиках, уже хохотали бешено, хохотом, сотрясающим люстры и стены. Чья-то старая тетенька, в лентах и кружевце, весь вечер хранившая про себя свою «тему», улучив минутку, вдруг громко и тоненько произнесла:

— Я не люблю кошку за то, что она пачкает мой ковер!

— Здесь все сговорились, здесь все нарочно... — стонал русский, с'еденный рефлексией, теряя последнее самообладание.

— Шер мосье, мы свободные люди, и когда хотим дурить — мы дурим. Лечите вашу печень, мосье!

Выступил старичок, очень подтянут, с моноклем. Старичок брезгливо смотрел в полный зал. Говорил с паузой:

— У меня была прислуга, может быть, анархистка, может быть, коммунистка...

Его спросили:

— Отчего же она вас не ухлопала?

Он продолжал, не смутясь:

— Она была вот такая же грубая женщина, как вы, и я именно боялся, что она меня ухлопает. Но я подарил ей кошку, и она сделалась радикалкой. Когда же кошка принесла ей котят, она стала умеренной республиканкой, очень умеренной, как я сам. И вот в интересах спокойствия страны, считаю полезным обязать анархистов и коммунистов иметь кошек!

На кафедру орлом взмыл известный, притворно раз'ярившийся анархист.

Его узнали, его назвали в толпе.

— Мой пример опровергает поклеп роялистского башмака, — выкрикнул он. — Это — гнусная ложь, что кошка действует разлагающе на идеологию. У меня две кошки, и я, как был анархист...

— Долой анархиста, не надо политики! Он, прикрываясь котом, все равно будет делать политику!

— Анархисты не любят никого...

— Но если я люблю кошек?! — вопил анархист, — если я их ужасно люблю? Доказательств? Извольте. Не далее, как вчера, я бросил все дела, я сам на такси помчал своих кошек к котам. Я принужден был сделать много верст, чтобы выдать моих ангорок замуж за им подходящих, тоже ангорских котов...

— Стыдитесь, анархисту непристойно спаривать котов!

— Или разбирать их по кастам...

— Анархисту непристойно иметь свое такси!..

— Camerades, я ошибся, это было такси моего хорошего друга!.. Но и в случае, если бы это было мое собственное такси, то неужто мало

учил вас Лассаль и прочие?.. Мы ездим в первом классе, camerades, единственно для примера, как передовые борцы всюду первые навстречу событиям. А события нам желательны такие, чтобы все вы имели машины...

— Долой ложного анархиста!

Анархист ловко спрыгнул в толпу, а на кафедре возникли старухи-учительницы и сказали неожиданно в унисон, чтобы было слышней:

— Мы находим, что довольно о кошках! Мы, собственно, пришли заступиться за парижанку. Мы обе очень старые парижанки...

Но, хотя говорят в унисон, их не далеко слыхать. Председатель звонит, добивается тишины, встав во весь рост, возвещает:

— Эти почтенные дамы пытались сейчас утверждать, что они очень старые парижанки...

— Они говорят чистую правду! Они именно очень старые парижанки!

Учительницам не удается защита. Уже очень поздно.

Председатель ставит вопрос о переносе диспута на следующий день. Половина соглашается, половина любезно кричит:

— Эта тема исчерпана. Говоря о кошке, поговорили о женщине...

Напоследок, на кафедре молодая красивая «мидинетка». Она негодует, она в ярости:

— Если бы у всех мужчин была одна голова, я бы эту голову отрубила!..

— Школьный плагиат, мадемуазель, до вас об этом мечтали римские императоры...

— Вы бы, мадемуазель, лучше эту голову по-це-лю-ва-ли.

Девица не понимает, ей раз'ясняют, она прыскает в руку, как школьница, потом, приставив обе ладони к губам, кричит благим матом:

— Идет, messieurs, пусть по-вашему: сначала я поцелую, а потом — отрублю!

— Браво! парижанка оправдана! Наша парижанка — первая женщина мира!..

— Эта девчонка сегодня же сделает себе «ситюасион»... — говорит француз русскому. — Обязательно сделает. Ну, а как вам понравилось кошачье заседание?.. Как ваша печень?

— Ничего, моя печень, — говорит русский, — но заседание ваше все же... собачье!

Тунис.

Роман Гуль.

Базар в Тунисе.

Непередаваемо живописен «Ль-сук» — базар Востока. Что за пестрота! Какие звуки! В крытых проулках кипит веселая жизнь. Вековая традиция разбила цехи на кварталы. Кожевники. В толстые стены белых домов врублены открытые на улицу трехстенные комнаты. В них широкими полотницами висят куски цветного сафьяна. И на бечеве нанизаны сотни туфель — красных, желтых, зеленых. На корточках сидят арабы-сапожники. Режут кожу и шьют туфли в сутолоке и крике базара.

Медники. Оглушительно бьют по звенящей меди молоты, молоточки, зубила, вычеканивая затейливый орнамент Востока на узкогорлых кувшинах, на круглых, как щиты, подносах, на чашках, похожих на фигуры женщин.

Фрукты. Крик и давка. Лакомятся арабы любимым лакомством — кровоточащим «ль-хэнди».

Ковры, благовония, свечи, расшитые золотом одежды, дорогие тюрбаны. Тут нет ни крика, ни давки. Тихи — продавцы. Степенны — покупатели. У сводчатого магазина я очарован пестротой узора ковра.

Из глубины князем выходит белый старик-купец. Он медленно гладит шафранной рукой серебряную бороду. Борода — волосок к волоску — холится длинные годы. Спокойны коричневые глаза. Словно в них тайны бытия, чуждого европейцу.

— Нхар-таиб я сиди, — и я почтительно кланяюсь.

— Нхар-саиб, — лицо старца освещается лаской.

— Аш хауажек? (Как твои дела?)

— Хамду лля — ля бэсс. Ткелеми бель арби? (Слава богу, нет зла. Ты говоришь по-арабски?)

— Шуайя. (Немного.)

Арабы не знают, что язык их прост. Их легко подкупить родной речью. Жестом радушного хозяина старик приглашает меня зайти.

В прохладной полутемноте — в свете крошечной лампы — в магазине хранятся нега и роскошь. Золотые, серебряные, хрустальные флаконы амбры и мускуса. Кованые из тяжелого желтого золота браслеты для рук и ног. Кольца, серьги, ожерелья, каменья. На ковровых стенах — яркий

шелк для нарядов. С еще более ярким узорочьем. Цветные шальвары. Туфли шитые бисером.

А хозяина этих богатств зовут — Ахмед бен Азар. Продает он все вещи в гаремы и богатым туристам-американцам. Торговый дом Ахмеда бен Азар считает три столетья. На этих диванчиках целую жизнь просидели серебряные бороды отца, деда, прадеда, пращура.

Но пришли «руми» и сделали Ахмеда бен Азар холопом. «Руми» выстроили новый Тунис. С новыми магазинами своих вещей. Провели трамваи Электрические поезда. Львиная ненависть в коричневых глазах Ахмеда бен Азар. Он — потомок древнего рода — вот уже длинные годы ни разу не вышел за стену, отделяющую старый Тунис от нового.

— Зачем пришли руми? Разве нет у них земли за морем?

Глаза горят презреньем. Но на кошельке Ахмеда бен Азар золотом вышито «Ль фет — ль мет». Я показываю старику пальцем на надпись и повторяю ее:

— Что прошло — то мертво.

— Ль хаг, — говорю я, — это правда.

Старик качает головой. И глаза его те же. Меня — гостя — с низкими поклонами провожает он до дверей. Мы дружески прощаемся.

Корсо.

Жизнь идет, как автомобиль в 90 лошадиных сил по хорошей дороге.

В воскресенье, в пять часов на авеню Жюль Ферри начинается «корсо» — гулянье. Тунис 30 лет под властью французов. Но европейцев в Тунисе все ж мало. В шуме вечернего корсо идут, конечно, нарисованные кокотки и месье из Парижа. Идут и государственные чиновники. И военные с женами. Но они скучны в этом ландшафте.

Зато хороша пробегающая стремительностью лани — редкая арабка в непроницаемой чадре. Только — глаза. Ведь Тунис набожная страна Магомета. И арабки — затворницы. Их лиц не увидишь.

Широко раскинув толстые ноги в широчайших шальварах, группами на скамейках авеню сидят тунисские еврейки, громко говоря гортанными резкими звуками. На плечах их — шали белого шелка. На ногах — туфли без задника. При ходьбе эти туфли стучат, болтаясь на кончиках пальцев. Еврейка не знает чадры.

Заперев женщин, арабы мужчины выходят гулять. В белых шальварах, белоснежной гондуре, цветном жилете, сафьяновых туфлях, в тюрбане арабы гуляют по корсо. Прерывают прогулку — сидя в кафе. Тут сидят, заложив «мужской цветок» за ухо или вертя его в зубах. Это — особые цветы для мужчин. Либо розы в венчике флер-д'оранжа. Либо — связанный пучок жасминов. С мужским цветком за ухом арабы пьют кофе, говорят о простом и легком — о нарядах и о своей жизни.

Но эти арабы мне не нравятся. Они — шикарны. А вот я встану и буду долго и радостно смотреть, если встречу бедуина. Здесь бедуин —

редкий гость. Сын пустыни, он приходит сюда только за покупками. И даже в самый зной бедуин не снимает тяжелого шерстяного бурнуса. Его взгляд — пуглив. Движенья — непривычны. Ему тесно на пыльном авеню Жюль Ферри. Он привык к воздуху оазисов и безбрежному сиянью песков.

Когда же по авеню Жюль Ферри, зашумев, пролетит порыв ветра, обдавая всех печным жаром, — это сирокко, — все бегут с авеню по домам, скрываясь от палящего ветра пустыни. Не бегут только бедуины.

А я ухожу в крошечное кафе, где меня хорошо знает хозяин. Кофе я не пью. Я сажусь в очередь — курить такрури.

Крайний пожилой араб держит на коленях доску с выемкой посредине. Из кисета сыплет на нее зеленоватый табак. Растирает ловким движением руки. И, собрав зеленую пыль, набивает ей трубку в наперсток с длинным чубуком.

Он затягивается два раза. Передает соседу. Трубка идет кругом меж шести человек, внесших пай. Так курят такрури. На цветном фарфоровом блюдце хозяин подносит закуску — сваренные в меду прозрачные крендельки.

Такрури — прекрасная вещь. В моем положеньи — особенно. Трубка обходит четвертый раз. Я уже чувствую охватывающую тело лень. Трубка идет. Лень гигантски растет с ходом трубки. Уж взглянуть на соседа — лень, «не стоит». Лень протянуть руку. Мускулы и мысли мягко оцепеневают. Все — как сон, но все — явь. Глаза открыты. Но мир к расширенным зрачкам скользит по касательной. Тело живет, но оно ничего не ощущает. Я на все смотрю, но ничего не вижу. Уши ничего не слышат. Сознанье дремлет — сладко и приятно — в тишине.

Арабская свадьба.

В поле стоят хижины. У хижин — толпятся арабы. На окаменелого в спокойствии верблюда грузят закрытую корзину. В корзине — невеста.

Простившись с родней, она должна — в корзине — прибыть в дом жениха. Корзина взвалена на горб. Арабы стоят кольцом. Перед верблюдом закружился плясун в танце меча. Вместо меча у него — палка. Но все равно — он танцует танец меча. Рычит, сражается, убивает врага, прыгает черным резиновым чортом.

Плясун кончил танец. Верблюд зашагал. У каждого дома — угощенье и танцы. Едят кровоточащий «ль хэнди». Но жених — не выходит. Корзину снимают женщины. На плечах несут в дом — жениху.

Там свершается таинство. Арабы ждут выхода жениха с благодарностью — родителям. Жених выходит в белом. Благодарит. Жених богат. И свадьба развертывается — народным гуляньем.

Из Туниса приехали танцовщицы танца живота. Вечер кутает арабские дома. Сомкнувшись, арабы смотрят на факелами озаренный круг. В кругу, полуголая с толстым узлом на крутящемся животе, извивается тан-

цовщица. Бубны бьют. Свистят и стучат оркестранты арабской деревни. Сильней и сильней хлопает в такт толпа. Громче подпевания:

Айя филь бабур,
Айя филь бабур.

Танцовщица кружится — порывистей крутя бедрами. Вскрики все страстней и невероятней. На возвышеньи белеют — зрительницы арабки. В нарастаньи темпа, вместе с танцовщицей они начинают кричать страстными, протяжными собачьими визгами:

Иии! иии! иии!

Ярмарка любви в Тунисе.

К вечеру мы захотели изучить нравы жаркого Туниса. Проводником пошел Шурка. Мы идем к окраинам. Чаще стали нас нагонять, обгонять спешащие мужчины. Арабы, французы, негры, итальянцы. Все почему-то торопятся, хотя двери публичных домов никогда не запираются. Но мужчины — ускоряют шаг.

Улицы стали узки — как коридоры. Коридоры горят желтым светом. Стелется — душный кружащий голову аромат, дым и чад. Это — ярмарка любви. Целый город. В проулках не разойдутся трое. С обеих сторон идут двери в узкие клетки. Там, где занято — дверь заперта. Где свободно — на пороге стоит полураздетая женщина — в рубашке. Предлагая войти в клетку. А в клетке — лампа, кровать, стол, стул, на полу — таз и кувшин. Все, что нужно.

Идут по коридорам толпы мужчин всех цветов и всех наций. Таковы и проститутки. Больше всего итальянок и тунисских евреек.

Тунисская еврейка не стоит — сидит у порога. Она — тяжела и раскормлена. Груди свисают до живота. Крошечные ноги отказываются носить тело. Она сидит — и ждет.

Но как красивы у дверей полуголые арабки-девочки. Им по пятнадцать. Они стройны, как гнущиеся в ветре ветви. На плечах — легкие цветные шали. Всем одинаково говорят по-французски: — вьен! [1]).

Итальянки — нахальны. Хватают мужчин за ноги и пиджаки. Ругают площадно — неидущих.

Вот из клетки выскочила полуголая еврейка. Выталкивая пьяного зуава, кричит в бешенстве:

— Пошел вон! Свинья! Животное! Ты был у меня целых пятнадцать минут!

Раньше Форда поняли здесь, как дорога каждая минута.

У соседней закрытой двери стоят в очередь пять человек. За двумя неграми попыхивает трубкой — земляк.

— Вот — выбрал цацу. Всегда очередь. Оказывается — примадонна.

---

[1]) Иди ко мне!

А на концах коридоров — дорога под гору — изношенный и залежалый товар старух-проституток. Тут — темнее. И совсем тихо. И воздух — другой. На порогах сидят проститутки-старухи. Бабушки квартала, познавшие человечество. Изредка какая-нибудь бросит: — вьен! — но голосом, полным безнадежности.

Эксминистр юстиции.

В древней крепости арабов Касба, на улице Амазонок русские студенты празднуют 24 февраля 1922 года — «Татьянин день».

В комнатах союза — людно. Столы, где в будни лежат газеты, теперь накрыты скатертям. На скатертях сервирован татьянин ужин — с тунисским вином.

Но студенты — не начинают. Кого-то ждут. Он обещал и непременно будет. Будет — обязательно. И он действительно приезжает.

Высокий адвокатский человек. В сером костюме. В тон — чуть седеют виски. Идет в зал. Там таскают стулья из столовой студенты, переделанные в рабочих солеварен, железнодорожников, корчевщиков рощ и домашнюю прислугу.

Человек стоит привычно. Изящен. Чистым платком вытирает усы. Полстакана воды наливает приятным жестом оратора. Окидывает аудиторию, требуя внимания. И в наступившую тишину эксминистр юстиции бросает громкую баритональную ноту:

— Пять лет назад — в этот славный день я начинал мою речь словами: дорогие товарищи! — Но за пять лет традиционное обращенье стало кличкой, втоптано в грязь — и позвольте сейчас обратиться иначе: — господа!

Начало речи видимо удалось. Он делает паузу. И с еще бо́льшей энергией бросает новые и новые ноты:

— Пусть кругом еще мрак, — кричит эксминистр, — но предрассветный ветер подул пред зарею — он бежит и свежим дыханьем прогоняет кошмары тяжелого сна — заря идет — и встает Россия!

Вставая, все зашумели стульями. Перетаскивают обратно — к накрытым столам. Усаживаются. С краю садится эксминистр. И мощеобразная киевская курсистка с лицом, верным демократии, угощает его бутербродами. Он ест. Но недовольно смотрит поверх столов. Речь удачна. Но аудитория? «Чего они так набросились на эти бутерброды?»

Курсистка еле переводит дыханье, угощая министра вином. Он пьет мало. А за столом, опьянев, кричат о поденных, о заработной плате, о рабочих часах. Несутся проклятья оливам и пустыням. Арабские ругательства, мешаясь с русскими! Эпизоды на железной дороге! Доместики — про хозяев. «Бытие определяет сознание». Каждого с'ела профессия. Все не понимают, почему этот день называется — татьяниным. И позабыли, что человек в сером костюме, на краю стола вяло жующий бутерброды, — недавно вместе с Керенским произносил толпе речи с балкона.

В татьянин день, в узком арабском переулке, в скверной комнате — застрелился студент-зоолог. Вместо сердца, он разорвал пулей печень. Но— умер. А эксминистр Переверзев, обтирая усы от бутербродов, чересчур жирно смазанных маслом, пошел спать, недовольный аудиторией.

Бизерта.

В десять утра иду на корабль «Георгий Победоносец». В Севастополе он стоял брандвахтой. Теперь стоит у входа в Бизертский канал. И сходни с него упираются в берег.

На старом ветеране, много видавшем на веку, нет уж ни башен, ни орудий. «Георгием Победоносцем» командует черноморский адмирал Николя. На корабле живут семейные беженцы. Адмирал Николя — маленький старичок. Ничего в нем не осталось морского. По палубам бегают беженские дети. Гоняют серсо и кидают мяч. Леера и ванты завешаны бельем. Из кают и кубриков слышны голоса женщин. Дымом несутся пары и запахи — супов и пеленок.

От адмирала я узнал, что здесь старший офицер ст. лейт. Унгерн. Через пять минут я пью липтон в каюте лейтенанта. Он — в русской рубашке. С удовольствием, какое знают только военные, вспоминает прошлое: Черное море, взрывы и походы. Та же костромская борода. Он мнет ее в кулаке. Но лейтенант Унгерн скоро устает от воспоминаний. Ему тяжко жить среди примусов, детей и пеленок. К этому не идет валкая морская походка. Унгерну надо стрелять из орудий и распоряжаться фронтом моряков. А он назначен — командиром миноносца «Зоркий». Корабля— без команды. Без орудий. Без машин. Стоящего в ожидании — слома. Трудно лейтенанту жить на мертвом якоре.

— Чем в гостинице — нате ключ, идите на «Зоркий» — живите в моей каюте до от'езда.

Я беру ключ и на катере еду в залив. Группой стоят — на мертвых якорях — русские корабли.

На мертвых якорях.

Всякое кладбище навевает грусть. И грустью веет от кладбища кораблей в голубом заливе.

Я поднимаюсь по трапу на палубу эскадренного миноносца «Зоркий». Стою, пораженный картиной разгрома и запустенья. Все поломано, переломано. У машин нет манометров, медных частей. У моторов нет магнето. Мостики без медяшки, без компасов, дальномеров. Все, что можно загнать— загнано.

Отворяю командирскую каюту. Тут заботливая рука бережет еще покой и порядок. На койке — подушка и одеяло. На столе — Морской устав, памятная книга, судовой журнал, карандаши и ручки. На стене в раме — «Линейный корабль Екатерина II».

На соседнем «Звонком» — команда в пять гардемаринов. Им командует молодой мичман. Мичману карьера кажется головокружительной. Он полон надежд. Читает приказы. И горячится, говоря об интригах — его хотят обойти чином и не дают в командование миноносец 1-го дивизиона.

На «Пылком» — штаб и ставка адмирала Беренса. Тут — средоточие жизни кораблей на мертвых якорях в голубом заливе.

Адмирал Беренс — командующий эскадрой. Беренс высокого роста — с немецким лицом. У адмирала крупный нос, оплывшие глаза, лысая голова и крепкая лошадиная челюсть. Адмирал пишет, отдает приказы, смещает, благодарит. Адмирал выходит к под'ему флага.

Вечерами адмирал Беренс один — запирается в каюту. Говорят, человек с лошадиной челюстью пьет. Сидя в каюте, адмирал наливает бокал и оплывшим глазом смотрит фотографии кораблей эскадры Черного моря.

На командирском судне спущен флаг. Смеркается. Иду по палубе «Зоркого» — в каюту командира. Зажигаю три свечи. Жена командира и оперщийся на палаш офицер смотрят на меня — со стены. Невероятная тишина. Тишина, невозможная на миноносце. По обшивке, слава богу, пробежали, зашуршав, крысы. За бортом — донеслось — хлюпает вода. Я сплю на миноносце — в голубом африканском заливе.

На утро все смешалось. В иллюминатор отчетливо слышу униссон мужских голосов:

Отче наш...

В холодное утро в синеве озера красиво стоит белая парусная яхта «Моряк». На ее палубе, такой же, как и она, белый фронт матросов дотягивает:

...Избави нас от лукавого...

И дежурный кричит:

— Команде чай пить!

Бегут к камбузу за кипятком. Я вижу, как разойдясь по приборкам, драют медяшку, скатывают палубу. У трапа — часовой. На юте — вахтенный. Это гардемарины на яхте «Моряк», придя из Владивостока, живут по инерции.

К под'ему флага на «Пылком» — выходит небритый Беренс. Тяжким, за ночь уставшим взглядом смотрит на русскую эскадру. И отдает:

— На флаг гюйс — смирно!

Три миноносца тихо подымают флаги. Некому поднять на остальных. Корабли замерли в заливе. Беренс с палубы уходит.

Загуан.

Негры! Увы! Не голые дети тропика с пояском на животе и в руке с бумерангом. Негры — с винтовками, в синих мундирах шагают в ногу и косятся белками на разноцветных людей.

Я тоже не без интереса смотрю на них. Большинство — в чем-то вроде суконных мешков. В мешке — прорези для головы и рук. На голове — капюшон. Носки не закрывают голых икр. На ногах — сафьяновые туфли без задника. А некоторые в цветных жилетах и белых по колено шальварах, с широченным, болтающимся сзади мешком, как — курдюк мериноса.

На вокзале — коротенький поезд в Загуан. В нем мы поехали в глубь страны. Ибо Загуан — последний населенный пункт. А дальше — пустыня.

В окнах крутится голая даль — в дымке тумана. О ней нечего бы было сказать, если б римляне своевременно не покорили карфагенян.

Тут на камнях мечтательный солдат Сципион сказал: «Будет некогда день». Исчезло все. Забылись римляне. Победы Сципиона. В Риме сидят — Муссолини с королем и папой. Через каждые 300 метров в окнах поезда чередой идут гигантские столбы «Акведукус» — грандиозный водопровод, который, кажется, строили циклопы, а не римляне.

Идет дождь. Поезд мчится к горам Загуана. Дождь все сильней. Все затоплено тяжкой водой. Она летит ручьями из-под поезда. Это — необычайная африканская редкость. Это — бушуют неизвестно откуда залетевшие тучи на вершины загуанских гор. Одиноких, стоящих на равнине, как кулич на столе.

Загуан — в пустыне. Маленькая станция. Серые парные сумерки скрыли ее. На перрончике ждет рыжий сутулый юноша в роговых очках.

В гору дорога грязна и крута. На горе мутно белеют дома. Юноша поворачивает в первый узенький переулок. У арабской кофейни — стоп. Он ведет нас в кофейню.

Тут, застывши у огня, сидит желтый, как воск, старик в белой чалме и белом бурнусе.

В кофейне есть посетители. На лавках вдоль стен — шесть арабов. Красивый и гордый араб заговорил по-французски. И переводит изумленным берберам слова невиданных экземпляров.

Берберы повторяют — «русс, русс». Берберы улыбаются. Берберы кивают головами. О существовании этого народа они до сих пор не подозревали. Обсудив все, они ушли, белые и легкие, как птицы.

Хозяин запер засов. В кофейне стало тихо. Я проснулся — еще не рассветало — от тихой возни. Лампочка плохо освещает кофейню. Спавший у печки старик встает. Он — в чалме, но еще в длинной посконной рубахе. Склонившись над горном, старик раздувает огонь. Раздув, стал умываться. Потом садится на коврик — молиться. И кланяется на восход раскрытыми кверху руками. Очень хорошо быть арабом.

Помолившись, старик варит кофе. В маленьком жестяном ковшике с длинной ручкой. Он держит его на углях. И чуть только кофе закипел — вылил густой и черный в фарфоровую чашечку. Старик медленно пьет — с недвижным спокойным лицом. Глядит он куда-то — сквозь стены.

Потом, не торопясь, одевает белые шальвары. Накинул бурнус. Но застучала, трепыхаясь на петлях, дверь. Старик шаркнул засовом.

Кофейня.

Я очень люблю кофе. Чашечка стоит 10 сантимов. Крепко, горько и горячо. Но пока что — я гуляю по Загуану.

Ничего еще Европа не построила в Загуане. По кручам, ямам, провалам, уступам лепятся кусками мела плоскокрышие домики арабов. Окон нет. Двери — щели. Арабы шлепают по улицам колодками. На мою английскую шинель, все утро слоняющуюся в Загуане, арабы смотрят недружелюбно. Но я, ей-богу, не англичанин, дорогие арабы. Совсем даже наоборот.

Погуляв, я заворачиваю к старику — пить кофе. Посетители являются сюда периодически. Пьют по чашке — не платят. Старик мелом чертит на черной от дыма стене палочки. Я сижу здесь весь день.

Утром арабы пьют чашку, не засиживаясь. Опрокидывая, убегают на работу. В полдень — после обеда — сидят дольше. Пищеварят и дремлют под беседу. Вечером же — не расходятся. Это интереснейший час. Рядом — гордый араб. Я спрашиваю:

— Когда же арабы бывают дома?

Гордый пренебрежительно удивлен:

— Мужчине нехорошо сидеть дома. Дома — нечего делать. Дома мужчина ест и спит. Свободное время он — в кофейне с друзьями.

Они ведут разговор с горячими жестами. Другие дремлют на лавке — поджав ноги, прислонившись к стене. Оставив туфли под лавкой.

Как хорошо и как отдохновенно в загуанской кофейне! Я пил семнадцатую чашку. Тогда случилось — самое главное.

Дверь открыл кривой полуголый старик. Белые бурнусы встретили его ликованьем.

Старик, улыбаясь, сел среди них. Пьет предложенный кофе. Выпив, встал посредине кофейни. И — начал рассказ.

Голос араба дрожит. Замирает в шипящем шопоте. Бьется в истерике звенящим сопрано. Я, конечно, не понимаю слов. Но я — ошеломлен. Как все арабы, без дыханья слежу за отображеньем лица старика. Я чувствую, что старик говорит — о страшном. На лице его — ужас. Руки — извиваются змеями. Он делает прыжки отчаянья. Он бьет себя в грудь. Он стонет. И белые бурнусы бьют себя в грудь. И — стонут.

Старик смолк.

Это — арабский актер.

Сейчас он говорит о веселом. И тысячью лукавых улыбок собирается в складки резиновая кожа лица. Араб, скандируя, подымает каждое слово — кресчендо! Выше и выше! Громче и громче! Пока, ударив по гвоздю рассказа, голос не тонет в смехе и буре восторга.

Гордый говорит мне:

— Сначала он рассказывал — о страшном. Потом веселое — про арабского бея.

Где я? Что я?

Ше-хе-ре-за-да!

Деревенские мелочи.

Родион Акульшин.

Нарушенный обет.

Сколько раз я давал самому себе обещание: не писать очерков о деревенской жизни, не рассуждать на тему: кому плохо, а кому хорошо живется в настоящее время, не демонстрировать перед читателем искривлений нашего быта, не впадать в пессимизм.

И всякий раз, перед тем как дать зарок, я торопился написать о том, о чем нельзя было умолчать.

В дальнейшем, — думал я, — не будет надобности прибегать к очеркам, и я попробую заняться чистой беллетристикой. Мечтал о повести и для осуществления мечты ранней весной поехал на родину.

В воспоминаниях детства человека, выросшего в деревне, всегда выделяются весенние события. Можно забыть многое, что случилось в осенние дождливые месяцы, но нельзя вычеркнуть из памяти мартовских сосулек, замерзших за ночь лужиц, пробиваемых по утрам детскими ножками, а потом весело бегущих ручьев, скворчиных трелей, музыкального весеннего кукареканья петухов, всей милой апрельской суеты.

Весна, дети и воспоминания детства всегда настраивают меня на хороший лад. «Начать повесть весною — будет хорошим предзнаменованием ее успеха», — думал я, под'езжая к станции, где должен был сойти с поезда.

Лютый холод поторопился меня предупредить, что одной календарной весны еще недостаточно для хорошего настроения и благополучной жизни.

В одиннадцать часов вечера я был дома, до трех часов ночи время прошло в разговорах. А утром рано пришли соседи и соседки, друзей-ребятишек набилась полная изба. Встречать своего человека всегда приятно.

Маленькие получили по конфетке. Беспокойство больших не усладишь карамелькой с фабрики «Красный октябрь».

А потом потянулись тоскливые дни, я ждал, когда потеплеет. Холода не настраивали на повесть. Мелочи деревенской жизни отвлекали меня ежедневно. Заслуживают ли они оглашения в печати? Страницы наших газет и журналов охотнее предоставляются под статьи о строительстве новой жизни, о внедрении в городской и деревенский обиход нового быта, о достижениях на хозяйственном фронте.

Но все большое начинается с малого, и если об атомах пишутся целые книги, то как же замалчивать мелочи деревенской жизни, на фоне которых проходит вся жизнь крестьянина?

Преступники.

Слушал, как судили мужиков. Перед разбором дел по утайке продналоговых единиц судья долго беседовал с собравшимися, рассказывал им о мероприятиях советской власти на культурном и хозяйственном фронте, советовал, куда обращаться с различными нуждами, требующими юридической помощи, убеждал быть сознательными и активными участниками строительства нового здания, которое называется социализмом. Свою длинную речь судья украшал пословицами и примерами, и я видел по лицам мужиков, что они были со многим вполне согласны.

— Вот вы идете и видите: кирпичи, известка, доски — полнейший хаос. Проходит некоторое время — и на том месте, где был беспорядок, возвышается стройный храм...

— Коммунист, а про церковь говорит, — зашептали мужики.

— Так и в социалистическом строительстве, — продолжал судья, — некоторое время без хаоса не обойтись.

— Душевный человек, а говорили — очень строгий... — опять начали перешептываться собравшиеся.

— Не гляди, что в разговоре мягко стелет, а судить начнет — только держись.

Но и во время разбора дел судья сохранял отеческую нежность в голосе.

Первым на скамье подсудимых очутился красивый крестьянин, лет пятидесяти. Видно было, как он волновался: руки нервно сжимали шапку, как будто мужику хотелось сделать из нее шарик. Темные, с проседью, кудрявые волосы спускались на лоб. Один раз он поправил их левой рукой, и тогда всем бросилось в глаза, как дрожали у него пальцы. Густые нависшие брови затемняли грустные глаза.

Когда судья спросил:

— Отвод имеете?

Подсудимый ответил:

— Чего ж я знаю?

Вопросу о партийности крестьянин даже как будто удивился.

— Ну, в партии... Мужики мы, мужики и есть.

— Виновным себя признаете?

— Признаю себя виновным в том, что загонов мы в длину не меряем. Мы как меряем? Не сажнем, а шагами. Ну, могла ошибка выйти. Василь Фомич кажный вершок клал, а мы рази так меряем? А еще насчет овец. Не указанные овцы все ягняты, осеньчуки по-нашему.

Слово дали обвинителю. Неужели все обвинители на земном шаре вызывают к себе антипатию со стороны публики, не говоря уж о подсудимых? Такие обвинители, какого я видел на этом суде, действительно, ничего кроме

неприязни не могут заронить в сердцах слушателей. Прежде всего внешность: как будто искупанный суслик. Маленький, с узким вспотевшим лицом. Рот плохо закрывается, показывая отвратительные кривые желтые зубы. При разговоре брызжет слюною. Говорит напыщенно:

— Перед вами анологичный екземпляр. Вследствие его хитрости и пронырливости он создал себе хозяйство. Его доводы не соответствуют пролетарской сознательной критике, потому что психология крестьянина стоит в разрезе с действительностью. Я настаиваю поступить с ним, как с преступником, чего он наглядно для всех заслуживает.

Застенчивый защитник — комсомолец — сказал немного:

— Он нажил свое хозяйство не хитростью и изворотливостью, а своим горбом и мозолистыми руками.

С благодарностью все подняли головы на юного белокурого человека и подумали про себя:

«Молодой, а входит в крестьянское положение».

Больше десяти дел назначено было к слушанию. Я не досидел до конца. Но в этот день все село пережило большую радость: виновных приговорили к легкому штрафу. А они ждали тюремного заключения.

— Никогда теперь зерна не утаим, — говорили судимые.

— Не стоит этого делать, — убеждали судимых соседи.

Чуткий судья сделал большое дело: он пробудил в крестьянах сознательность.

Разговоры.

В избе много народу, нехватает стульев и табуреток.

— Не господа, — на полу посидим, — говорят гости и рассаживаются, как татары.

Тетка Алена пришла раньше других, когда мы еще пили чай. Пригласили тетку. На столе в банке кетовая икра стояла. Задела тетка чайной ложкой икру — и в стакан.

— Ой, батюшки, блестки!

— Икра это.

— А я думала, варенье из красной смородины. Что ж, крупная какая? Неужли такая рыба водится?

— Давай в ведро вылью, — сказал я тетке.

— Что ты, — удивилась она, — такую штуку в ведро. Выпью.

Потом уже, когда пришли другие: бывший красноармеец, заслуживший орден Красного знамени, соседи — Федор, Степан, Никифор и Василий, соседки — Авдотья, Прасковья и Пелагея,—тетка Алена рассказала им, как она напилась чаю «со смородиновым вареньем».

С икры разговор перешел на тему о том, что едят в городе и в деревне. Степан припомнил, что в старинных отрывных календарях для «господ каждый день перемена была: форшмак, кулебяка, хворост, пудинг»...

— С чем такую стряпню едят — с чаем, со щами или «само собою»?

— Господа знают.

— А что, если сказать господам про затируху, — небось, они никогда не слыхали, какая такая затируха.

— Мы приспособились пельмени с кислой капустой в самоваре варить. Очень ловко: закипают быстро, дров нужно мало и никакого чаду, — похвалился Василий.

— У вас, наверно, самовар большой?

— Ведерный. А крышку, конечно, не закрываем.

Сидящим на кровати стало тесно. Федор в шутку сказал Степану:

— Буржуй, не можешь на полу посидеть.

— Что мне на полу садиться? С меня вон сколько дерут, а ты хочешь меня на пол посадить.

Из семисот домохозяев нашего села самую большую сумму налога уплатил Степан.

Что он имеет? — Две лошади, две коровы, шесть овец, семь десятин посева. Семья состоит из трех человек.

Центральной налоговой комиссией предполагается, что от лошади крестьянину в нашей местности годовой доход — 23 рубля, от коровы — 15 руб., от овцы — полтора рубля, с десятины посева — 36 руб. По такой расценке хозяйство Степана должно давать 324 руб. доходу в год. Исходя из этой цифры, волостная комиссия определила сумму налога на Степана в 44 руб. 10 коп. Но при этом не было принято во внимание, что десятина посева в 1927 году дала доходу не больше 15 рублей (вместо 36), что лошади вводили только в расход, потому что доход от них тогда, когда они работают При неурожае лошади уничтожают лишь запасы корма.

Кроме 44 руб. 10 коп. Степану пришлось внести 15 руб. 75 коп. по самообложению, в семенной фонд отвезти хлеба на 4 руб. 80 коп. и заплатить 11 руб. 85 коп. страховки.

Итог: с предполагаемого дохода в 324 рубля вычетов на 76 руб. 50 коп.

Если бы высчитывать доход правильно, считаясь с неурожаем, то в 1927 году в окладном листе Степана значилась бы сумма не в 324 руб., а самое большее в 150 руб. Взято с него 76 руб. 50 коп.

Я не знаю цифру налога на торговцев, но с человека свободной профессии, если он зарабатывает три тысячи рублей в год, взимается лишь 50 руб. с уплатой в четыре срока.

Тетка Алена уступила «буржую» свою табуретку и полезла на печку.

— Я все думаю, — сказал Никифор, — что скоро установят налог на окошки: у кого больше окошек, с того и налогу больше.

— Оконный налог не страшен, — улыбнулся заслуживший орден Красного знамени, — окна можно досками забить, глиной замазать.

— А как же солнышко? — спросила Авдотья.

— Солнышко?.. На улице много солнышка.

Настроенный коммунистически красноармеец, вернувшись из армии с Туркестанского фронта в деревню, со всем пылом страсти принялся агитировать за культурное ведение хозяйства, уговаривать соседей перестроить

всю жизнь на новых началах, пересказывать мужикам то, что слышал на лекциях и собраниях в городе. Мужики не возражали оратору, потому что были уверены, что красноармейского пылу хватит не надолго. Прошло недели две, и все стало сбываться, как по писанному. На красноармейцева отца наложили, как показалось сыну, чересчур много налогу. Сын поехал в вик, раскричался, но его крика не испугались.

— Погодите, голубчики, напишу Буденному, не так запоете!

В простоте душевной красноармеец думал, что Буденный в состоянии отвечать миллионам отпускников. Ответа на свои вопли заслуженный конечно, не получил. Агитация за новую жизнь прекратилась. Красноармеец стал решать трудную задачу.

— Когда я был на службе, то слышал одно; когда я пришел домой с контуженным черепом, то слышу и вижу другое. Я пробовал указать на это разногласие, обращался к верхам, но они как будто воды в рот набрали. Что все это значит?

Разочарование контуженного еще более усилилось, когда на собрании членов пайщиков кооператива председатель-коммунист не дал красноармейцу слова только потому, что членская книжка выписана на его отца.

— Вы не член кооператива, и вас лишаю слова, — решительно заявил председатель.

— Я пожертвовал своим здоровьем для того, чтоб мой отец мог иметь членскую книжку.

— Это было там, далеко. И то, что вам пробили череп, совсем не удивительно. На фронте пострашней штуки бывают.

Красноармеец, плюнув, хлопнул дверью.

С течением времени чувство неприязни к «верхам» ослабло, превратившись в ироническое ко всему отношение.

— Налог на окошки? Подумаешь, какая беда. Стекла разбил, досками заколотил, глиной замазал — небось, не придерутся.

— Выдумают шут те знает чево, — добродушным тоном сказала Прасковья, — начальники-то со смыслом небось, понимают, что на свет и на окошки нельзя налог устанавливать.

— Плюньте вы, ради бога, на эти окошки, — осердилась Авдотья, прижавшаяся к голландке, — про войну ничего не пишут?

Налог и война — две тревоги, не перестающие волновать деревенского жителя. Война, о которой говорят в деревне, в неизбежности которой уверен и старый и малый, представляется всем таким страшным бедствием, пережить которое крестьяне будут не в состоянии.

— Все погибнем, — вздохнула Пелагея.

— К тому идет, — поддержала ее тетка Алена.

— Постойте, я сейчас к Апросе сбегаю, у нее листок чудесный. Монашкам с Украины прислали. Очень хорошее чтение, — засуетилась Прасковья.

Пока она ходила к соседке за «листком», я постарался утешить напуганных, что войны не будет, а если и будет, то уж не такая страшная, как

все думают. Меня поддержал красноармеец, забывший в этот момент про свои обиды.

— Небось, наши тоже не спят. Враг ползет, сумеем нос заворотить.

Прасковья принесла свернутую много раз бумажку, протертую в местах сгиба. Послушать «хорошее чтение» пришли хозяева листка — Апрося и ее мать Катерина. Все насторожились. Красноармеец улыбнулся и кашлянул. Я начал:

«Копия с копии. Чудесное явление. Господи благослови. Сие явление было в селе Домладове Черниговской губернии 30 июля перед Спасом. Было видение двум мальчикам, которые пасли стадо скота. Было так. Один Емельян, а другой Николай, одному 14 лет, другому — 12. Мальчики увидели на небе облако розового цвета и столб от земли до неба и крест, а на кресте был человек. И он отделился от креста и встал перед ними на воздухе, три аршина от земли. Под ногами был свет необыкновенный. Он был окружен семицветной радугой, и явилось множество ангелов. И все ангелы запели «Херувимскую». Вдруг растворяются врата, и облако восходит на небо. Он приходил правду говорить и кто был на полях, все слышали и радовались. А потом господь сказал мальчикам: «Слушайте голос мой, скоро приду судить нечестивый мир за то, что старые не соблюдают постов, а молодые говорят: «Бога нет!». Нет, я есть, и для того явился, чтобы не ослабевала вера, но больше утверждалась. Скоро я начну истреблять нечестивых, которые от меня отступились. Они узнают меня в мучениях, а праведники возрадуются. До седьмого колена истреблю отступников. Запишите, мальчики, что слышали от меня, и всем этот листок передавайте, и кто его спишет, того помяну я в царствии небесном». И остались все в большом горе и страхе от виденного света. Господь сказал, чтобы верные рабы готовились на духовную брань и на скорби.

С подлинника списал Петр, который был у мальчиков. Они всех упрашивали со слезами, чтобы каждый плакал о грехах своих».

Притихли все. Тетка Алена плакала на печке, мать заохала, что с голодного года не соблюдает постов.

— Никто не виноват, — сказала сердито сестра, — будешь вот в смоле кипеть.

— Здорово, — сказал красноармеец, — энергичные эти попы, никак не хотят сдавать своих позиций.

— А ты ладно, — напустилась на красноармейца тетка Алена, — у тебя везде позиции...

— А то как же, вон и Христос хочет войной итти на нечестивых. Наверно, газовую атаку откроет.

Мужики молчали.

— Ну, а по-твоему как? — спросил у меня Федор.

Пришлось долго говорить о том, с какой целью фабрикуются божественные чудеса.

— Не беспокойся, мама, в ад не попадешь.

— Я так думаю, — решилась вставить критическое замечание Авдотья, — что, если б такая веща случилась, неужто бы в газетах не пропечатали? А то больше полгода прошло, и никакого слуху не было.

— Ну вас, отдайте листок! — осердилась Апрося, выхватила из моих рук рукопись и убежала. За нею ушла и Катерина.

— А уж как все к ним идут, — посочувствовала Прасковья, — письмы присылают из Самары, из Бузулука, из Оленбурга, чтоб листок списали. Марку на ответ вкладывают.

— Легко русского человека обмануть, — почти одновременно сказали Степан и Никифор.

— Потому что темный он, — сделал пояснение красноармеец, — просвещать его надо.

Но тут внимание всех привлекло незначительное событие, и даже не событие, а самая обыкновенная серая кошка. Солнечный четырехугольник упал на пол. Все взглянули в окно: с крыши падали капли — таяли сосульки. Кошка тоже заметила яркий свет на полу. Спрыгнув с лавки, она вошла на солнечную площадку и улеглась, вытянув ноги. В раздувшемся ее животе что-то вздрагивало.

Все посмотрели на кошку и заулыбались, сами не зная чему.

— Она у вас скоро окотится, — сказала Авдотья.

— Ящик надо найти, — вспомнила мать, — вчера думала об этом...

— Гляди, гляди, как играют.

— Солнце чувствуют.

Кошка и неродившиеся «играющие» котята отвлекли собравшихся от волнующих разговоров.

Красноармеец сказал:

— Греется на солнышке, и ничего ей не надо. Играют котята в животе, и от этого матери радость.

Не обращая ни на кого внимания, кошка повернулась на спину. Солнечные лучи падали на живот, согревая неродившихся.

Выдернутый зуб.

Идет женщина по дороге, плачет. Посмотрела сестра в окно, говорит:

— Окся Архипова чуть плетется и глаза утирает.

Выбежала на улицу, кличет:

— Постой, зайди!

Окся нам двоюродной сестрой доводится.

Входит плачущая в избу, слова не может сказать.

— Что с тобою?

— Ох, — стонет Окся, — как я теперь Ване покажусь?

Дали воды выпить, успокоилась немного, про свое горе рассказала:

— Зуб болел нижний. Три ночи криком кричала. Ваня говорит: «Сходи в пятницу в Павловку и выдерни, чем так маяться». Пришла я нынче к доктору, а он и на доктора не похож, — совсем парнишка. Как прихватил щипцами, думала, душа из меня вылетит. Захрустел зуб, выдернулся, а док-

тор этот, чтоб у него руки отсохли, в ведро выдернутый бросил и мне не показал. Гляжу, опять щипцы в рот совать хочет. «Еще, — говорит, — надо один разок дернуть, корень остался». Только хотел начать, я и взгляни в ведро, а там мой зуб здоровый лежит, а больной во рту. Я кричать: «Эх, ты, погубитель, — сказал бы раньше, что дергать не умеешь. Не дам тебе больше ничего». А он вспотел и говорит: «Со всяким ошибка бывает, садитесь, теперь не ошибусь». Чего делать? Села.

Тут Окся опять заплакала.

Жизнь некоторых женщин складывается очень несчастливо. До замужества Окся была полная, румяная, считалась первой девкой в селе. После замужества красота как-то слишком быстро поблекла, и Окся постарела прежде времени. А тут несчастье в семье: каждый год падала скотина — то корова, то лошадь. Единственная девочка после тяжелой болезни сделалась глухонемой. Возили девочку к знахаркам, колдунам, никто не мог вылечить. Новое испытание постигло несчастную мать: глухонемая сгорела. Топили голландку, девочка подошла близко, платье вспыхнуло. Мать была в сенях, отец на дворе. Услыхали крик, прибежали, а девочка лежит на полу вся обгорелая. Соседи пришли, сочувствуют:

— Бедная. Красивенькая была.

А другие утешают:

— Прибрал господь, — хорошо, что пожару не наделала.

К вечеру девочка умерла. Прибавилось горя в сердце матери, легли на лицо новые морщины. А морщины — тоже забота, тоже сухота, когда муж лицом моложе своей жены. Беспокоят морщины не одних городских женщин. В деревне для омоложения лица средство знают: раствор сулемы в молоке. Называется это средство «протиранием». Посоветовали Оксе «протираться» — как будто посвежело лицо. Но это лишь кажущееся посвежение. Сулема еще больше старит тело. И зубов здоровых мало осталось. Как не убиваться о здоровом зубе, выдернутом по ошибке «доктора-парнишки»?

— Что теперь Ваня скажет? Господи, в кого я несчастной такой зародилась? Не одно, так другое. Опомниться не успеешь, новая беда.

— Слезами горю не поможешь, вставить надо, — сказала сестра.

— То надо, другое надо, третье надо. Где взять денег для «нада»?

— Ты про зуб Ивану не говори, можа он не заметит.

— Ну, не заметит. Как станем обедать, так и заметит.

— Садись как-нибудь с другого боку.

* * *

Сколько десятилетий потребуется для того, чтобы вытравить из крестьянской жизни косность, суеверия, дикость?

Новая жизнь, новая деревня, новый мужик. Когда об этом пишется в газетах, то, вероятно, некоторые читатели представляют себе какую-то нарядную деревню — с сознательной молодежью, с сознательными женщинами, с чистыми крестьянскими избами, с благоустроенными хлевами для скота.

Все это есть. Но в таких ничтожных размерах, что совершенно тонет в омуте темноты и дикости.

В больших волостных центрах еще можно кое-что найти для газетных восторгов. Но как живут за шесть, за десять, за пятнадцать верст от волости?

Нет больницы, нет фельдшера, нет лекарств. Заговоры, нашептывания, самодельные снадобья.

Рассказ бабы:

— Сказал он мне: «Эту хворь не лекарствами надо лечить. А как поедешь через мост, подрубашницу сними и в речку брось. И боже тебя сохрани — оглядываться. Оглянешься — век будешь чахнуть». Еду я, что надо, приготовила. Как лошадь на мост взошла, бросила я подрубашницу назад, чтоб не увидать мне ее. А на другой берег выехала, никак не стерплю— взглянуть охота. Постояла, постояла, не знаю — дальше ехать, не знаю — оглянуться. Пускай, что будет, то и будет, — оглянулась. И что ж, милые, висит подрубашница на мосту, зацепилась за доски. И ветер раздувает. Вот как мне ее жалко стало. Лошадь остановила, вернулась назад, взяла, к груди прижала, как дитя родного. Пожалела подрубашницу, о здоровьи тогда не подумала, а теперь каюсь. Как ненастье — в спине мозжит. В кажный час колотье под ложечкой.

Еще рассказ:

— Подняла я на заднем дворе яйцо. На яйце тоненькое перышко. Принесла домой, положила на стол. Со стола на окно стала перекладывать,— в яйце как бултыхнется чевой-то, как в бочке. На смерть перепугалась. Вынесла яйцо на улицу, покатила подальше от избы. На другой день утром поглядела, — ни яйца, ни перышка. А Верку тут же закорежило, и Анютку тоже: в руках и ногах ломота, в кострецах никакого терпенья. Через сколько времени Верка родила, и Анютка на нее глядя. У Верки муж, Анютка — девка. С чего взялось, ума не приложу.

По селу сильно распространилась «неаккуратная» болезнь. Вместо того, чтобы ехать к доктору, больные идут к коновалу, который прожигает все внутренности десятипроцентным ляписом.

Люди навсегда теряют здоровье, а лекарь богатеет: все, что больные имеют, они отдают за леченье.

Несколько зажиточных крестьян за одну зиму превратились в самых бедных. «Неаккуратная» болезнь под наблюдением коновала погубила людей и окончательно разорила хозяйство.

В той грязи, в том смраде, в каком живут многие, нельзя не заразиться.

Вот зажиточная семья. Много скота, много хлеба, есть средства построить теплый хлев. Но люди предпочитают дышать смрадом. В избе двенадцать ягнят, три теленка, куры. Некуда поставить ногу, чтобы не выпачкаться. На телячьем помете стоят красна, девка ткет холст. Едкие зловония, как в железнодорожных уборных, душат.

Пробыв пять минут в вертепе, выскакиваю и бегу без оглядки, будто за мною мчится стая бешеных собак.

Запах хлева, запах навоза мне нравится, когда этот навоз на дворе, на воздухе. В избе телячья и овечья моча стекает под пол и там гниет в течение целой зимы. Вонючие, нестиранные пеленки сушатся на печке.

Когда подумаешь о таких условиях жизни, то мечты о счастливом будущем испаряются, и на сердце остается тяжесть.

Грязь можно извинить бедностью. Но я замечал, что чем богаче наш, средней России, крестьянин, тем в его доме грязнее.

В семье есть девицы и парни. Дети берут пример с матери. Дочка выйдет замуж с приданым. Ее приданое — уменье разводить грязь. Вырастет сын, женится, будет хозяйство вести, амбары доверху хлебом заполнять, а дышать испражнениями и спать на навозной жиже. Кошки, собаки себя охорашивают. Чем многие люди отличаются от свиней? Но свинья лезет в грязь по необходимости. Желание как-нибудь заглушить зуд от укусов многочисленных блох заставляет свинью тереться о заборы и валяться в грязи. Купайте свинью, ухаживайте за ней, и она будет примером чистоплотности.

Рушились мозги.

Что творится на улице? Все торопятся куда-то. Бегут старые, молодые, ребятишки. Девочка плачет, спотыкается. Мать кричит:

— Вернись, мерзавка!

А девочка умоляет:

— Ой, маманюшка, возьми с собой.

— Вернешься, мучительница? — спрашивает мать в последний раз и, поднимая палку, грозит дочери. Плачущая прячется за углом в переулке.

Три запоздавших девицы на-бегу перекидываются отрывистыми фразами:

— У Марьи Филатовой...

— ...мозги рушились...

— Ох, опоздаем.

И слепой старик ковыляет к месту происшествия, нащупывая дорогу палкой. Девочка выходит из-за угла, озирается. Убедившись, что матери поблизости нет, бежит.

— Кто это? — спрашивает слепой.

— Я, Дунька.

— Доведи меня.

— У тебя глаза белые, ты ничего не увидишь.

— Услышу что-нибудь.

— Сюда бегут!

Шум приближающейся толпы все ближе. Слепой отходит в сторону, спотыкаясь в сугроб.

Прежде всего доносятся восклицания ребятишек, как будто гонимых ветром. Они так похожи сейчас на то, что летит вдоль улицы перед грозою летом.

Ребятишки запыхались.

— Ох, и страшно.

— То молится, то ругается.

— Плюется.

Взвизгнувшая девка, прислонясь к забору, переводит дух:

— Оглаушит чем-нибудь. Что с нее возьмешь?

Бабы жмутся к воротам. Теперь видно больную женщину с растрепанными темными волосами. Красивое, сильно похудевшее, восковое лицо.

Гвалт не затихает:

— Не пускайте ее!

— Все одной испугались!

— Связать надо!

Больная падает на колени, молится, кланяясь по очереди на четыре стороны. Бабы собираются кучками. В каждой кучке свои разговоры:

— Она все думала, думала. С прошлой весны думать начала, не пила, не ела.

— Глядите, глядите, девчонка-то ее старшая как убивается.

— Вон какой покор. Теперь вырастет — кто замуж возьмет?

Высокого роста черница с раскрытым евангелием ходит вокруг больной.

— Простите меня, — просит больная, — грешница я великая.

Человеческое сердце отвечает:

— Все не без греха.

— Чем ты грешнее других?

Больная падает вниз лицом. В блюде приносят святую воду, брызгают кистью. Бабы и девочки крестятся. Черница читает главу из евангелия об исцелении бесноватого в стране Гадаринской.

Больная встает и передразнивает черницу. В мужиках просыпается бессердечность:

— Где ее хозяин-то? Степан-то где? Дал бы взбучку хорошую, чтоб не озоровала.

— В расстройстве он.

Муж, с краской стыда на лице, подходит к жене, трясет кнутом.

— Ты будешь, сволочь эдакая?

Три девочки и два мальчика хватают за ноги отца:

— Ой, тятянюшка! Чево ж мы теперь будем делать?

Больная умоляет:

— Бей меня, Степа! Грешница я. И ты, Степа, грешник. В солдаты тебя брали, — я тяжелая была. А ты сказал: вытравить надо. Вытравила. На побывку к тебе поехала, опять забеременела. Не хотела вытравлять. Ты велел. И летось через тебя. Говоришь, много ребятишек. Вот. Ну, бей! И себя тоже.

Старшая девочка подходит к своей крестной матери, утирая слезы, спрашивает:

— Она умрет?

Крестная утешает крестницу:

— Конечно, умрет!

Девочка сомневается:

— А ну, как не умрет? Задражнют тогда, на улицу нельзя будет выйти.

Больная пробует запеть молитву. Чужой мужик грозит палкой:

— Ты перестанешь озоровать, стерва? Ишь, притворяться вздумала.

Желая остановить «озорство», мужик тычет больной палку в рот, а больная снова начинает сокрушаться:

— Я не записана, на том свете не записана. Пошла в рай, а мне дорогу загораживают: «Ты не записана, тебе нельзя. Отцу, матери и сестрам можно, а ты — грешница, младенцев своих погубительница».

Черница читает псалмы. Больная впадает в буйство. Подняв с дороги замерзший катях, она бежит за монашкой.

Толпой овладевает жестокость:

— Веревку давайте!

— Ловите ее!

— Плетью, плетью озорницу!

Больную связывают. Она стонет. Дети плачут. Муж в отчаянии:

— Буду я с ней возиться. Отрублю голову и больше никаких.

Больная просит:

— Не вяжите меня! Больно, ой, больно! Сердце мое связано! Грехом связано. Горит сердце. Дайте водички глоточек! Кума Варвара! Сваха Прасковья! Три зачатья я погубила!

Связанную по рукам больную уводят. Народ постепенно расходится. Издали доносится крик больной:

— Степа, Степа, ты мне велел убить младенчиков!

Слепой, отделяясь от забора, обращается с вопросом в пространство:

— Люди, кто пожалел больную?

Девочка, которой грозила мать, спрашивает у слепого:

— Дедушка, я доведу тебя до дому? А то в сугроб попадешь.

Несфабрикованный энтузиазм.

О комсомольцах хочу сказать несколько слов. Страшно текучий состав нашей ячейки. Не приезды и от'езды членов создают текучесть. Женитьба — могила комсомольских идей. До женитьбы человек ходит на собрания, избирается на конференции, стремится проводить в жизнь задания райкома.

А задумал жениться — всему конец. Без венчания свадьба не в свадьбу.

— Что дороже для меня: членская книжка или Анютка Сибирцева? — решает задачу секретарь ячейки.

Членская книжка из бумаги сделана, а в Анюткином сердце любовь до гроба. Побаловался малость и хватит, за ум надо браться.

Созывает секретарь собрание экстренное, информирует товарищей:

— Полномочия сдаю. Венчание назначено на воскресенье. Из церкви с Анюткой в венцах пойдем. Желание есть, приходите поглядеть.

Но у товарищей гoдá не вышли для женитьбы, а за «погляденье» могут из комсомола исключить.

— Принять к сведению, — заносится в протокол собрания.

В воскресенье тот, кто четыре года громил попа, примиряется с ним у аналоя за таинством бракосочетания.

Когда молодые, в венцах, торжественно сопровождаемые толпой со всего села, проходят мимо читальни (мода в венцах приходить из церкви домой прекратилась лет сорок назад, — как не полюбоваться на ее возрождение, на возродителя этой моды — секретаря комсомольской ячейки?), когда прохотят молодые мимо дома, где происходят собрания комсомольцев, «секретарь» вглядывается в окна. Заметив товарищей, улыбается:

— Завидуете?

Около десяти лет существует наша ячейка, но еще, кажется, не было ни одного примера со стороны комсомольцев: отпраздновать свадьбу по-граждански. Вступление в комсомол — забава для многих деревенских парней. Был одно время в нашей ячейке такой секретарь, который очень любил везде комсомольскую печать прикладывать. В первый раз, когда он шел с печатью из райкома, то по дороге переметил все пеньки и осины. На своем лбу две печати поставил, а, придя домой, грабли, дуги, телеги, рыдваны от пропажи печатью застраховал.

— Наши грабли с комсомольской отметиной, никто теперь не украдет.

Недавно молодой человек спрашивает у меня:

— С того конца идете?

— Да.

— Читальня открыта?

— А разве в нашей читальне есть литература? — в свою очередь спрашиваю у парня.

— Не литература, а танции.

Кавалер спешил на танцовальный вечер. За неимением газет и журналов, досуг заполняется пляской. Иногда, раздобыв несколько гривенников, ячейка на месяц выписывает что-нибудь, но так как источником средств являются лишь проезжие артисты, то и денег у комсомольцев почти никогда не бывает.

За последние годы по селам и деревням гастролируют акробаты, певцы, фокусники. Собирают они в вечер два-три рубля. Процент с такого сбора в пользу ячейки ничтожен, многого не навыписываешь. Но все же комсомольцы не падают духом. В каждый советский праздник в полуразрушенном, неотапливаемом, без окон и без дверей, нардоме они ставят спектакли, танцуют в читальне, выполняют задания райкома. Правда, пятнадцатилетний парень, уговаривающий крестьян больше сеять хлеба, выслушивает от уговариваемых такие советы и замечания:

— Сначала под носом вытри, а потом раз'яснять начинай.

— Ты недавно из пеленок вылупился, а мы всю жизнь в земле возимся.

— С твоё знаем!

Попробовали недавно комсомольцы в присутствии беспартийных вынести постановление: не курить в читальне. На следующий день, забыв про постановление, один начинает дымить.

— Делаю тебе замечание, — говорит ему беспартийный.

Комсомолец продолжает курить.

— Ставлю на заметку второй раз, — не унимается беспартийный.

Комсомолец как будто не слышит.

— Наплюй ему по энту сторону зубов, — советуют беспартийному товарищи.

Сторонник порядка вышибает из комсомольского рта цыгарку. Начинается драка. Но и после нее комсомолец не твердо усваивает правило: выполнять зафиксированные в протоколе постановления.

Есть в нашей ячейке «оратор». На всяких торжественных заседаниях с речью выступает Речистов Кузьма. Как иногда верно определяют людей фамилии. Но в данном случае «Речистов» звучит иронией, потому что оратора не понимает ни один человек. По каким законам комбинирует он иностранные слова, откуда он их выкапывает, каким образом запоминает, — совершенно непонятно. Вот его «слово» на открытии потребительского общества:

— Товарищи! С точки зрения собственнической агитации — кооперация есть торжественная активность во внутренних делах устройства жизни. И поэтому ячейка Выелкаисэм живой тесной связью приветствует продуктивность товаров и всегда поддержит стабилизацию в индустриальном развитии экономической торговли. Солидарное рабоче-крестьянское правительство построило для идейности Волкострой. И эта искра долетела до нас по беспроволочной экскурсии, и потому я даю твердую торжественность — кооперацию с помощью ячейки не загонять в тупик, а навсегда помогать прогрессивности!

Кузьма любит петь нежные романсы. Летними вечерами я вижу его одиноко фланирующим по церковной площади. Лишь только заря погаснет на куполах, оратор превращается в покинутого всеми меланхолика:

Позовите ко мне музыканта,
Пусть сыграет разлучный мне вальс,
Как мы с милой навеки расстались,
Помирить было некому нас.

Певец оглядывается по сторонам. Если поблизости нет никого, следующий куплет поется погромче. Ведь так приятно иногда показать себя презирающим толпу, но все же созерцаемым этою толпою издали.

И вот выпала тяжкая доля,
Умерла моя рóдная мать,
Очерствела душа молодая,
Я решился пойти воровать.
Я, как коршун, по свету скитался,
Для себя я добычу искал,
Воровством, грабежом занимался,
А потом за решотку попал.

Певца услышали. Две барышни затаились в тени каменной мрачной церкви. Почти неслышно проскользнули они, но поющий их заметил. Теперь

можно петь потише. Поправив белую апашку, затянув ремень на брюках, певец продолжает:

За решеткой сидеть было трудно.
Поседела моя голова,
Куда делся мой прежний румянец,
Куда делась с лица красота?

Певец встает на цыпочки: если б хоть на один вершок быть повыше ростом.

Но песня не докончена.

Я случайно с тобой повстречался,
И увлекся твоей красотой,
И жестокою клятвой поклялся
Неразлучно быть, детка, с тобой.
Полюбить ты меня полюбила,
Приласкать ты меня не могла,
Расписаться со мной ты хотела,
Но уж поздно, голубка моя.

Неужели не окликнут певца притаившиеся в тени? Хорошо бы встать между ними и ходить под луною молча.

— За что меня барышни не любят? — спрашивает оратор у луны, а потом подходит к паперти, садится на каменную ступеньку и, поставив левый локоть на колено, опускает голову на руку. Тень от кудрей падает на воротник апашки. Девицы с хихиканьем пробегают мимо застывшего в раздумьях певца. Какая трагедия — совмещать в себе способность петь трогательные романсы с уменьем говорить непонятные речи.

Девицы любят первое, но страшно боятся второго.

Снуют летучие мыши. Им хочется сесть на белый воротник. Проснувшиеся галки одну минуту разговаривают на колокольне, и снова успокаиваются. Комсомолец встает. Идет сначала молча, но молчать невыносимо больно.

Любовь тогда лишь хороша,
Когда взаимною бывает...

Неужели и этот наденет венец?

Кто ж будет тогда выступать с речами на торжественных заседаниях и петь чувствительные романсы лунными ночами на тихой церковной площади?

От автора.

Тем и неудобны статьи, что в них много всяких пояснений «от автора». Приходится показывать свое лицо, рассказывать читателям, чем болеешь, почему огорчаешься. Как легко в беллетристике завуалировать свою физиономию, как соблазняет меня повесть.

Максим Горький в письме рабкорам говорит:

«Многие из вас любят «мораль пущать». Это занятие не очень полезное. Лучше бейте смехом».

Но не все может быть предметом осмеяния — шутливого, дружеского, иронического, убийственного.

Суеверия, грязь, издевательство над больной женщиной, бедность, — как посмеешься над этим?

«Пущание морали», правда, не дает удовлетворения, но сильнейшее желание залечить язвы жизни заставляет показывать их ничем не прикрытыми. Сами больные часто скрывают свои болезни. Кто-то должен срывать покровы, чтоб врачи-исцелители уведели раны и поспешили с помощью страдающим.

Сколько раз я давал себе зарок — бросить селькоровскую работу. Вот и теперь решаю покончить с ней, а знаю в то же время, что не утерплю. Нужно порвать с деревней для того, чтобы не волноваться ее событиями. Но разве можно это сделать? Ни умом, ни сердцем я не могу допустить такого разрыва.

Я даже вот в этих очерках не коснулся очень многого. Ясли, кооперация, русская горькая, сельскохозяйственная выставка, выдвиженцы от крестьян, — нужно бы сказать об этом.

Может быть, лучше бросить зарекаться и не торопиться с повестью?

«Кратчайшие пути часто приводят к позору», прочитал я в какой-то книге.

Но я все-таки попробую, ни на минуту не забывая о том, что родник, меня питающий, — русская деревня.

По Башкирии

Степан Злобин.

Когда я пыльный с дороги пришел к председателю аульного совета и спросил, куда он меня поставит, — он удивился:

— Ты ко мне пришел?

— Пришел.

— Как же я тебя пущу?! Мне будет стыдно, что ты из моего дома ушел к другому — ты гость!

Я остался у него...

Баня. Обыкновенная деревенская баня — просто печка, в ней и моются, причем моются холодной водой. Я так не умею — весь выпачкался и, по секрету от хозяина, сбегал на реку, чтобы отмыть банную грязь. Я долго прожил в этих краях, а мыться в бане так и не научился и всегда после такой бани ходил купаться на реку.

После бани хозяин извинился, что нет мяса:

— Ты человек дорожный, тебе махан надо... — и вдруг нашелся. — Балык (рыбу) ашаешь?

— Ашаю.

Он обрадованно позвал мальчишку лет десяти. Пока я развязывал вещи, брился, говорил об урожае, — прошло с полчаса, — явился мальчишка с тройкой щурят. Щурята были еще живые. Я удивился, откуда они.

Хозяин пояснил:

— Малай поймал.

Я вспомнил наших городских рыболовов, многотерпеливых спортсменов, ради трех пескарей сидящих по полсуток у реки.

— Как же он поймал? — спросил я.

Мальчишка усмехнулся:

— Арканблян тютдым! (арканом поймал).

У мальчишки в руках было удилище с прикрепленной к концу волосяной петелькой. Оказалось, река так прозрачна, что видно, как стоит щука, ей под морду подводят петлю и затягивают под жабры. Это не сказка. Мальчишка каждый день приносит 2—3 щученок. Я сам раз пошел с ним, но после того, как спугнул зря крупную рыбу, мой малолетний провожатый рассердился, отнял у меня орудие своего промысла и ни за что, несмотря на

просьбы отца и мои, не хотел больше оскорблять свою ловушку прикосновением такого разини, как я.

* * *

Прежде было много земли, и башкиры целое лето кочевали; одна деревня кочевала в лесу, другая — в степи.

Теперь земли мало. Кочевка — пустое слово: кош (летняя юрта) часто и летом лежит в разобранном виде на крыше сарая. Немногие деревни выезжают на кочевку. Иные ставят у себя кош во дворе и переходят в него из зимней избы. Иные выезжают на все лето саженей за двести от деревни. Впрочем, особо зажиточная часть башкир перекочевывает верст за 15. Это только в том краю, где еще не приучился башкирин к земледелию и кормится скотоводством; там же, где сабан (плуг) завоевал себе бо́льшее место в хозяйстве башкир, — они летом совсем не выезжают на кочевье. Мало осталось и скота, не из-за кого выезжать далеко. Однако мне удалось побывать на настоящей дальней кочевке.

* * *

В коше сидит на подушках хозяин-мулла. Кругом человек двенадцать гостей на кошмах, на баласах (самотканные ковры), на подушках. Перед муллой большая глиняная чашка «курега» и ковш; перед каждым из гостей— деревянная маленькая чашка — «тухтак». Мы пьем кумыс. Когда мулла видит у кого-нибудь пустую чашку, он торопится наполнить ее.

Стоит июльское знойное утро, поэтому кумыс быстро убывает в «хаба» (посуда из кожи целой лошади) у муллы, но возле коша в степи разведен костер и у костра жмутся к дыму двенадцать дойных кобыл. Кобылы фыркают; овода и мухи не дают им покоя; они обмахиваются хвостами; под копытами их курится навоз. Изредка ржут от злости на оводов кобылы; от зноя им лень даже щипать траву. У другого костра за изгородью пасутся жеребята — их не пускают к маткам, чтобы не сосали. Кожа у жеребят нежней, они больше чувствуют укусы и бессильней кричат и злятся.

Гости сидят на подушках ленивые и важные. По краям тухтаков ползают мухи, высовывают хоботки, лакают кумыс и отяжелевшие и пьяные не могут лететь.

День вовсе не праздничный — это по-будничному собрались гости у муллы.

Я сижу по-восточному, от этого после ломит ноги в икрах, зато старики чувствуют больше доверия. Умышленно напускаю на себя совсем не свойственную мне лень и важность, по-стариковски сгибая спину, кряхчу, пока «малай» (мальчик) подает воду из кувшина, чтобы мне вымыть руки. Старики притворяются, что верят в мою важность и старость. Как-то зашел разговор о годах. Один башкирин сказал: «Чать, ты много жил, много видел!». Я удивился: — Сколько же, ты думаешь, мне лет? — «Чать, лет сорок будет?»

Он думал, что обманул... При всей моей напускной важности, мне нельзя было дать больше 25—26 лет, но позже я узнал, что это своеобразный комплимент. Когда хотят польстить человеку, то, несмотря на его 35—40 лет, его называют «бабáй» (дед).

Один из гостей жалуется:

— Вот ты урус, а на наш манер делаешь все, по-башкирски исполняешь. Недавно было: приехали молодые из города, все мусульмане. Мы думали: вот наши дети приехали, образованные, будут нам говорить... Ученые! Позвали в кочевку, варили махан, давали кумыс. Наша ведь кровь! Оказалось — хуже уруса, — говорят: — «Ты, старик, лентяй! Целый день ничего не делаешь! Сидишь зря да ашаешь кумыс! Мы человек деловой, нам работы много!». — Нешто лентяй мы? Сам думай. Вот ты умный человек. Наши дети приехал. Ученый. Нам как праздник! Мы махан варили, барашка резал!.. Зачем старика обижать?!. Мы тоже народ трудовой, только больно рад был!

В степи перед кошем я наблюдал доенье кобыл; одну за другой заарканивает их молодушка, к каждой подводит жеребенка, дает ему чуть прикоснуться жадным ртом к соскам; обнюхав его, кобыла стоит разнеженная, не движется и, видимо, блаженствует от сознания, что питает потомка; однако едва жеребенок успевает сделать пять-шесть глотков, — женщина отталкивает его и выдаивает все до чиста в деревянную чашку. Эта процедура повторяется 5—6 раз в день.

* * *

...Сначала годá были ничьи, но вот раз собрались разные звери, всех было тринадцать: верблюд, лошадь, корова, тигр, овца, собака, свинья, заяц, змея, мышь, курица, лу и мечень.

Стали звери спорить о том, чей будет первый год. Деяк (верблюд) и говорит:

— Кто раньше всех увидит солнышко на новый год, того и будет год.

Он хотел схитрить — думал, что он выше всех и раньше увидит. Вот идет год, деяк и кричит:

— Я вижу, вижу!..

— Что видишь? — спрашивают его.

— Год вижу.

— Где же он?

— А вот! — а сам показывает на запад.

— Дурак, — сказали звери, — не в ту сторону глядел — нет тебе никакого года!

И не дали ему года.

Самый хитрый из всех был течкан (мышь). Пока все звери ждали года, он забрался в ухо верблюду и видел солнце прежде всех. Ему и отдали первый год, а остальные пошли по порядку так:

Хеир (корова), Барс (тигр), Куян (заяц), Лу (водяной паук), Елкà (лошадь), Джилан (змея), Куй (овца), Мачень (мечень), Таук (курица), Эт (собака), Зунгус (свинья).

Когда двенадцать лет пройдут, то опять начинается первый год, — год мыши.

Это киргизский счет лет: двенадцатилетний «век» считается только у степных башкир, которые жили рядом с киргизами. К каждому году есть своя примета.

Этот порядок летосчисления рассказывал один муэдзин, человек настолько культурный, чтобы кокетничать своей первобытностью — это уже не первая ступень культурного развития; на первой ступени стремятся доказать обратное. Он говорил:

— Мы человек темный — дикарь! Мы приметам верим: Течкан — у нас год середний себе; Корова — у нас год тяжелый... Вот Барс — год хороший, урожай будет; кто в этот год родился — воевать будет, большой батырь будет; Аксак-Темир (Тамерлан) в год Барса родился — большой батырь... Заяц — плохой год, самый плохой: 1879, 1891, 1911 — все года Куян был — больно голодный!.. Лу — середний год, а вот Лошадь — разный бывает: какая лошадь в этот год первая солнышко увидит — гнедая — тогда год хороший, сивая — бураны будут зимой, холодный год. Надо в этот год на ночь гнедую лошадь так ставить, чтобы первая солнце увидала... Змея — всегда год холодный, Овца — урожайный год. Мечень — то же, Курица — такой же плохой, как Куян, даже есть поговорка: «Таук киля!» («курица придет!»), — имеющая значение соответственно нашей: «придет великий пост». — И последние два года — Собаки и Свиньи — эти тоже не легкие года... Может, она — бабья вера; ну, мы человек темный, всякий приметы верим!...

Мы стояли у изгороди. Мой хозяин, председатель совета, башкирин лет пятидесяти, увидал меня в калитку, но не заметил моего собеседника, старого муэдзина:

— Эй, ипташ, тамак биряляс? (товарищ, табаку дашь?).

— Ярар! (ладно). — Я полез в карман. Вдруг хозяин увидал, что я с муэдзином (старики не велят курить), он смутился и не взял протянутого кисета.

— Это я так, шутил!..

Однако муэдзин понял, что́ это была за шутка, буркнул «хошь!» (прощай) и ушел.



Башкирия изрезана горами и покрыта лесами; часто в массивах башкирского населения встречаются гнезда деревень чувашских, марийских, татарских. Оба эти обстоятельства обусловливают на первый взгляд странное явление: башкиры соседних волостей (напр., Карачай-Кипчакской и Бурзянской в. в. Вилаирск. к-на) подчас совершенно не знают отдельных слов употребляемых соседями — башкирами же.

Смежно живущие народности наложили свой отпечаток не только на язык, но на предания старины, поверия и быт.

Например, на крайнем юго-востоке Башкирии огромное значение имело соседство киргиз со степными башкирами.

Самодержавие, которое терпело много напастей от свободолюбивой и настойчивой дикости башкир, старалось разжечь национальный антагонизм между ними и их восточными соседями, да и сами киргизы непрочь были пограбить население и имущество, увести пленников, чтобы продать их в рабство. Эта вражда отразилась на преданиях края, которые в каждом местечке, холме, реке, названиях деревень и гор сохраняют память о борьбе башкир с киргизами.

«В прежнее время, — рассказывают в этом краю старики, — когда приходили на зимовку (т. е. возвращались с летнего кочевья), то по пояс росла трава в деревне, и, под'езжая к своим же жилищам, готовили луки и стрелы на случай, если залег в траве дикий человек казак (киргиз) и хочет напасть на башкир». В зависимости от таких отношений с соседями, складывался и внешний уклад жизни. О необходимости обороняться говорят и сами старинные постройки, уцелевшие местами: старые дома срублены из толстых почти не в обхват бревен, окна — достаточно велики для того, чтобы служить бойницей, и настолько узки, что в них не может влезть человек.

В Темясовской волости Зилаирского кантона есть деревни Исянова, Абдряшева, Ишбулдина и еще целый ряд деревень, хранящих в своих именах имена батырей и отцов.

Башкиры вообще чтут отцов. Любят о них рассказывать, составляют родословные.

Вот пример родового (аульного) предания Темясовской волости (горно-степной части) деревни Абдряшевой:

Абдряш-батырь был большой воин. У него были две дочери-девушки: одна услыхала ночью собачий лай и сказала отцу, что дом окружили киргизы.

Одной дочери сказал батырь: «Седлай коня!».

Другой — он сказал: «Готовь лук и стрелы!».

Он одел панцырь и выехал к киргизам. Вид его был так грозен, что киргизы не смели его тронуть и сами побежали от него. Тогда он собрал народ и всех киргиз перебили. Гора, где он сражался, называется Казак-ульган, что значит «Киргизская смерть».

Эта, как и ряд других легенд восточного района Башкирии, отмечает вражду с киргизами.

Мне рассказывали ее как-то вечером в деревне Бай-Булатовой той же волости. Возле мечети нас сидело человек 10, и среди слушателей были двое— внук и правнук героя легенды, Абдряш-батыря. Легенда эта не носит в себе ничего сказочного или гиперболического. Очевидно, это чистая быль, не успевшая обрасти сказочными украшениями, хотя вообще в Башкирии предание быстро превращается в сказку; уже из отдельных комментариев и пополнений я узнал здесь же, что в 1914 г. какой-то австрийский профессор купил лук и стрелы Абдряш-батыря. Лук этот, как водится, потомки не могли натянуть. Абдряш был таким стрелком, что на сто саженей пронизывал стрелой перстень, поставленный на голову человека, не стряхнув его с головы и т. д.

Несмотря на отсутствие грамотности в толщах крестьянства, башкиры прекрасно помнят войны и отдельные битвы, где участвовали и (в самом деле) играли решающую роль башкирские войска.

Но что представляют собой эти рассказы о прошлом? Благодаря отсутствию письменности (башкирская грамота существует едва 50 лет), башкирские легенды и предания подвергаются наиболее быстрому изменению, а благодаря упомянутой уже изолированности отдельных родов (селений, волостей) часто только сходное звучание имен и отдаленное сходство сюжета дает повод к догадке, что два повествования в различных местностях рассказывают о тех же событиях и лицах. Известно, что в 1812 году башкиры участвовали в войне с французами и в 1814 году с русскими войсками прошли по улицам Парижа, причем были они в национальном боевом наряде верхом на лошадях. Их одеяние состояло из панцырей (саутов), кольчуг и кожаных шлемов (колпаков), за плечами же они имели национальное оружие: луки и стрелы. За это последнее французы шутливо прозвали их «Les amours de Russie». Привожу рассказ об этом одного из башкир деревни Ахаевой:

«В 1812 году французский хан взял русский город Петербург; тогда русский царь позвал башкир; они одели сауты, колпаки, взяли луки и стрелы, поехали. Очень скоро прогнали французов и дошли до города Парижа. Город Париж стоял на высокой горе и был вокруг загорожен большой стеной, и никак нельзя было войти.

Один хитрый башкирский старик придумал бросать уклар (стрелы) вверх. Стрелы падали сверху на головы французов. Француз, он что? — человек темный, некультурный, он испугался: думал, что башкирский колдун бросает стрелы с неба, испугался и отпер город. Башкиры вошли в город, взяли в плен французского хана и послали его жить в море».

Когда старик говорил, я боялся рассмеяться и сдержал-таки себя, но мне так понравилась эта история, что я не стал «просвещать» рассказчика и слушателей. Старик и его односельчане, верно, до сего дня убеждены, что их хитрые отцы перехитрили темного и «некультурного» француза.

Даже песня башкирского народа, по существу музыкального и поэтичного, не сохраняется среди башкир. Старинные башкирские песни поются не башкирами, а тептярями, рассеянными среди башкир. В Башкирии тептярей так и называют «хранителями башкирских песен».

Башкирин играет свои песни на «курае» — национальном инструменте. В отличие от простой свирели на нем играют не свистом только, а вместе и голосом, упирая вместо пищика в край свирели один из резцов или клык. Звук курая напоминает гудение целого улья встревоженных пчел или гул потока, и из грозного и могучего вдруг падает до нежно-тихого звука, подобного тихому пожужживанию шмеля над чашечкой цветка в летний день, редко-редко переходит в обычный свирельный свист, сходный с пением птиц. К сожалению, курайщики желают чаще усладить гостей благозвучием городских мотивов, — всевозможных полек и вальсишек, вывезенных из окопов с германского фронта, и уверяют, что их «дикарские песни» не стоит слу-

шать; однако после усиленных просьб и убеждений в том, что эти-то «дикарские» песни и интересны, они с гордостью демонстрируют национальные, и, в самом деле, дикие и своеобразные мотивы, но о них я предоставляю говорить музыканту. Отмечу только, что башкирские мотивы, в отличие от соседских татарских, звучат весьма уныло и тоскливо, слова песен примитивны, и часто предшествующие строки имеют очень слабую логическую связь с последующими. Образ — типично-восточный стих часто построен на параллелизме.

* * *

Б а й булатова, Б а й назарова, Ислан б а е в а, Б а й мурзина — это все названия башкирских деревень; здесь уже иной принцип наименования: они названы не по герою-родоначальнику, не по «батырю», а по «баю», т. е. по имени знатного богатого человека. Башкирское слово «бай» — это то же самое, что кавказское «бей».

Сама по себе та ступень социально-экеномического развития, когда общество проходит через кочевое скотоводство, почти не создает экономически разнящихся слоев, и для того, чтобы на этой ступени появились сословия, необходимо было вмешательство какого-то постороннего, не экономического, а политического влияния, политической силы; такой силой в Башкирии оказалось русское правительство, учредившее военное сословие «тарханов», т. е. людей, обязанных в случае войны являться с войском и начальствовать войсковой частью, в обмен за это получавших выгодные преимущества: не платить налогов и брать у других башкир все, что понравится, кроме «бортей» (пчеловодного промысла) и бобровых гонов. Из этой-то группы и образовались «баи» и так называемые «верные» башкиры, не принимавшие участия в восстаниях, а подчас и противодействовавшие им с оружием в руках, не говоря уже о простом предательстве.

Бай не был никогда отцом и покровителем, но всегда — грабителем и врагом средних башкир.

Потомки этих «баев» живут и сейчас в деревнях и селах, нередко носящих их имена; многие из этих богачей и посейчас сохранили имущества больше, чем другие башкиры, разорившиеся во время гражданской войны и голода 1921 года. Мне пришлось быть свидетелем «полевого суда» между одним из «баев» и бедняком той же деревни.

Поутру в избу, где я стоял, явились трое стариков — аульный совет — и звали поехать с ними на луга для того, чтобы помочь в «полевом суде». Что за штука этот «полевой суд», я представлял себе плохо, но чувствовал, что здесь пахнет вековым обычным правом и сугубым фольклором, потому в душе был рад приглашению.

— Чем же я помогу? — спросил я.

— Ты городской человек, значит коммунист, а у нас староста руку кулака держит.

«Старостой» они в просторечии до сего времени называют предсельсовета.

— Ну, так что же? — недоумевал несколько я.

— Он коммуниста боится, а ты городской человек — коммунист.

— Да я не коммунист.

— Как так!? Городской человек всегда коммунист!

И сколько я ни уверял, что я не коммунист, — они не верили:

— Ты только поезжай с нами, ничего не говори, только поезжай!

Я согласился.

Аульный совет и я приехали на место спора первые и стали ждать. Наконец, с двух разных сторон появились истец и ответчик со своими сторонниками: слева — по дороге из деревни — бедняк, справа — от хутора — кулак-ответчик со своими сыновьями. Под'ехав к нам, все они спешились. Председатель («староста») приехал, вопреки обычаю, справа вместе с кулаком, тогда как должен был приехать с аульным советом. Увидев меня, он смутился, так как дней за пять до того, когда мы ехали в эту деревню, по дороге, слушая мой рассказ о столкновении с кулаком в соседней волости, возмущался кулацким засильем и бранил теперешнего своего спутника.

Конфликт, оказалось, вышел из-за того, что сыновья кулака ночью вырвали межевые столбики и перенесли их в сторону, так что участок их покоса вырос за счет сокращения покоса бедняка.

Начался суд. Бедняк жаловался, и все молчали. Потом, когда он кончил, поднялся галдеж; на обидчиков лезли с кулаками, грозились, кричали, что от них нет никому житья, что и так заливного покоса нет, и они захватывают лишнюю часть заливного пайка и т. д.

«Староста» остановил шум и дал говорить противной стороне.

Кулак апеллировал к суду такой речью:

— Мой отец, отец моего отца, отец отца моего отца, — все косили на этом лугу. У меня 30 голов крупной скотины, 150 голов мелкой скотины, — как я обойдусь с маленьким покосом?!

Все повторяли задумчиво:

— Шулай, шулай!... (верно, правильно).

Снова стал возражать бедняк:

— У тебя много скотины, значит большой доход, покупай себе сено. У тебя много скотины, значит ты можешь возить издалека, — зачем тогда отнимаешь мое? Я не хочу брать твое. Твои есть полторы десятины, мои — полдесятины. Не трогай мое! Зачем твои сыновья переставили колья?

И, снова слушая речь обиженного, все хором повторяли то же самое задумчивое:

— Шулай, шулай...

Но вот кулак стал возражать:

— Мои полторы десятины вон от тех берез, по берегу речки, до кустов, до того дерева. Столбиков я не переставлял, и всегда мои отцы, отцы моих отцов и их отцы косили на этом месте.

Тут все взволновались, потому что передвижка столбиков была очевидна для всех. Все закричали, загомонили, и никого нельзя было расслышать, да никто никого и не слушал.

Тогда вступился «староста». Видя, что приятелю не сдобровать, с предложил смерить полдесятины бедняка веревкой, возвратить ему, колышн переставить назад и раз'ехаться, но здесь меня заинтересовало, почему л жайка, на взгляд имевшая, по крайней мере, пять десятин, считалась дву: десятинной, и я попросил разрешения говорить. Все утихли. Я предложи обратное: смерять полторы десятины для кулака, а остальное (предполага мые полдесятины) отдать бедняку. Все рассмеялись: очевидно, ни для ко не было секретом, что в полутора десятинах бая уложится десятин пять пр стых. Однако всеми предложение было встречено одобрительно. Много кр чали, спорили, когда я сделал новое предложение: смерить полдесятины бе няка, потом полторы десятины бая и, наконец, «если что-нибудь останется отдать тем, у кого мал заливной паек или его нет совсем.

То же самое «шулай!», но уже почти восторженное, не дало мне бол ше говорить. На моем удилище (со мной была удочка) смерили «аркан» (в ревку) и стали вымерять десятины. Я превратился в наблюдателя, а посм треть было на что.

Красивые бойкие лошади, проводящие полжизни на полной зверинс воле, серебряные стремена, меховые шапки, нищенские лохмотья одежд загорелые груди и азиатские лица всадников под знойным солнцем в степи - все вместе создавало замечательную картину.

Башкиры как-то сливались со степью, и тем более крепко сливались, чт в этот миг они чувствовали себя хозяевами ее, они ее делили, распоряж лись ей. Все были довольны, и только «обиженный» кулак откуда-то взя шимся тоненьким голоском жалобно выкрикивал:

— Минкем атай, атай атам, атайлар... атайга!.. мой отец, отец мое отца, отцы, прадеды и т. д.). — Он все не мог примириться с тем, что б уже перестал быть баем, и привилегии отцов потеряны и его детьми.

На бревенчатой стене, у моего хозяина квартиры в этой деревне п башкирски записывается, так сказать, деревенская летопись, например 1292-й год — Гиджры месяц Шембеля (август) 13 день — ушел на войну сы Фазильян; 1294-й год, у муллы сгорел амбар в месяц Хамель (март); 1296- год прошли чехо-словаки; месяц Хауыр (ноябрь) 13-й день и т. д. Ког я проезжал через эту же деревню обратно недели две спустя, — на стене прочел такую надпись: «1303-й год месяц Осят (июль) 19 дня городской чел век Стапан ездил на полевой суд делить землю». Я рассмеялся, когда проче это, а хозяин и его односельчане так довольны моим «соломоновским» реше нием, передавшим беднякам прежде не учтенные излишки земли у «бая» что и землю эту теперь называют по моему имени «Стапан-паек».

* * *

Скотоводство, как основное занятие башкир, уже умерло. Хозяйств Башкирии уже давно не скотоводческо-земледельческое, а земледельческо скотоводческое, но в отдельных районах скотоводство преобладает. В ины же местах, несмотря на преобладание зернового хозяйства, это последн находится в самом первобытном состоянии.

Древний праздник башкир, так сказать, «домагометанского» периода, праздник национальный, против которого восстают муллы, называя его языческим, носит название «Сабан-Туй», т. е. свадьба плуга.

Празднование Сабантуя протекает весело и торжественно, выражается в спортивных играх, борьбе, джигитовке, скачках; на этом празднике выступают певцы, музыканты, танцоры, наездники, силачи; он длится несколько дней и протекает веселее всех. Он не связан с мифом, о нем не рассказывают ничего; существует только традиция и название, но название ясно говорит о самом происхождении. Отсюда следует заключить, что земледелие — древнее занятие башкир, но служило оно лишь подсобным, лишь параллельным промыслом при основном занятии скотоводством и не использовало скотоводства для своего развития; это последнее можно вывести из следующих фактов:

Всем известно, что средне-русский землероб нередко для удобрения полей вынужден покупать за деньги навоз. Благодаря распространенности скотоводства, башкирин стоит в более выгодных условиях, так как даже середняк этого края имеет скота (а следовательно, и навоза) больше, чем любой кулак средне-русского района. Таким образом, навоз для удобрения покупать, казалось бы, незачем, и, в самом деле, когда выйдешь на задний двор башкирского хозяйства, — поражает размерами, сваленная там, гора неиспользованного навоза. Еще в средних районах он используется для изготовления кизяка, в лесных же — просто пропадает без дела. Я спросил у одного башкирина:

— Что же у тебя добро пропадает?

Он удивился, потом принял это за шутку и возразил:

— Пускай лежит, нешто все увезешь!? Плетень новый поставим.

Оказалось, что многие односельчане моего собеседника просто вывозят навоз за околицу, чтобы не мешал на задворках; иные же — менее ревностные хозяева — сваливают его, пока гора навоза скроет плетень, тогда над похороненным плетнем ставят сверху новый. Один охотник раскопать такой «прадедовский» навоз натолкнулся на три яруса плетня, последовательно схороненного под навозом. В некоторых местностях совершенно не слыхали о возможности удобрения земли навозом или чем бы то ни было. Землю они истощают посевом на одном месте под-ряд лет по 7—8, чаще всего в такой последовательности: пшеница, рожь, овес или только: рожь, овес, а после этого землю оставляют под залежь лет на 15—18.

Способы обработки земли тоже первобытны: так, например, часто применяется однократная вспашка без повторного поперечного перевертывания пласта. Не раз приходилось видеть посев по полю, грубо взрыхленному сабаном и не пробороненному. На мой вопрос, почему это так, башкиры удивлялись:

— Всегда так! — сперва пахал, потом зерна сыпал, потом бороной заделал!

О предварительной бороновке земли они часто даже не слыхали и употребляют во многих местах борону только для «заделки» посева.

Из приведенных разговоров видно, как трудно скотовод-башкирин усваивает простейшие земледельческие истины, но нужда научит всему, и вот, проезжая горный лесистый район Башкирии, мы видим, как настойчиво, несмотря на отсутствие навыков и знаний, башкирин стремится к земледелию.

Лес заступил дорогу крепкой стеной, лесом поросли берега порожистой речонки, лес охватил горы до самых вершин, и, только отбивая пядь за пядью у него, может человек строить свои жилища.

Дорога лежит под скалами и почти висящими лесами; кажется, вот-вот одна из сосен или елок поскользнется и поедет, скользя, вниз, а за нею помчатся и другие, как ватага лыжников; но лес держится, — он веками захватывал вершины, и здесь укрепился; он здесь главный хозяин. Человек спорит с ним, и вот за поворотом над дорогой среди темной зелени деревьев болтается, висит ярко-зеленый лоскуток — это на плешине, случайно незасеянной сосной и елью, человек посеял хлеба. Как ухитрился он взгромоздить сюда свой тяжелый «сабан» (плуг), заменяющий ему соху и требующий 3—4-конной упряжи; как на этом, почти отвесном, клочке он пахал и сеял, каких трудов это стоило? — Все это знает только он сам, землероб, который это сделал...

В другом месте настойчивость башкирина в области земледелия более целесообразна и производит большее впечатление.

На юге Башкирии, прилегающие к ней прикаспийские степи хотят поглотить плодородную приуральскую степь, — пустыня высовывает язык и клином внедряется в Башкирию. Этот клин растет. С «языком пустыни» ведется организованная борьба агрономами, а вот как борются стихийно сами селяне:

Однажды я приехал в степное село, рано утром кончил свою статистическую работу, и до вечера у меня оставалось свободное время. Я хотел осмотреть интересные места в округе, и когда спросил секретаря сельсовета, с чего он рекомендует начать, — он предложил поехать на заливные луга с ним вместе. Я подумал: «Вот, ведь, и заливные луга в такой суши покажутся за диво!», но я не возразил ему, и мы поехали.

Кругом лежала серая пыльного цвета степь, покрытая перекати-полем, которое здесь называют коротко «катун», местами — ковыльником и еще какими-то странными колючками, похожими на жесткий мох. Но вот мы проехали мимо купы деревьев, столпившихся у реки, и из-за деревьев плеснуло яркой зеленью широкое пространство. Оказалось, что это не натуральные заливные луга. Маленькая, да к тому же еще обмелевшая, речка не смогла бы заливать этого сравнительно высокого луга, — перед нами лежал луг, искусственно орошенный «арыками», т. е. канавами, прорытыми от старого русла совсем пересохшей речонки, потерявшей даже имя свое, но по веснам бунтующей от тающих горных снегов. Эту-то вешнюю воду и использовали башкиры для орошения, заперев ее ранней весной. Мой провожатый щелкал языком и говорил с гордостью: «Теперь с нас все пример взяли! Соседний волость тоже бумага писал, акща (деньги) просил арык делать!.. Только вот

богатый люди мешают, скотину гоняют на заливной луга. Не столько ашал,— сколько топтал!».

— А что им мешают луга? — удивился я.

Провожатый беззлобно, но досадливо махнул рукой:

— Мы артелем работал, а он не любит!.. Нисазнательный илимент!.. Теперь сам просит в артель взять — бульна хороша трава ростал!..

Трава действительно подымалась нам до стремян и была буйная и сочная.

* * *

Между хребтами Ирындыкским и Уральским в горной долине лежат степи шириной верст в 25-40 и длиной около 100 верст. По степям голосят пучеглазые звери-кузнечики. Их так много, что они не успевают все взлетать с дороги, и на колесах проезжего тарантаса остается всегда кашица из раздавленных кузнецов. Здесь их называют «кобылкой». Они кусают проезжих хуже оводов и тучами перелетают с места на место. Их любовный стрекот звучит как шипение сотен змей. В степях этих посевы малы и редки: на протяжении от г. Белорецка через весь Тамьяно-Катайский кантон, с севера на юг, до границ Зилаирского кантона Башкирии, т. е. на 100-120 в., встречается с десяток засеянных полей по 5-7 десятин каждое. Скота здесь тоже не много — во время войны и революции, а частью в голодный год, он истреблен людьми, болезнями и голодом, но башкиры, все же живя в нищете, плохо переходят к земледелию. «Почему?» — спрашиваешь их. — «Кобылка больно много. Хлеб ашает. Вон сосед хлеб сеял — все кобылка ашал! Зря только в землю бросать! Наша волость нельзя сеять хлеб!..»

Говоря это, башкирин чуть не плачет: он живет скотом и продажей покоса, но этим трудно прокормиться даже при самых скромных, почти первобытных экономических запросах башкирского селянина. Однако башкиры никак не освоятся с мыслью о том, что достаточно вспахать все эти многосотдесятинные питомники кобылки, — и она исчезнет, так как яички ее, вырытые плугом из земли, склюет птица, убьют дожди и зной, а пока сеют только единицы из сотен дворов, — кобылка имеет явные преимущества, и со всех десятков тысяч нетронутых десятин степи она налетает на редкие посевы и жестоко опустошает жалкие «осминники» [1]) башкирской ржи и пшеницы.

* * *

В иных местах, говорят, землероб боится трактора, величает его нечистой силой, крестится и плюется... Подобные рассказы вряд ли заслуживают доверия, если слышишь, как даже отсталые культурно башкиры говорят о возможностях тракторизации. Разговор, правда, ведется с башкирами земледельческого района:

— Кабы эта машина у нас была, у нас бы все сеять стали... Чтобы — обществом купить... Вот бы хорошо было!.. — говорит один из немолодых уже башкир.

---

[1]) Осминник — мера земли в 0,25 десятины.

— Ты там узнай в городе, сколько она стоит, напиши нам, — мы, может, артелью купим... Может, рассрочку дадут!... — вставляет другой.

И когда узнают, что, кроме пахоты, машина может служить еще и для других целей, то приходят в восторг:

— Вот так умный машина!... Смотри, непременно пиши!..

— Обязательно пиши... Как-нибудь обществом соберемся!..

Вся беда в том, что зажиточная часть населения, имеющая достаточное количество рабочего скота, не заинтересована в приобретении тракторов; она реакционна и предпочитает обрабатывать свои «осминники» старыми методами — тяжелым железным «сабаном», требующим в упряжь четверку лохматых «башкирок». Экономические затруднения революционизируют бедняков, они готовы любой ценой приобрести трактор, но даже артелью сделать этого не в силах, так как трактор для артели слишком еще дорог.



В лесных районах Башкирии, где трудно дается земледелие, — башкиры живут лесным промыслом: здесь делают колесный обод, санный полоз, дуги, телеги, колесные спицы и втулки, лопаты, грабли, деревянные бороны, которые здесь еще в ходу, черемуховый обруч на бочки, дубовую клепку, липовую кадочку (дуплянку), ульи, остовы веялок и целый ряд других хозяйственных предметов.

В этих же районах распространено пчеловодство. «Уфимский липовый мед»,—это старая и всем известная этикетка на жестянке, украшенной цветами и пчелами. Лучший, славящийся ароматом, мед идет из лесов Башкирии. Голодные годы, недостаток сахару сгубили многие тысячи пчелиных семейств, но теперь вновь восстанавливается пчеловодство, колодные ульи все больше и больше заменяются рамочными, и бортничество превращается в культурное хозяйственное пчеловодство.

Люди, живущие в лесах, существенно отличаются внешностью и характером от живущих в степи. Степные жители говорят так про лесных:

— С медведем живет, и сам как медведь стал.

В самом деле, вид их угрюм, характер нелюдимый и замкнутый. Благодаря малому количеству удобной для обработки земли, посевов у них почти нет, едят лук и картофель — почти единственные продукты своего производства; кислого хлеба не пекут, делают тяжелые пресные лепешки из ржаной муки грубого размола. Земледелие здесь почти неведомо, да и почти невозможно.



Много говорится о проникновении нового быта в деревню. Быт башкир, конечно, также изменяется, но изменяется, естественно, в связи с экономическими переменами с изменением обычного уклада жизни, потому что черты старого, отсталого домашнего строя остаются до сих пор почти не нарушенными.

Многоженство, например, естественно, отмирает с рузрушением касты баев и с обеднением духовенства. Мне пришлось встретить двоеженца-бедняка: в земледельческом районе он занимался, главным образом, смолокурно-дегтярным промыслом, для чего проводил месяца 3 в году в лесу верст за 30-40 от дома. Он пришел ко мне с жалобой, что трудно содержать двух жен, и спрашивал, нельзя ли ему одну из них «прогнать», тем более, что «баранчуклар» (детей) юк (нет). Я поинтересовался, для чего же он взял вторую жену.

Он рассказал:

— Сначала взял одну бабу; у нее была двоюродная сестренка. Немного времени спустя у нее умерли родители. Моя баба и говорит: «Жалко сестренку; возьми ее второй бабой. Я ей одну подушку подарю, одно одеяло подарю, платья дам». — Я сначала не хотел. Ну, моя баба плакать стала, и я согласился. Одну ночь к одной ходил, другую ночь — к другой. У первой бабы скоро баранчук родился, она работать мало может, ребенком занята, а эта новая баба — лентяй!.. Ничего не делает, только чай пьет!.. Я ее выгонять хочу. Она со мной год жила. Ну, ладно, я ей за это платье еще дам, подушку оставлю, одеяло и пусть уходит... Мы люди не богатые, нам одной бабы довольно!..

Действительно, многоженство чаще встречается среди богатых людей. Двоеженец-бедняк, о котором рассказано, был единственным встреченным мной во время поездки.

Положение жен у кулака подневольное и приниженное, они разбегаются при его приходе с явным выражением испуга. Когда он пьет кумыс и проводит время в беседе с приятелями, — женщины работают по хозяйству, ходят за скотом и т. д. К общему столу женщина не допускается, она должна обедать на женской половине с детьми. Чадры у башкирок нет, но от гостя лицо они прикрывают слегка (хотя больше для вида, иногда даже с оттенком кокетства) краем головного платка.

Экономическая предпосылка многоженства — обилие скота и в связи с этим домашних работ. С переходом к земледелию, это, естественно, отмирает, так как земледельческие работы, непосильные для женщины, тяжело ложатся на мужчину, и тяжесть их неуклонно усугубляется наличием лишних ртов в семье.

Не редки в последнее время случаи, когда родители девушки ставят условием брака, чтобы их дочь оставалась единственной женой. Чаще всего это условие выполняется.

К особенностям семейного уклада следует отнести и ранний брак, который хотя и в скрытом виде, но существует. В степи на кочевке я бывал по делу у муллы. Мулла — старик лет 60-65, у него сын 14 лет и женщина прислуга лет 25-26.

Я спрашиваю:

— Мулла, это твоя жена?

Нет, куда там, мы совсем стар!.. Так, девушку для работы взял.

Мой спутник, председатель сельсовета, подмигивает и смеется, а на обратном пути рассказывает:

— Прошлый год у муллы старуха померла, он сына женил.

— Этого маленького? — удивляюсь я.

— Какой маленький? Ему четырнадцать лет. Советский закон, конечно, не велит, да кто знает? Только свой знает. Нешто своя деревня жаловаться будет? Свои люди!..

К явлениям старого быта относится ряд обычаев, доходящих почти до фетишизма. Например: череп павшей лошади укрепляется на крыше конюшни. — Для чего? — это об'ясняют по-разному. Старики говорят: «Если на землю бросишь — этой масти скотина жить не будет, вся переведется». — Молодежь об'ясняет это иначе: «Когда бросишь, — кто-нибудь ногой толкнет — обида! Зачем обижать?.. Наверх положил, значит, думаю: вот хороший конь был. Жалко! Пускай никто не топчет»...

Наиболее суеверные мажут морду черепа маслом, чтобы миновали напасти живой скот.

Среди башкир распространены сказки и поверья мифологического характера; например, в большом ходу рассказы о чудовищах, змеях, которые перекидываются в любой почти образ, чаще всего в образ красавицы. Белая змея (ак jалан), «царь змей», особенно страшна; при встрече с ней рекомендуется быть почтительным, а то она может сгубить человека, как сам шайтан.

Мне нравилось бывать на базарах в Башкирии. Базар здесь остается, по-давнему, местом общения разных деревень, сел и даже волостей. Базарное село — естественный экономический центр. Здесь обмениваются товарами и здесь встречаются с «кунаками» (приятелями), при этом нарушая строгий наказ пророка о спиртных напитках. Нередко на базар едет на целый день башкирин, совершенно не собирающийся что-либо покупать, если даже у него нет денег, — базар интересен ему как прогулка, как место встреч и обмена новостями.

За четвертью кислушки в шинке языки молодежи развязываются, начинаются рассказы о военной удали, хвастовство... Молодежь, побывавшая на гражданском фронте, в большинстве — буденновцы и все сплошь — кавалеристы. Они гордятся Буденным, гордятся красной кавалерией, уменьем ухаживать за лошадью и т. д.

* * *

Среди молодежи нет такого ревнивого отношения к преданиям, страха за «святыни». Например, старик рассказывал мне легенду об одном могильнике, говорил, что там похоронена дочь хана («так себе девка, в бабской могиле хорошее чего нешто бывает»). При этом во время его рассказа сыновья переглядывались между собой, подмигивали мне и смеялись. Вечером, покуривая со мной на заднем дворе, они говорили:

— Боится старик... Нам он рассказывал совсем по-другому, там сам хан похоронен, а тебе он сказал, что девка. Боится, что коммунист придет копать могилу...

Могильник этот никем не был исследован, хотя, по местному преданию, в нем хранится большой золотой клад.



Проехав насквозь самые густо-башкирские места Башкирии и под'езжая к станции Саракташ, Орской ветки Ташкентской ж. д., я увидел группу огромных богатых скирдов, каких не видывал во всей Башкирии. Скирды кончаются и возле традиционного длинношеего колодезного журавля, в купе деревьев сияют белизной под ярким полуденным солнцем ряды украинских мазанок. Оказывается, здесь целая колония украинских переселенцев. Вон вышла женщина в белой рубахе с бусами на шее, а вот и играющая детвора, об'ясняя мне дорогу, лопочет:

— Пійдешь прямо, послі наліво, туточку і Саракташ буде...

Вывески над кооперативом, сельсоветом и почтой написаны только по-русски. Башкирия кончилась.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Литературные заметки.

Д. Тальников.

«Живой» человек или добродетельный «истукан». — Два «Преступления» — Вл. Бахметьева и Дж. Конрада. — «Зависть» Ю. Олеши. — Живопись в литературе. — Новый человек в кривом зеркале «зависти». — «Великий колбасник» и пафос революции. — «Кавалеровщина». — «Заговор чувств». — «Не трогай наших подушек». — Пафос обывательщины.

I

Когда Вольтер говорил о «скучном» искусстве, он, несомненно, имел в виду не искусство, а какую-то имитацию его, — те схематические романы (хотя бы и на все 100% идеологически добродетельные), которые лишены живой, одухотворяющей и потому всегда радующей силы художественного творчества. Там, где дышит подлинное искусство, там не может быть «скучно»...

А. Фадеев, — автор превосходного «Разгрома», может быть, единственного романа из эпохи гражданской войны, — сумевший преодолеть схематический шаблон «батальной» литературы наших лет и психологически ярко и правдиво показать живой строй ощущений и эмоций деятелей революционной страды, — в романе Бахметьева «Преступление Мартына» увидел художественное воплощение именно проблемы «живого человека» и «углубленного психологизма», «большой шаг в смысле преодоления схематизации человека», которою, по общему мнению, «грешна была в значительной мере литература до сих пор». Такого взгляда на роман Бахметьева и значение его придерживается и большинство критиков. Роман дал толчок к осознанию, оформлению давно уже назревшей и беспокоящей и писателя, и читателя тоски по «живом человеке» в литературе. Я взял случайно мнение Фадеева по этому вопросу, но мог бы взять и многое другое, что обильно писалось и пишется в связи с романом Бахметьева. Но что́ такое по существу эта тоска наша по «живому», несхематическому человеку в литературе?

Художественная литература всегда искала «живых» людей — это задача ее, функция, иначе она — не художественная, — но каких «живых» людей? Если раскрывать эту формулу в плане натуралистическом, «человеческих документов», о которых говорил Золя, то такой именно «человек» в литературе никогда не покажется живым. Художественное творчество ищет правдоподобия, а не натуральной жизни, — художественной правды, а не жизненной правды — и это надо хорошо помнить. Но тогда тоска

современная по «живому» в литературе человеку, так остро ощущаем нами, — это тоска по художественной правде, всегда отличавшей творь художника, тоска всех стран и всех народов, тоска истинного творчест вообще, — и не есть ли она просто выражение нашей потребности в подли ном радующем искусстве, нашей тоски по таланту?

Живой художественный талант, подлинный художник в литературе - вот источник «живых» образов творческих, творческого воплощения жи. ненных фактов. Всякие разговоры, поэтому, «рецепты», соответствующі задания — только досужие вымыслы, не подвигающие вперед художествеі ного творчества, ибо все дело опять-таки не в схемах, а в живом талант

Действительно, все эти разговоры о «живом человеке» в то время, кѣ у нас печатаются бесконечные вороха беллетристики и даже уже «полнь собрания сочинений» «маститых» авторов, — сводят эти «вороха» и «сс брания» к определенному художественному нулю. Сначала шли бесконечнь потопы «батальной» литературы — поток жизни их смыл, оставив одь небольшую, совсем небольшую, но действительно ценную, действительн овеянную атмосферой художественного творчества книжечку — этот самы «Разгром». «Неужели выведенные вами истуканы, наделенные всеми пошлей шими добродетелями, совершали великую мировую революцию?» — мог б спросить (и спрашивал, конечно) читатель словами героя гладковског «Кровью сердца». Потом пошли вороха романов о мирном строительств такие же схематические, с такими же добродетельными «истуканами». Ав тору «Цемента» впору задуматься над иронией своей едкой характеристик Пошли углубленные «психологические» романы «под Достоевского», тяже ло-надуманные, сочиненные, никакой действительной жизни не отражаю щие, никаких творческих преломлений ее не показывающие. Теперь и книжки в книжку наших толстых журналов тянутся неимоверно-громоздки психологические романы быта, брачных и половых вопросов, и эти нудные схематические, — хорошо еще, что не безграмотные (есть и такие!) — вы думки кто-то серьезно хочет выдать за «новые скрижали» или тени «стоя щего впереди»... Все не то.

Я не большой поклонник и скучнейшего бахметьевского романа. «Но товарищи! если бы все мы строили свое поведение, опираясь на велениз этой элементарной животной силы, то что бы сталось с обществом, с нашим классом, с нашей революцией?» — таким языком говорят у него часто ге рои, — суконным бумажным языком бумажные герои. «Сердце пьянело, мус кулы наливались звонким светом...», «ноздри его дрожали», — сплошь лите ратурщина, патетическая риторика высокого «штиля». И весь роман, слож ный и большой сюжет его превращен в какую-то сложную выдумку, худож ственно-нетипичную для изображенной эпохи. Сам автор уверяет нас в свои комментариях к роману («Чит. и пис.» № 15), что «основные события пс вести целиком взяты из действительности, из реальной обстановки 1919 г.: и даже само происшествие точь в точь, как описано, случилось в «одном и городов черноземной полосы», «почти полностью имело место в жизни» — так что из этого? И к чему нам это знать?

Для читателя гораздо важнее было бы чувствовать, что происшествие могло случиться, что оно правдоподобно художественно, типично для той эпохи — бурных дней 1919 г. — для деятелей этой эпохи. Мало ли что в действительности случилось? Оправдан ли, как революционный тип коммуниста, этот рефлектирующий, копающийся в себе «утонченный» («загадочная натура»!) романтик-психолог Мартын, когда жизнь шагала через подлинные преступления, не задумываясь, ибо не время было для этих копаний, почва горела под ногами...

«Неужто из-за такой ерунды стоит волноваться? Нужно брать вещи такими, как они есть!» — этими словами одного из героев конрадовского романа «Прыжок за борт» можно было бы определить весь подход революции к таким, сейчас на сотни страниц растягиваемым и кропотливо анализируемым, проблемам бахметьевского романа... Был романтизм в те годы, но только героический, не расслабленно-психологический, пошиба Леонидо-Андреевского, который характерен для психики интеллигента в революции, а не крепкого деятеля ее — пролетария. Самый характер психологического оформления событий, остроутонченный подход к факту «преступления», достаточно неясному по существу, самая эта романтически-психологическая форма не соответствуют революционному содержанию, сюжету, патетике революционной, которая легла в основу романа Бахметьева. Форма здесь иного типа, чем оформляемый ею сюжет, чем содержание; в романе нет стиля революции; наоборот, полное — и потому художественное — соответствие совершенно однородного по стилю формального развития сюжетной линии так называемому содержанию мы наблюдаем в уже упомянутом романе замечательного английского писателя Дж. Конрада.

Может быть, и не влиял непосредственно роман Конрада на Бахметьева, но конструкция этого романа, острота психологического подхода, уход в чисто-индивидуальную психику героя (причем самое событие, вызвавшее все рефлектирующее содержание романа, неважно, — важен только результат: психологические моменты и их самостоятельная внутренняя жизнь), — все это удивительно сближает оба романа. И у Конрада сюжет не сложен: герой Конрада Джим бросает доверенный ему пост — судно «Патну», перевозящее 800 паломников — мужчин и женщин, ищущих «веры» и спасения, — бросает на произвол судьбы, инстинктивно делая прыжок за борт с тонущего судна. Судно вовсе не потонуло; Джим не трус и не был никогда трусом, вина его какая-то невольная, он идет мужественно на суд общественный; он сам может понять свое «преступление» и простить его, прощают его и другие все, но какое-то пятно тяготеет над его психикой с этого момента, и вся жизнь превращается в сплошную острую реакцию на эту невольную «утрату чести». В этой острой психической реакции на проблематичное преступление — все содержание большого романа о «преступлении Джима». Герой ищет искупления, он уходит от «живой женщины», но и искупление не удается ему; только добровольная и трагическая смерть — утверждение его воли, его силы психологической, его «величия»...

Джим — «утонченный» романтик, — таким его рисует автор этого превосходного по психологическому анализу романа, который написан был еще в 1900 г. и ждал почти 25 лет наших дней, чтоб увидеть свет на русском книжном рынке, — а у нас еще ругают так огулом всю переводную иностранную беллетристику...

Бахметьев в сущности «перевел» роман Конрада на современную русскую канву, но отличающая английского писателя романтика в условиях экзотического сюжета — от столкновения с атмосферой революции — проиграла в художественной правде и в стиле. Экзотика конрадовских стран и героев — не русская степь и не русская революция. Интересная идея — осознать революцию через ее живую личность — не нашла своей адэкватной формы у писателя иных социальных условий; чужая форма не подошла к реалистической правде наших дней. А форма и есть, по существу, одна из сторон художественного процесса творческого осознания сюжета, она и есть подлинное содержание художественного произведения.

II.

Но психологическая романтика Бахметьева есть явление тоже не случайное: она — реакция на шаблонизированную «схематичность» наших «истуканов»-героев; она должна была показать, что революция знала не только одну кристаллизованную, «бездумную» активность воли, сгусток воли, крепость нервов, — т. е. поверхностную физиологическую цельность человека, — но и насыщенность эмоциональной жизни, жизни психической в ее сложных проявлениях; что под внешней цельностью скрывались иногда и мучительные сомнения, переживания, — свойство живых людей, — правдивых и честных с самими собою. Даже рядовые стихийные бунтари — блоковские «двенадцать» — знают не только бездумные «грабежи» и внешне-аффектированные действия: и в них, неосознанные, кипят думы и страсти иные, какие-то волнения иного порядка... Революция сконцентрировала человеческую волю, сконденсировала ее, но вовсе не вытравила живых противоречий человеческой психики, ее слабостей и сомнений. Но эти сомнения и слабости отодвигались далеко вглубь или с кровью отдирались от психики и отбрасывались совсем, — ибо стоявшая перед людьми эпохи задача инстинктивно делала их целеустремленными, сжатыми в себе и «железными», она требовала подавления всякой «казуистики». Вот именно поэтому бахметьевский Мартын — не человек подлинной живой революции. Раскольников в своей угрюмой комнате-гробе одиночки мучился над психологическим разрешением вопроса, человек ли он или «вошь», «тварь дрожащая или право имеет», право на «власть», и он не старуху убивает, а «себя убивает», как себя убивает Мартын, — а вот те, кто «преступают закон, разрушители», как Наполеон (творческая сила Французской революции), те убивают «без казуистики», те могут бездумно «перешагнуть через препятствия», через преступления, через «Тулон» и «Египет»...

Но эпоха революционных действий сменяется эпохой революционного строительства, творчества, — здесь снова всплывает задавленная «баталь-

ными» моментами и придушенная на время стихия эмоций и психологических противоречий, открывается широкое поле для этой самой «казуистики».

Вот эту живую — художественно живую и правдивую — атмосферу революционной эпохи строительства и оформления нового быта, — эпохи смятений чувств и мыслей, психологических противоречий и вопросов, — отразил в своем романе («Зависть») другой автор — Ю. Олеша, — романе, представляющем на мой взгляд значительное явление в нашей литературе последних лет, — значительное и по идеологическим заданиям, и по художественному оформлению. Здесь мы приближаемся к обретению того «живого» человека в искусстве, которого так страстно ищет наше литературное поколение. Читатель наш уже знаком с этим «романом», как его называет автор, печатавшимся на страницах «Красной нови». Вышедший теперь отдельным изданием, отстоявшийся в восприятии нашем, он позволяет подвести кое-какие итоги общему впечатлению от него, осмыслить его во всей значительности выдвинутых им социально-психологических проблем.

Роман ли это в самом деле? Нет в нем особых «романтических» интриг, романтической усложненности; роман предполагает мир широкий и большой людей и отношений, «жизнь» целую во всей ее сложности. В «Зависти» на первый взгляд этого как будто нет. Внешняя интрига, сюжет крайне упрощены: Андрей Бабичев подобрал избитого и пьяного интеллигента Кавалерова и пригрел его, а тот возненавидел и своего «благодетеля», и все его дела, возненавидел от «зависти» и совершил ряд глупых поступков, чтобы выявить эту свою ненависть. Но в этой, нарочитой как будто, сюжетной простоте — глубокая психологическая сложность взаимоотношений действующих лиц, мировоззрений их; эти взаимоотношения охватывают основные вопросы той психологической борьбы «победителей» и «побежденных», которая все еще до сих пор тянется в недрах нового общества, возникшего на обломках старого, и иногда проявляется, как мы это знаем весьма ожесточенно.

Этот роман, в котором почти нет внешних событий революционной эпохи, внешних движений, весь психологичен, весь идеологичен; он весь является развитием определенной психологической проблемы; в нем нет как будто динамики, он как будто весь в статике — его герои борются только словами, говорят почти формулами, но в этих формулах клокочут страсти идеологически-неизжитой борьбы, революционная действительность волнует в содержании этих формул, в остроте и свежести самого стиля. Роман современен и революционен не потому, что говорит о событиях революции — автором умышленно-гротесково все революционное дело героя романа Бабичева сведено к получению нового дешевого сорта колбасы и устройству общественной столовой, где обеды будут даваться за «четвертак»! — а потому, что живые образы его героев, их психика — это образы и психика наших дней, художественно-четкие и сильные, — художественное подведение итогов психологическому делу революции.

III.

Скажу несколько слов о художественной стороне романа. Основные черты его оформления, кажущиеся столь несвойственными обычной русской литературной форме — динамичность, острота и свежесть стиля, мужественность его. Пришедшая на смену чеховской «женственности» и мягкости (идущим, в свою очередь, от Тургенева) — крепкая, сжатая, лаконическая сила замечательного языка «европейца» Бунина не привилась в современной литературе. Влияние этого языка и манеры можно проследить у ряда современных писателей (Пильняка, Вс. Иванова последнего периода), но дальнейшего развития реформа не имела. Роман Олеши кажется поэтому неожиданно западно-европейским: он, действительно, созвучен современной литературе Запада, — кажется иностранным романом по своей острой манере письма. Так пишут — в различных модификациях этого стиля — не только Ж. Жироду, но и П. Моран, Орлан, Андре Жид, немецкие экспрессионисты — современные передовые организаторы нового литературного стиля. Этот стиль внутренно-напряженный, сжатый, сконденсированный, острый, крепкий и четкий, — на острых углах, на резких изломах, художественно оправданных, возбуждающих внимание читателя и не дающих ему утомляться. В этом языке все собрано, подобрано, сжато и резко выпукло, нет лишних слов, «воды» и элегической болтовни, есть мужественность мысли, как и слова, — и страстность, динамичность, где слово — мысль, идея. Этот стиль, создававшийся в известной степени под влиянием западных образцов, по полной своей гармоничности с самой тематикой романа, дает впечатление у русского конструктивиста Олеши не подражательности, а органичности, — является новым строем стиля нашей литературы, нашей эпохи. Его у нас упорно ищут и не находят. В западной литературе он носит в известной степени оттенок эстетский, — в нем есть эстетическая утонченность и изощренность, острота излома, — он на грани какой-то неуловимой упадочности, какая есть, например, у Орлана, Мейринка, — но у Ю. Олеши, обогащенный техническими достижениями Запада, этот стиль выпрямляется с бодрой мужественностью. Нам ясно: о новых отношениях, о современности нельзя уже писать тем языком, каким писали о дореволюционном быте. Стиль нового времени — стиль ломки в социальных отношениях. Понимая теоретически его необходимость, его пытался у нас создать талантливый Пильняк — своим искусственно-рационалистическим смещением плоскостей, обрывистостью фраз, нарочитой необработанностью, — получился не «стиль», и «сырье», «черновые тетради», лаборатория экспериментатора; «оригинальная» острота композиционной структуры не получилась и у Леонова в его «Воре», романе художественно-надуманном, медленного, нудного движения, почти бездейственном. Маяковский, «делая» свой стих, резко ломал слово и ритм, имея в виду проблему «левого» искусства, но создал новый ритм и конструктивную форму только в злободневном фельетоне, но не в поэзии. Маленькая книжка Ю. Олеши — стилистическое достижение: роман, сжатый до об'ема новеллы, захватывает читателя, повторяю,

не надуманной, а органической остротой и свежестью, подлинной молодостью и новизной приемов, новизной ощущений художественных и их оформления. В этом стиле находит свое современное выражение то волнующее содержание, которое расплывается в бесформенных рамках обычного пухлого романа нашей литературы, в большой степени архаического (по конструкции), — в тягучем его слове. В. Шкловский совершенно прав, говоря о созвучных нашей эпохе литературных жанрах. Форма старого большого романа отжила свое время еще до революции. Самый темп европеизирующейся русской жизни определил новеллический характер творчества Чехова, Бунина. Форма романа Олеши созвучна эпохе — в этом большое значение его.

Не останавливаясь подробно на всех элементах стиля Олеши, обративших на себя внимание нашей критики, укажу здесь только несколько наиболее выразительных методологических приемов этого стиля. В манере письма автора остро сочетаются натурализм, часто гротескового характера, с любовью к цвету, цветовым ощущениям, к живописи. В его пейзаже городском — скупом, отчетливом — много воздуха и света, и рисует он его нежной пастелью. «Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона» — вот и вся картина. Или: «Розовейшее тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики».

К письму он прилагает методы физические—отражения, стереоскопичности — методы современной живописи, получая интересные художественные результаты: «голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом об'ективе пуговицы» (на одежде героя). Автор сам анализирует устами своего героя некоторые элементы этого метода: «ландшафт, наблюдаемый сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и стереоскопичности». Вот описание движения дня: «Цыган нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Таз легко покачивался, и день поворачивался в диске». Это совершенно новое в нашей литературе описание явлений природы через отражение ее в вещах. И это уже не только импрессионизм.

Такой метод позволяет видеть предметы в новых положениях. Герой, лежа в кровати, увидел в зеркале «небывалое свое отражение — подошвами вперед». Манеру этого творческого преломления и разложения природы и вещей, применяемую автором на протяжении романа («Кино-прием»), хорошо подчеркивает любовь его героя к уличным зеркалам, — преображающим действительность: неожиданно вы подымаете глаза — и вам становится ясно: «С миром, с правилами мира произошли небывалые перемены. Нарушена оптика, геометрия, естество. Вы начинаете думать, что видите затылком... Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту. Перед вами открывается даль. Все уверены: это дом, стена, но... здесь не стена, здесь таинственный мир, где повторяется все, только что виденное вами»... «Так внезапно нарушение правил, так невероятно изменение пропорций» того, другого, — «правильного» — мира. «Все рухнуло, переменилось и приобрело новую правиль-

ность, с которой вы никак не освоитесь. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо». Здесь точное, почти математическое описание метода, почти геометрическое разложение плоскостей, перенесенное из живописи в литературу: это — какой-то литературный кубизм, методы современной конструктивной живописи, перенесенные в литературу и воплощенные в слове со всей яркостью и сочностью художественной плоти, — реакция против расслабляющего импрессионизма в живописи и литературе, — методы, в которых, с известной долей приближения, можно отгадать элементы композиционной крепости, твердости, почти жесткости «научной живописи» Сезанна, и цветных плоскостей Ван-Гога и Гогэна, и почти геометрических, но насыщенных психологическим содержанием схем Пикассо, — какой-то литературный, эклектический синтез этих методов, делающих манеру и стиль современных конструктивистов от литературы — стилем поэти «живописно-научным».

Отсюда новизна и свежесть художественных приемов у Олеши, применяемых им с художественной мерой и тактом, и читателем потому воспринимаемых отчетливо и остро, как художественный прием освежения образов, а не как футуристская «заумь» [1]). Это — не синтез художественный, а анализ, постижение мыслью и об'яснение, — но это вот такое материалистическое как будто и рационалистическое об'яснение плавания одуванчиков, летящих из-под ног, как «динамического отображения зноя», воспринимается читателем не рассудочно, а метафорически, как новый и острый действенный образ, ибо художник — как мы увидим дальше — не остановился на одной схематической сущности символизма.

Рядом с образами, аналитически разложимыми и рассекаемыми глазом художника на составные элементы, идет манера, как я сказал, гротесково-натуралистическая, — манера почти физиологического письма; автор вбирает в себя все предметы мира вещественного, — даже такие, которые большой литературой обычно не брались.

Он вводит в свое письмо рядом с художественным примитивизмом густоту и полнокровность типа фламандской живописи, — смелое и откровенное, близкое к природе, покоряющее читателя в данном случае своей художественной оправданностью, своей созвучностью с общим стилем повествования. Начало романа может вызвать сопротивление в читателе, еще не вошедшем в эту манеру письма, — своей, как будто, вызывающей натуреалистической грубостью картины. Герой — положительный, привлекательный — взят в самой, казалось бы, отталкивающей рискованной перспекти-

---

[1]) В последнем рассказе Олеши «Любовь» (2-й альманах «Зифа») противопоставление конструктивизма импрессионизму сделано особенно резко на примере описания того чувства, которое в самой природе своей, казалось бы, носит элементы импрессионизма: чувства юной любви. Здесь нам кажется уже нарушенной какая-то грань, мера в применении метода, и рассказ местами звучит совсем алгебраической формулой, «футуристически». Метод этот вообще требует осторожности в применении: так, напр., в той же «Зависти» эпизод на лесах постройки, где Бабичев пролетает где-то в воздухе над Кавалеровым,—такой резко конструктивный,—в своем художественном воплощении не совсем вразумителен, приближаясь к грани кино-фантастики, какой-то «Гарри-Пилевщины»

ве — скатологической». Он поет по утрам в клозете... Эти песни можно толковать так: «Как мне приятно жить... мой кишечник упруг... сокращайся, кишка»... Он проходит в дверь, идущую в «недра квартиры, в уборную», и автор уносит «воображение» читателя туда, за своим героем: «я слышу сутолку в кабинке уборной, где узко его крупному телу, локти тыкаются в стенки, перебирает ногами». Такое — мало сказать, непривычное и сомнительное — начало не предвещает для романа как будто ничего хорошего Но такова, очевидно, сила подлинного искусства, что для него нет ничего запретного и грубого: этот маленький эпизод резко и остро вводит читателя непосредственно в бурлюскно-физиологическую манеру стиля Олеши,— читатель верит автору: «Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек», — и верит не только на слово: он увидел это, убедился в этом.

И в дальнейшем его уже не оскорбляет такая смелость, как описание, ярко-плотское, «великолепного паха», «заповедного уголка» с «нежной подпалинкой», паха «производителя»; это не нарочитая грубость; это выпуклое, яркое описание дает художественно-физиологический тон окраски всему образу героя. Это — элементы именно фламандской живописи, ощущения сочности и плоти человеческой и предметной. «Он потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока». Вот он — narure morte живописи, перенесенной в литературу.

Ю. Олеша обладает даром изобразительности, картинности образа, чисто-импрессионистской: ему достаточно часто одной черты для того, чтобы предмет ожил перед нами, стал образом. Он любит предметы, вещи — этот писатель современного города, города XX века, у него своя особая «вещная» психология, вещи у него одухотворяются. «Меня не любят вещи, — говорит Кавалеров. — Вещи его (Бабичева) любят». И это две характеристики, вполне содержательные, двух лиц, двух миров, двух мироощущений. Он подмечает то, чего никто обычно не видит: «маленькие надписи на вилках, ложках, пуговицах». Птица «щелкнула», чем-то напомнив ему, горожанину, «машинку для стрижки волос».

Он хорошо видит и умеет показать читателю то, что видит: вот в чем секрет «живого» человека, который у него получается и которого так тщетно ищет Бахметьев. Этот «живой» — художественно-живой — человек перед читателем живет физиологически, не только духовно. Бабичев работает дома, вечером, за столом: «уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом». Вот деталь, оживляющая предмет, заставляющая верить автору, ибо автор, действительно, видит того, кого он хочет показать читателю.

А как моется его герой? «Как мальчик: дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по цыновке. Вода на соломе цыновки рассыпается полными, чистыми каплями». Он вытирается, «ковыряя полотенцем в ушах»...

Роман полон таких неожиданных, красочных пятен, новых и свежих образов. Бабичев ел яичницу со сковороды, «откалывая куски белка, как

облупливают эмаль» (помните замечательный образ белков глаз, похожих на «облупленные крутые яйца», у негра в бунинском непревзойденном «Господине из Сан-Франциско»); зато уж самобытно его сравнение какого-то человеческого звука с звуками, издаваемыми «пустой клизмой». Вот его яркий образ чайной колбасы: «толстый, равно-округлый брус», «в слепом конце его, из сморщенной узелком кожи, свисает веревочный хвостик»; или ярко-живописные: «мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки»; «сверкающая клетка зубов». Или вот сельский житель: «этакий пленительно-неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами».

Этого не выдумаешь, не сочинишь: это — подлинное творчество, сотворение литературного человека, — по образу и подобию живого человека из мира действительного, — художественно правдоподобного.

IV.

Аналитический метод в изображении предметов автор распространяет и на психику своих героев. Процессы мышления, умственная и психическая жизнь его героев ощущаются читателем так же реально, жизненно, как и их физиологическая сущность. Автор дает аналитические формулы характеристик своих героев. Для этого он композиционно преломляет весь рассказ (по крайней мере, в 1-й части романа) через призму мышления и наблюдений своего героя — Кавалерова: последний наблюдает, анализирует и формулирует; критику, в сущности, тут делать нечего. Автор сам дает критический комментарий к своим образам: Бабичев — «это образцовая мужская особь», вдова Прокопович — «символ мужской униженности» Кавалерова. Вот точный, почти «научный» конструктивный анализ одного чувства: «Оно было конденсацией тревоги и страха, унижения и боязни наказания, — и во сне облеклось оно в фабулу преследования».

Очень любопытен метод обрисовки автором своего нового человека — коммуниста Бабичева. Автор боится понятных трудностей — положительные типы редко удавались нашим крупным писателям: что уж тут говорить с современных «истуканах, наделенных всеми пошлейшими добродетелями», по характеристике Гладкова. А, между тем, Бабичев у Олеши замыслен, как практик-делец, европейской складки, активный, честный и выдающийся деятель, коммунист — своеобразная формация гончаровского Штольца... И художественно-умным приемом отрицания, ненависти и клеветы, преломляясь, пропускаясь через призму психики Кавалерова, «завидующего», «взбешенного» и всячески пытающегося опорочить его — этот образ, путем двойного отрицания, восстает перед читателем, как яркий и — главное! — правдивый, живой, «положительный» тип (отрицание на отрицание дает плюс). Кавалеров брызжет пеной презрения и злобы, передавая нам черты образа, жизни и поведения Бабичева, он клевещет на него, толкует грубо и пошло его мельчайшие шаги, развенчивает его, разоблачает, описывает его в сатирически-гротесковых тонах — и это сделано так тонко, что читатель

чувствует и понимает, где и в чем можно верить Кавалерову в его пристрастной характеристике и в чем — нельзя. Подходит момент, когда Кавалеров рисует Бабичева прямым подлецом, но читатель ясно понимает, что этим разоблачает себя только сам Кавалеров, измученный непосильной и бессильной злобой несчастный неудачник, а Бабичев — через эту отрицательную характеристику — выпрямляется, встает все яснее и отчетливее как действительно-положительный тип нашего времени, символ «нового человека».

Кто же Бабичев? Чтобы сделать его и во внешних чертах «живым», а не бумажным героем, автор прибегает к методу контраста: делает его не «народным комиссаром» (как сделал бы писатель пошлого шаблона), и вообще не вождем-идеологом: этот крупный, значительный представитель современного общества — «один из замечательных людей государства» — просто-на-просто, как иронизирует поэт и интеллигент Кавалеров, — «великий колбасник, кондитер и повар», т. е. хозяйственник, директор треста пищевой промышленности. На этой мелкой, как будто не соответствующей значению нашего героя, работе, в презрительных толкованиях эстета Кавалерова, вырисовывается вся значительность личности Бабичева.

Автор любовно и преувеличенно-выпукло выписывает его: физиологически — это «образцовая мужская особь». Мы уже видели появление нашего героя на страницах романа в отраженном восприятии его интимной физиологической жизни, сопровождающейся пением.

Когда-то человек больной совести, рефлектирующий русский интеллигент-восьмидесятник Гаршин, трактовал этакое благодушество совершенно определенно: дельцы 80-х гг., инженеры («Встреча»), практики, ушедшие головой в работу и радости жизни, когда кругом был мрак общественной реакции, — олицетворяли для него пошлость торжествующего мещанства. Гаршин делил людей на обладающих «хорошим самочувствием» и «скверным». «Один живет и наслаждается всякими ощущениями. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием. Придет из ватерклозета и говорит: «Ну, брат, да и хорошо же я» и пр. Для такого человека самый процесс жизни — удовольствие, самое сознание жизни — счастье» (Письмо к Латкину 9/XII—1883). Этому типу пошляков Гаршин противопоставляет вечно-недовольного рефлектирующего брюзгу. Гаршин думает, что таково перманентное состояние человечества в двух его кардинальных психологических разветвлениях, но мы знаем, что все относительно. Кавалеров, рефлектирующий интеллигент современного романа Ю. Олеши, тоже, очевидно, склонен расценивать людей с хорошим жизненным самочувствием по-гаршински, и он, видимо, иронизирует над героем своим, радующимся хорошей работе кишечника, — но он в то же время и завидует ему. Все относительно: благодушество благодушеству рознь. Бабичев сейчас, именно благодаря этому своему здоровому физиологическому самочувствию, предстает перед нами как — «образцовая мужская особь» и вовсе не в ироническом смысле, — особь, способная вызывать зависть у брюзжащих интеллигентов и видимое сочувствие автора и читателя, — ибо

это самочувствие его и оптимизм — выражение одухотворяющей его полноты «гармонической» личности.

Бабичев, это — принесенное нашей освободительной эпохой оправдание здоровой плоти, освобождение ее от последних, уродующих ее традиций, это — прокламирование здоровой органической нормы, радости тела, европейской радости жизни. У Олеши заразительно описана любовь нового человека к телу и всему, что на пользу этого тела: физкультуре, гимнастике, плесканью в воде, еде, сну.

Зато он и «гигант», работающий день и, если нужно, «половину ночи», здоровое «бытие» определяет и здоровую психику. Он не хочет и не любит «романтики» ни в чем, той «казуистики», которую Бахметьев почему-то считает признаком «живого» человека революции; он — хозяин жизни (и потому «вещи его любят» и повинуются ему), распорядитель «вещей» и строитель их, он «жаден» к работе — и этого скрыть не может его кривое зеркало, Кавалеров. Деловитость, точность, трезвость мысли так нужны стране после веков «опьянения» словом и эмоциями, после расхлябанности идеалистиков и романтиков, после высокой лирики «всечеловеческих» чувств поэтов и интеллигентов. О таких людях, как Кавалеров или брат его Иван, он выражается, как о «лентяях, вредных, заразительных», — людях, которых для общественной пользы «надо расстрелять».

Он поражает своим новым складом, своей выкованной выдержанностью, своей чисто большевистской целеустремленностью и трезвостью. Это — действительно новый тип активного русского человека, выступившего на историческую сцену.

Не слишком ли рационалистичен этот тип деятеля-хозяйственника? не лишен ли он, действительно, «воображения», как зло иронизирует над ним в зависти своей Кавалеров, — эмоций живого человека? подлинный ли он живой человек или только теоретическая выдумка, «стопроцентная» «железная воля» современных романов, так зло охарактеризованных Гладковым, как мы уже знаем, — нечто вроде традиционной «кожаной куртки» или грязной «толстовки»? Нет, Бабичев щеголяет в «элегантном сером костюме», пахнет одеколоном.

Бабичев — это реальный образ, правдоподобный, художественно-живой; в нем черты, элементы, отдельно рассыпанные в людях эпохи, лучших людях революции; он — символ художественный. В нем не только насыщенная активность эпохи, но и насыщенная эмоциональность ее, живая «душа», чувствующая и реагирующая, — только все его эмоции собраны в один жгучий клубок, в один пучок, в один пафос. Это — пафос практического жизненного творчества, строительства в условиях освобожденной революцией страны. Но, к сожалению, автор не сумел нам показать именно «коммунистического» содержания своего героя, мира его идей. Он отчасти показывает этот «коммунизм» в психологическом его отражении — в его эмоциональной стойкости и выдержанности,— но таким может быть и просто делец, практик европейского типа... Он — «новый человек», но почему он коммунист?

Кавалеров подыскивает «слабые» стороны этого крепкого человека: у него «тонкость кожи», он — «барин», но барин, бывший на каторге. Да, он, в прошлом, интеллигент, но ушедший в революцию, однако он сам считает — хотя автор и не показывает, в чем правда этого самоанализа, — что он еще «стоит по брюхо в старом» мире и уже «не вылезет из него», т. е. что он не «подлинный» коммунист... Не считает ли он серьезно чувства любви, «отцовства» и пр. «буржуазным пережитком», принадлежностью ветхого Адама? Вообще, и эту сторону личности Бабичева автор рисует нам тоже в преломлении — на сей раз другого героя повести: если Кавалеров характеризует, так сказать, отрицательно Бабичева «справа», то комсомолец Макаров делает это «слева». Его зеркало тоже, вероятно, криво: он слишком еще молод, прямолинеен, «стопроцентен», и тут читатель должен внести кое-какие поправки в его пристрастную, хотя и с иной стороны, характеристику Бабичева. Юноша упрекает Бабичева в излишней «чувствительности», «доброте». «Ты ж у меня слюнтяй!» — пишет он ему любовно, но это характеризует не столько Бабичева, сколько самого автора характеристики.

V.

Бабичев — вовсе не «слюнтяй», — Кавалеров охотно подтвердит это. Бабичев только человек на стыке двух эпох, человек, обремененный и, может быть, обогащенный старым миром, но весь сознательно и подсознательно ощущающий свое сродство с новым миром, чувствующий себя человеком нового мира. Он человек переходной эпохи, разорвавший с прошлым, — подготовитель нового мира. Надо принять не только как идеологический штамп, а как истинную сущность, искреннее выражение его психики его credo: «Я не хочу умирать на высокой постели, на подушках. Масса, а не семья, примет мой последний вздох... Мы — не семья, мы — человечество». В Володе и любви к нему сосредоточилась для него далекая «жизнь нового человечества», «прекрасный новый мир», «то, ради чего я живу». Но этот психологический «коммунизм», которого мы искали в образе Бабичева — показан художественно все же неубедительно, надуманно, рассудочно и слишком обще. Боле правдиво звучит «строительский» пафос Бабичева. Методом резкого контраста между «высоким» и «низким» стилем характеристики, методом гротескового пародирования, автор оперирует и в выявлении революционного пафоса Бабичева, пафоса всего его хозяйственного строительства. Пафос революции и чайная дешевая колбаса, — вот схема этого острого и художественно-яркого метода.

Символическое воплощение мечты Бабичева — прозаический «Четвертак» (как у его брата Ивана — поэтическая «Офелия»), т. е. величайшая общественная столовая, которая должна сделать коллективным дело питания, свести на-нет тысячи кухонь, освободить женщину. Но разве в самом характере этого дела не ощущается дух «коллективизма», того психологического коммунизма, которого мы искали у Бабичева? Бабичев — сдержан, он ничего не говорит о революционно-освободительном значении идеи своего

маленького прозаического дела; но весь пафос его вскрывается гротесково-лирическим анализом Кавалерова: маленькое частное дело — даже в этом иронически-презрительном анализе — вырастает в дело большое, общее: «Женщины! Мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, половину жизни получите вы обратно! Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня!» и т. д. Болтливый и «поэтический» Кавалеров договаривает за сдержанного Бабичева.

Еще резче пафос современности вскрывается на эпизоде с колбасой.

Что считать «малым делом»? Когда-то звучала вполне определенно теория «абрамовщины», в условиях буржуазного быта. Но все течет, все относительно. В новом обществе, в строительстве нового быта, новой семьи,— новое содержание и новое осмысливание получают привычные формулы.

Наряду с идеями огромного, мирового масштаба — «планетарными», вождь коммунизма призывал внимание строителей новой жизни к мелочам, к кирпичам здания, к деловому хозяйничанию, к «копеечке», которая рубль государственный бережет. Прямо великолепна и полна живого блеска та сцена «Зависти», где вскрывается на малой вещи — на колбасе — психология великого строительства, и так вскрывается, что читатель верит в восторг Бабичева, в его пафос... Колбаса путешествует из кабинета директора треста по канцеляриям, победоносно шествует по улицам в какой-то склад к спецу Шапиро — тоже энтузиасту «малых дел», в честь ее устраивается чуть ли не праздник. И это вовсе не смешно: читатель тоже сочувствует этому празднику практического дела, тоже увлечен — и только вот из уст утонченного интеллигента, мечтающего о «необычайной» славе, Кавалерова, слышится ироническое резюме. И снова Бабичев утверждается через «разоблачение» его кривым зеркалом Кавалерова: «Замечательный человек, член общества политкаторжан, правитель — считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта... Неужели это праздник? Неужели это слава?». Его «раздирает злоба», он иронизирует над персонажами этого колбасного празднества: «Пиши их, новый Тьеполо, пиши: «Пир у хозяйственника»! Еще одно-другое достижение в колбасном деле, еще одна-другая удешевленная столовая — вот пределы вашей деятельности... О, мне другое снится»...

VI.

Что же «снится» Кавалерову?

Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте остановиться еще на другом представителе нового мира в романе — на комсомольце Макарове, обзывающем Бабичева «слюнтяем» за его «нежности» и «чувствительность». Этот персонаж довольно слабо, почти схематически очерчен автором; он — эпизодическое лицо, второй план романа. Володя Макаров призван символизировать «совершенно нового человека», подлинного сына нового времени, не только по происхождению и анкете (он сын рабочего, у него «плебейское лицо»), но и по психике; всю свою сознательную жизнь провел он уже в новых общественных условиях — ему теперь лишь 18 лет.

Никаких особых заслуг за ним не числится. Автор опять пародирует, опять снижает своего «героя». Макаров как-будто замечателен тем, что он — футболист. «Ах, футболист! Это и вправду большое качество», — иронизирует Кавалеров. Но и здесь показаны, правда, разрозненные, отдельные, но все же элементы живой «коммунистической» психики. И здесь «футбол» — символ. В превосходной сцене футбольного состязания автор показывает нам этого вузовца-футболиста в действии: немцу, против которого сражается Володя, важно «показать свое искусство», он — «игрок», он — индивидуалист, дорожащий только «собственным успехом»; Володе важен «общий ход игры, общая победа, исход». И он — победитель!

И вовсе тут не в футболе дело, не только в том, что в упругом молодом теле — залог и психического здоровья: вся психика Володи — новая. В нем есть чувства коллектива и целеустремленности, правда, тоже довольно схематически утверждаемые автором, а не показываемые им. Он еще по-юношески прямолинеен, нигилистичен; природу он не любит, эстетику отрицает, как Базаров, как Писарев, испытывавший «величайшее удовольствие» от того, что «эстетика исчезает в физиологии и гигиене», — и, может быть, даже рисуется этим: «не люблю я этих самых телят». Над чувствами смеется, — хоть им и подвержен. «Нужно понимать время, чтобы освободиться от мелких чувств». Он умеет схватить общую историческую идею: «революция была, конечно, очень жестокая», но она была «великодушна», «добра» для «всего» целого, в перспективе «времени». У него много самонадеянности, молодой и часто наивной, много революционных фраз, но и много воли, — заряд этой воли — к строительству: «Я собью спеси буржуазному миру. Старики брюзжат: где ваши новые инженеры, хирурги, профессора, изобретатели? Мы будем работать, как звери...» Это все еще речи, иначе звучит пафос дела у практического работника Бабичева, но и за этими речами, пусть наивными и схематическими,—слышится какое-то упрямство уверенности. «Я уже новое поколение, — резюмирует себя Володя. — Я человек индустриальный... Я хочу быть машиной». «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — мог бы повторить он слова Базарова. — Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник...» [1]) И желание у Володи огромное и настойчивое — быть равнодушным, как машина, «ко всему, что не работа», из'ять всю эмоциональную сторону существования. Он схематичен и риторичен, этот юноша, современный аскет.

Читатель так и воспринимает его в свете юношеской пародийности на «совершенно нового человека»...

Живая сущность нового человека выявляется в его действии. И, увидав Володю на гимнастике в узком городском дворике (превосходно описанном), — как, «взлетев, юноша пронес свое тело над веревкой, — точно перекатывался через препятствие», Кавалеров растерялся, почувствовал

---

[1]) Сравни современных «лефовцев»: приведя вполне правильный взгляд автора статьи в «Комсом. правде», что «один техник куда более необходим, чем десяток плохих поэтов», С. Третьяков прибавляет: «мы согласны даже выкинуть слово «плохих» («Новый леф» 1928,1).

«стыд». И там же Кавалеров увидал Валю, девушку «легче тени», в трусах, с ногами, опрубевшими от воздуха, солнца. «Как прелестна будет обладательница, созревая и превращаясь в женщину, когда сама она обратит на себя внимание и захочет себя украшать»...

И потрясенный Кавалеров может повторить горький вывод своего собутыльника Ивана: «Я думал, что все чувства погибли: любовь и преданность, и нежность, но все осталось... Только не для нас, а нам осталась только зависть и зависть»... Однотонная схематическая и риторическая линия «совершенно нового человека» выправлена этой атмосферой чарующей женственности и нежности.

Как тонкая лирическая нить проходит через повесть еле очерченный, скупой, но полный прелести и чистоты молодости образ девушки Вали, «существа другого мира», для Кавалерова такого «безысходно милого» и «подавляюще недоступного»... «Я ждал вас всю жизнь»...

Это был один из снов Кавалерова.

VII.

Образ Кавалерова, истинного героя «Зависти», сложился у Юр. Олеши под очевидным влиянием человека из «подполья» Достоевского, но это не значит, что он — только литературная реминисценция. Тождественные социальные условия создали на расстоянии почти восьми десятилетий однородные психические миры, поставили проблему однородного чувства — «злости», как у «подпольного человека» Достоевского (так его называл Михайловский), — «зависти», как у героя Олеши. Это — «лишние люди», ощущающие остро свою социальную ненужность. «Записки из подполья» Достоевского — тоже гротесковое пародирование скрытой тоски и «муки мученской» лишенного социальной опоры и социального самоуважения человека, — пародирование «боли о человеке» (Добролюбов), который не в силах осуществить назначение своей личности, проявить полностью ее дарования. Ужас нищеты, бесправие, борьба за честь, при полнейшем социальном бессилии, сделали героя Достоевского «мертворожденным», бросили его в «подполье» большого города, «самого отвлеченного на всем земном шаре», Петербурга, — в психологическое подполье, не только вещественное. Он, «всех умнее, всех развитее, всех благороднее» — «муха» перед всем этим светом, «беспрерывно всем уступающая, всеми униженная и всеми оскорбленная». Эта проблема «подполья», позже в формуле Раскольникова заменившая «муху» еще более унизительной «вошью» («вошь я или человек»), проблема обостренного чувства индивидуальности, эволюционирует к проблеме индивидуализма, разрешающего через все «переступить», проблеме Раскольникова, пробе индивидуальной силы, свое торжество вскоре утвердившей в взрыве бомбы на набережной Екатерининского канала. Вышедший из подполья Раскольников утверждал в этом акте террора идею сильной революционной личности, революционного индивидуализма.

И вот переброшен мост от Достоевского — первого городского писателя нашего — в современность.

Пришли сроки, над которыми так иронизировал «подпольный» человек в 1846 г. — «новые экономические отношения, вычисленные с математической точностью», придвинулось время для строительства «хрустального дворца», о котором говорится у Достоевского, массы заняли поле деятельности «мыслящих личностей» и героических одиночек и наступил крах индивидуализма: социальное выражение этого краха — новое психологическое «подполье» современности, подполье для бессильной «зависти», для трагической безысходности... «Мне очень трудно найти героев... Героев нет...» — тоскливо заявляет один из современных «подпольщиков» в романе Олеши.

В «поисках героя», как известно, и Ник. Тихонов. Но его «герой» звучит совсем по-иному. Но в унисон размышлениям героя Достоевского о «хрустальных дворцах» будущего и «курятниках» звучит мрачная ирония Кавалерова над современным «дворцом» — «Четвертаком», общественной кухней, где обед будет стоить 25 коп., и дешевой чайной колбасой. Кавалеров, — таким, каким он оказался в борьбе двух миров, — ненужен новой жизни, отброшен ею от всякого общественно-полезного дела, ему остается один психологический путь — «подполья» с его тоской и злобой. Мост от Достоевского переброшен в современность, но какой? Если мрачный и жалкий герой Достоевского оправдан автором, как жертва социальных условий, социальной несправедливости, жертва «отвлеченного» Петербурга, петербургского периода русской истории, — то у Олеши его Кавалеров — тоже «социальная» жертва — разоблачен, как недавний соучастник этой самой несправедливости, «баловень» старого порядка, классовый враг новой лучшей жизни. Оказывается при ближайшем рассмотрении, что содержание двух образов «подпольного человека» на протяжении 80 лет — совсем не тождественное; содержание того чувства, которое носит один психологический признак: зависти и близкой ей злости, — изменилось на протяжении эпох: у героя Достоевского оно носило характер бунта, пусть и нелепого, патологического, но общественно-прогрессивного, у Кавалерова его «бунт» — определенно реакционный.

Кавалеров — центральный герой романа Олеши; его «Записки» и составляют первую часть книги, — «Записки из современного подполья», как можно было бы озаглавить их, так как и он, подобно герою Достоевского, «носит в душе своей подполье». Кавалеров заканчивает собою длинную цепь «лишних людей» нашей общественности и нашей литературы, — сначала дворян-интеллигентов, потом разночинцев, потом просто интеллигентов. Он в романе — последнее слово «старого мира», символ его, — живой осколок прошлого быта, очутившийся тоже, как и Бабичев, на стыке времен и даже ощутивший и осознавший «чувство времени», историческую закономерность событий, — как увидит это читатель. Его чувство «зависти» к новому миру, которое составляет содержание романа, — есть утверждение этого мира, пародийное признание его. Зависть — это признание не только чужой силы, но и собственного бессилия.

Ж. Эльсберг в журнале «На литературном посту» вполне верно проанализировал социально-психологическое содержание «кавалеровщины», как

«драму современного индивидуализма»; можно конкретнее рассматривать ее, — как драму вообще современной интеллигенции, как трагическую развязку борьбы двух мировоззрений, двух миров.

Молодость Кавалерова «совпала с молодостью века», но психика его, душа были «мертворожденными». Он сам говорит о своих «унижениях, собачьей своей жизни», о том, что он молодость свою «не успел увидеть». Он — типичный неудачник, опустившийся на дно, острый ум, богема; он пишет куплеты для «эстрадников» об алиментах и фининспекторах, но он — не торжествующий «моссельпромщик», как некие иные поэты, более, чем он, счастливые, — не победоносный обыватель; он ясно сознает несоответствие между социальной действительностью и живущими в его душе идеалами: в этом разрыве вся трагедия Кавалерова.

Это человек больших запросов, великий честолюбец. Что же ему «снится»? С детства, когда он впервые услышал «гул времени», его стали обуревать гордые мысли: «Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым». Для него мучительно сознание, что он уже «готов, закончен» как социальный тип, не может быть больше «ни красивым, ни знаменитым, ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни авантюристом». Его прельщает мир современного капиталистического индивидуализма — Западная Европа, которая «одаренному человеку» дает большой «простор для достижения славы», а у нас «нет пути для индивидуального достижения успеха». Он разражается страстной филиппикой индивидуализма против социалистического мировоззрения: «В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами. Мне хочется показать силу своей личности. У нас боятся уделить внимание человеку. Теперь мне сказали: самая замечательная личность — ничто». Так он односторонне и суб'ективно воспринимает перенесение центра общественной тяжести от личности к коллективу, принимающие иногда в своем извращении на практике формы той прмолинейно «низкой оценки человека», бороться с которой призывал недавно в наших газетах М. Горький. Но ведь он сам видит «славу» Бабичева. Вопрос в том, какого характера эта слава... Ему подавай «наркома» или «полководца», — на меньшее он не согласен. В нем говорит ущемленная при коллективизме личность, ущемленная даже в самых «законных» путях славы, путях свободного, казалось бы, творчества, — ограниченная поставленными коллективом задачами целеустремленности, «полезности», «трезвого реалистического подхода», «идеологической созвучности».

У Олеши Кавалеров сделан подлинно живым, психология его художественно-правдивая, сложная, не тенденциозно-схематическая; от этой правдивости сила саморазоблачения типа только возрастает. Этот представитель старой психики прекрасно понимает историческую неизбежность современности: «Я ведь чувствую, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий... Я не слепец, у меня голова на плечах. Я грамотен». Именно в «этом мире» он хочет «славы», подвига, — но только не черновой работы. На маленькую органическую работу он не способен: «Новый сорт колбасы меня не заставит сиять». Мы знаем, что это неспособность,

эта психика романтического индивидуализма лежала в основе многих трагедий людей, перешедших из эпохи подвигов и «славы» в эпоху слишком прозаических, «малых дел» нэпа и хозяйственного строительства. На этой почве доходили до самоубийства.

И у Кавалерова возникает — правда, «озорная» — мысль о самоубийстве в типично-индивидуалистической окраске. «Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь», подчеркивает он.

Но и для такого акта у Кавалерова не хватает смелости.

Рефлектирующий интеллигент, он не способен даже на «месть», даже на геростратовский подвиг «отвратительного гнусного преступления». Он сам себе дает точную характеристику, которую можно было бы написать на его могиле, — характеристику современного Пер Гюнта: «жил в знаменитое время, всех ненавидел, и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не сделал». Вот эти раздирающие душу противоречия.

Выход для них, как и у его прообраза из «Записок» Достоевского, тот же, эстетический. Он — поэт. Он любит «смаковать» эстетические «противоположения и соединения». Он — эстетический созерцатель в жизни. В том, что «авиация» быстро стала «промышленностью», для него, конечно, большая печаль. Звон «знаменитого» звонаря на московской церковке превращается для него в «романтическую грезу» «явно западно-европейского характера» — какого-то «Тома Вирлирли», — символически звучного, как «Илаяли» его несчастного собрата из гамсуновского «Голода», — но рефлексия тут же развенчивает эту «грезу»: звонарь — это только «мужичок», распоряжающийся «посудой, тарелочками, а звон — только смесь ресторанного и вокзального звона». Всю жизнь он мечтает о «необычайной любви». «Одинокий и загнанный», с этой своей фамилией «Кавалерова» — «высокопарной и низкопробной», — с «тоской» он несет в себе мечту о недосягаемом — супружестве, гордости и чистоте, уединенный мечтатель современного промышленного города. В этой тоске — социальное предчувствие окончательной гибели; и не только предчувствие, а полное сознание банкротства и гибели: «Ясно, все идет к гибели, все предначертано, выхода нет — вам погибать!» «Погибать: это ясно»...

VIII.

Как Валя и Володя являются «дополнительными цветами» для характеристики Андрея Бабичева — человека нового мира, так Иван Бабичев (брат Андрея) дополнительно дорисовывает социальную проблему «кавалеровщины». Этот Иван — пьяница и фантазер, Пер Гюнт или тот же Кавалеров в старости. Он — болтун, «проповедник» по пивным, «король актериков, мечтающих о славе, пошляков, несчастных любовников», подлинного «подполья», — кого наша общественность правильно называет — «упадочниками», «носителями упадочных настроений». Этих «упадочников» Иван Бабичев считает «сильными личностями, решившими жить по-своему, эгои-

стами, упрямцами». Хороша «жизнь по-своему»! Для него всякий порядок, организованность есть признак ограниченности, и трезвый, деловой Андрей для него «тупица». Он — тоже индивидуалист-романтик, его идея в том, что новый строй обрек на «уничтожение» все чувства, «воспетые старинной поэзией, все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры». Он серьезно считает, в своей ограниченности отмирающего человека, что эмоциональная насыщенность, полнота человеческой жизни в новом строе «эры социализма» должны замениться абсолютной трезвостью, деловитостью, рассудочностью, механизироваться, — то же, что теоретически признавал в своей ограниченной прямолинейности его противник на крайнем левом фланге — Володя Макаров. Комсомолец Володя мог бы расписаться под формулировкой Ивана, что чувства должны быть изгнаны из сердца нового человека, для которого все это — «упадочничество». Иван имеет излюбленную идею «заговора чувств»: он хочет собрать своих подпольщиков-«героев» и провести «последний парад» (тоже символ) «старинных человеческих страстей»...

Но он жестоко ошибся. Биологические, органические особенности человеческой природы — покуда она живая, а не «мертворожденная» — будут жить, покуда будет жить человек. Страсти не умрут, изменится только их характер, качество. Стихийность будет введена в рамки. Из тиранов и разрушителей страсти могут превратиться в обогатителей человеческой психики и созидателей. «Заговор чувств», как и прочие заговоры против нового мира, постигает неудача: чувства «старинного» типа выродились у «упадочников»: — «гнилушки, плесень — это все, что осталось от них, — принужден признать этот представитель старого мира. Одно только чувство он нашел для своего «парада» сильное, и нашел потому лишь, что оно пассивное — «зависть»...

IX.

Две сюжетные линии определяют содержание романа Ю. Олеши: борьба старого мира с новым, персонифицированная в отношениях идеологических (действия, движения в этом романе, опирающемся на «подполье», нет) между Кавалеровым и Иваном Бабичевым, с одной стороны, и Андреем Бабичевым, с другой. Другая, тонко-лирическая, чисто-романтическая — на заднем плане, еле намеченная, — завершающая в интимной жизни Кавалерова его личность (платоническая любовь к Вале) и тоже отмеченная печатью «зависти».

Содержание романа — зависть личности к коллективу, индивидуального мировоззрения к общественному, зависть «старости к грядущей эпохе», зависть вчерашних «баловней истории» и хозяев ее к сегодняшним. Борьба за власть («Мы тоже привыкли главенствовать там... у себя... в тускнеющей эпохе; мы тоже были баловнями истории»), за место в жизни давно кончилась; пораженные в фактической борьбе ушли в психологическое «подполье» — им осталась только зависть, — чувство слабых и разбитых. Образ «зависти» подымается на высоту социального символа.

Иван в интеллигентско-истерическом экстазе, свойственном ему, даже готов преувеличивать красоту и блеск «праздника», куда его «не пустят», — но он «всеми силами ненавидит»: «Не затирай. Не забирай того, что может принадлежать мне». Таково материалистически-откровенное разоблачение высоко-поэтического «заговора чувств», эстетической романтики и мученической тоски современного подпольного человека.

Вся гамма потаенных человеческих чувств с необоснованными переходами от благодарности к обиде и мстительности составляет психологическую ткань романа, в которой автор уверенно роется, — «достоевщину» чувств героя современного подполья. Социальную базу «бунта» Кавалерова мы уже знаем. Идеологическую надстройку отчасти тоже знаем. Это «бунт» против дикаря, каким он мыслит в глубине души новый мир — за культуру, за эстетику, за индивидуализм. В письме к Бабичеву находит себе полное выражение сгусток потаенных чувств Кавалерова. Это голос обиженного интеллигента, оставшегося за бортом новой жизни. И в письме этом опять вопрос ставится в плоскость индивидуального разрешения вопроса. Бабичев трактуется здесь, как «заурядная личность». «Он умнее? Богаче душой? Тоньше организован? Сильнее? Значительнее? — спрашивает Кавалеров. — Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек. Но значит ли это, что я плохой сын века?»

«Бунт» чувств ищет выхода в замышленном убийстве Бабичева, мести, но все это лишь жалкий самообман бессилия. Более активный Иван призывает Кавалерова хотя бы к красивому жесту: «Обставьте же свою гибель, украсьте ее фейерверком, попрощайтесь так, чтобы ваше «до свидания» раскатилось по векам»... Иван вкладывает не только личный, но и социальный смысл в этот энергичный бессмысленно-дикий призыв: здесь и «расплата» за эпоху, которая была им «матерью»... Напрасные призывы, болтовня, слова...

Сам Иван, такой активный в советах своих, осуществляет «бунт» только в снах, мечтах, «сказках». Кавалеров — не «обыватель», он — человек, мучающийся идейными муками, но на практике осуществление его программы есть торжество обывательщины. Его alter ego Иван демонстрирует этот логический финал своим бунтом против идеи общественного питания во имя «кастрюль» и горшочков старого уюта и «домашнего очага» — определенным бунтом во имя мещанства. Идеал, выдвигаемый Иваном, очень прост и понятен, когда с него совлечены эстетские одежды высокопарных «парадов чувств» — этот идеал: «подушка», — символ, с которым на протяжении всего романа сочетается образ Ивана. «Мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших». Символ этот станет резче, если вспомним противопоставления Андрея: семье — «человечества», личности — «масс», — когда вспомним его гордый возглас: «Я не хочу умирать на высокой постели, на подушках!».

И «Офелия» Ивана — тоже одна фантастика, символ, пародирующий действительность. Это придуманная им в мечтах машина, которая умеет

«все делать», которая может «осчастливить» новый век, дать ему небывалый «расцвет техники». Но «кому ее оставить? Новому миру? Они жрут нас, как пищу, — девятнадцатый век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика. Что на пользу, то впитывают, что вредит — выбрасывают». И машину свою он превращает из мести в «кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся»: он делает ее эстетской и эмоциональной, она «поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, собирает цветы... влюбляется, ревнует, плачет, видит сны»...

Но и эта месть несет один провал изобретателю. Мы уже знаем его вывод: «Я ошибся, — кричит он, подытоживая свое банкротство. — Все чувства остались... только не для нас, а нам осталась только зависть. Выколи мне глаза, я хочу ослепнуть»... Побеждает новый мир, физически и психически здоровый, трезвый, полный пафоса созидания; побеждает идея социально-передовой, коллективной установки в общественном строительстве, — то, что находит себе достаточно-убедительную формулировку в приевшемся, казалось бы, штампе исторической неизбежности и закономерности. Одна жизнь кончилась, начинается другая. «Гулом времени», гулом истории наполнен этот острый современный роман.

X.

Банкротство резюмирует «бунт» Кавалерова и в личной жизни, жизни чувства. Это вторая сюжетная нить романа.

«Подполье» Кавалерова символизируется мрачной квартирой его у вдовы Прокопович, «старой, жирной и рыхлой», которую «можно выдавливать, как ливерную колбасу»: у дверей ее комнаты на табурете таз, — и «в нем плавали вычесанные волосы» (яркий натуралистический образ). У вдовы Прокопович «кровать замечательная». громадная, выигранная на лотерее — символ потрясающего мещанства, как «подушка» Ивана, как сама Прокопович — «символ мужской униженности» Кавалерова. «А мечты о необычайной любви бросьте. Ну, что вам еще нужно?» Письмо Олеши, как видит читатель, такое конкретное, отчетливо-художественное, тем самым, что оно подлинно художественное, восходит к символизму. Мы в лесу художественных образов-символов.

И вот «бунт» чувств Кавалерова: он уходит из «подполья», из этой своей квартиры, в мечте за «тонкорукой», «воображаемой». «Я не пара тебе, гадина!» — кричит он вдове Прокопович.

На протяжении романа он проделывает путь идейного восстания — и в общественной своей жизни, и в личной. Мечта «всей» его жизни о «необычайной любви» воплощается в Вале, девушке в розовом. Он говорит, встретившись с ней на пути своей жизни: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», что, конечно, совершенно непонятно ей, современной девушке, влюбленной в прямолинейного и «индустриального» комсомольца Володю. А Бабичев Андрей тот прямо хохочет: «Какая ветвь? Это, наверно, какой-нибудь алкоголик!»...

Кавалеров — неудачник и в любви, как и во всем, как и его прообраз из Достоевского. Со всей своей тоской по чистоте и нежности он может только горько воскликнуть: «Меня никто не любил безвозмездно»... Он неудачлив: ему ли состязаться с «футболистом»? Удел его — «неизлечимая тоска» оттого, что он увидел ее, существо другого мира, чуждое и необыкновенное», которое он «ждал всю жизнь».

«— Пожалейте меня... — Но она не слышала»...

И вот финал, на котором Кавалеров может измерить всю степень своего падения: он возвращается на старую страшную квартиру, к вдове Аничке Прокопович. Кавалеров — не «обыватель», но неминуемо скатывается в обывательщину, — другого нет выхода, если не разорвать решительно с «подпольем» и честно и полно войти в жизнь нового мира. Иван давно намечал выход: «примириться или... уйти с треском». У него предпосылка, от которой он не отказывается до конца, твердо стоит на ней, видя в ней какую-то свою правду: «ведь все равно вас не пустят туда»! Кавалеров предпочел «примириться». У символической кровати Анички Прокопович встречаются оба — Кавалеров и Иван. Это банкротство не только физическое и личное («сегодня ваша очередь спать с Аничкой»), но и идеологическое, знаменующее полное разложение не только индивидуализма в условиях исторической современности, но и эстетической романтики, всяческой «достоевщины», всего мышления и психологического уклада «подполья», — банкротство того значительного социально-психологического явления, которое можно назвать «кавалеровщиной».

* * *

И мы думаем, читатель не посетует на нас за то, что мы так подробно остановились на этих «живых» людях романа Олеши: он стоит того. «Кавалеровщина» в той или иной степени, в тех или иных своих элементах, в тех или иных проявлениях не изжита до сих пор, ее еще много у нас, в самых разнообразных общественных группировках. С «кавалеровщиной» надо бороться, прежде всего надо честно преодолеть ее в самих себе тем, кто не изжил ее еще. Мне кажется, что умная, острая, захватывающая шириной и глубиной поставленной проблемы, книга о «зависти» много поможет в деле этого преодоления. Она заставляет задуматься над глубоким смыслом происшедших событий. В этом, — в честном и беспощадном, — разоблачении явления и еще в бодрости этой книги, в ее значительности формальной и художественной — несомненная ее литературная и общественная стоимость.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

С. Обрадович. Поход. Стихи. Зиф. 1928 г. Стр. 140. Тир. 2 500 экз. Ц. 1 р. 75 к., в переплете 2 руб.

С. Обрадович — один из тех пролетарских поэтов, чье творчество питается настроениями рабочих масс. По обрывкам детских воспоминаний автор «Похода» прежде всего создает портрет дореволюционного труженика фабрики и завода:

> Заскорузла потом блуза,
> На лице морщины след,
> И сутула под обузой
> Поступь пережитых лет.
> Так идет, сухой и строгий,
> День с машиной перевить.
> Так намеченной дорогой
> Жизнь пройдет в пыли, в крови...

Однако глаза Обрадовича, главным образом, устремлены на современность. Они видят достижения и недочеты современности. Недочеты от наследства, оттого, что «наш край убог: лохмотья и мятели», но непоколебима вера в «дни и корабли с грузом щедрым» настоящего и будущего. Обрадович по складу души лирик; его стихи живут зарядом сильных эмоций, питают ненависть и растят любовь. Любовь к весне и к труду, ненависть против «пыльных, будничных, обычных дней».

Лучшие стихи сборника в цикле «Скрытые строки», «Оттепель», «Март», «Бульвар», наряду с лучшими стихотворениями Полетаева, вносят свое яркое слово о радостях человека, из подвальной жизни выбравшегося на «резкий свет» и увидевшего:

> В разбитое окно — лазурь и гул;
> Загромыхали по дорогам ведра;
> И солнце растянулось на снегу
> Овчаркой рыжею и доброй...

Поэма «Явь» — кусок жизни рабочего середовика, в годы гражданской войны первого председателя фабзавкома. Он пережил вместе с товарищами дни голодовок и продотрядов, видел, как «тревожно вытягивались над фронтом жирафьи шеи ракет», и, наконец, вернулся обратно «к стопудовому молоту». Железная тишина завода встретила его «мертвым сном, паутинными клочьями приводов и маховиками в пыли». И Глеб Чумалов не выдержал, вместо порывов восстановительного энтузиазма он ощутил ненависть к нэпу, к его распутному лицу и готовность на самоубийство. Но, к счастью, перед ним предстало другое лицо — лицо рабочей жизни, своей трудовой бодростью оно показало ему явь социалистического строительства. В поэме есть ряд невыразительных общих мест (например, сцены из быта нэпманов в третьей главе), которые несколько снижают серьезность психологического возрождения главного героя.

В творческом ряду пролетарских поэтов первого призыва стихи С. Обрадовича выгодно отличаются поэтической техникой. Динамичность синтаксиса, работа над рифмой, тщательный выбор словаря и эпитета, борьба с трафаретной образностью — все это сообщило его продукции надлежащее соответствие формы и содержания.

Виктор Красильников.

Петр Орешин. Ничего не было. Гиз. М.-Л. 1928 г. Стр. 239. Ц. 1 р. 80 к.

Картины жестокой, неприглядной жизни «жулика саратовского» — мальчика Володьки — написаны без всякой сантиментальности. Условия жизни, окружающая среда Володьке ничем не помогают. В сущности, кроме самого Володьки — маленького человека, строителя своей судьбы, действительно «ничего не было». Отец во время запоя случайно заезжает в деревню, случайно женится, случайно рождается Володька. Жизнь Володькина

не веселая, но «за десять лет жизни Володька до такой степени привык к отцовским запоям и голодовкам, и к дракам, и ко всем ужасам, которые проходили дома перед его глазами, что все это даже перестало интересовать его. Мать могла привязать за ногу, как в деревне телят привязывают. Отец по пьяному делу — залепить по уху. Бабушка — щипнуть за вихор. В доме водилась всякая нечисть — и домовые, и нечистый, и бесы, и дьяволы» (стр. 219).

Но Володька обладает скептическим складом ума, он — неутомимый исследователь. Путем эксперимента («молитва против запоя отца») он убеждается, что бога не существует, затем выясняет, что и нечисти не бывает. Наконец, лопаются (в главе «Мыльные пузыри») все земные авторитеты: купец, хозяин отца, лопнул — обанкрутился, дядя — богатый священник — лопнул — потерял за неподобное поведение сан. Все это наводит Володьку на мысль о том, что, вероятно, может лопнуть и царь.

Вся история Володьки — его игры и драки, его жизнь в деревне, его первая любовь к девочке Насте, его самостоятельное поступление в школу — описана с большой свежестью и юмором, с большой любовью к этому вихрастому человеку. Пьяной и мерзкой жизни Володька объявляет войну, и он на пути к победе. Автор оставляет Володьку в апогее его славы — он читает «Памятник» на Пушкинских торжествах. «Дальше он ничего не помнил... Он даже не знал в это время, шумит ли площадь, молчит ли. Он даже перестал сознавать, где он находится, и его глаза совсем перестали видеть. Вдруг вся театральная площадь загремела рукоплесканиями. Володька опомнился... Он весь дрожал от волнения. Думать даже не хотелось от той пьяной овражной действительности, в которую он погружен, как в тяжелое и жестокое сновидение... Володька со страха глядел на нее, как на врага, с которым должен выдержать суровую, кровавую схватку. И, подумав это, окреп Володька: вернулось его обычное спокойствие к нему, плечи налились силой, и в глазах блеснул зеленоватый огонек задора и решительности» (стр. 237).

Книгу эту — простую, человечн[у] написанную простым и хорошим язы[к] можно рекомендовать читателям и ос[обен]но молодежи.

Евг. Книпов

А. Дорогойченко. Буран. «Мо[лодая] гвардия». М.-Л. 1928 год Стр. Ц. 1 р. 50 к.

В качестве прозаика А. Дорогой[ченко] стал известен читателю романом «Бол[ьшая] Каменка» — о революции, граждa[нской] войне и строительстве новой дер[евни]. Несмотря на ряд погрешностей в обри[совке] характеров, композиции, роман я[вился] несомненным достижением крестья[нской] литературы, выгодно отличаясь сре[ди] продукции многими художествен[ными] достоинствами. По своему обществен[ному] значению этот роман явился для крес[тьян]ской литературы тем же, чем «Це[мент]» Гладкова для пролетарской литера[туры]. Рецензируемая книжка, представля[ющая] сборник повестей и рассказов, заста[вляет] обратить на А. Дорогойченко еще бо[льшее] внимание. Это — вдумчивый и глу[бокий] художник, много работающий над с[обой]. Лучшая вещь сборника — повесть «С[тепа]новна».

В этой повести Дорогойченко в[ысту]пает прежде всего оригинальным ху[дож]ником. Он избежал подачи, ставшег[о] трафаретным и не впечатляющим, [вне]запного идейного прозрения или [про]буждения женщины, кинематографич[еского] по скорости превращение ее из заб[итой] неграмотной в сознательную и перед[овую] общественницу. Ничего этого нет [в] повести. Для деревенской женщи[ны] вообще для человека малокультурного [свя]занного исключительно с физическим [тру]дом, наиболее свойственен обратный [про]цесс. Такой человек по большей [части] вначале делает по практической не[обхо]димости или классовому чутью, а [потом] уже осмысляет, осознает свои пос[тупки] идеологически.

Конкретизацию этого положения и[ллюстрирует] Дорогойченко в своей повести. Все [раз]говоры мужа о коммунизме, общес[твен]ных задачах коллектива Степановна принимает как ненужную, пустую [болт]овню, которой можно не больше как т[о]

«себя срамить», по ее выражению. Но измученная теснотой, скученностью, бестолковщиной, энергичная и хозяйственная, она видит, что экономически выгоднее уйти из села в коллектив. И под действием этих чисто-практических соображений Степановна торопит своего мужа коммуниста с переходом в коллектив, бессознательно осуществляя идейно заданную мужем мысль. У нас уже много произведений, где сознательные, идейные, передовые люди создают коллективы, коммуны, артели. Конечно, эти повести не грешат против правды. То, о чем они пишут, есть в деревне. Но это только одна линия, вторая же и важнейшая — это тяга к артельному, коллективному труду, без всякого осознанного идейно-психологического отношения и исключительно только по практической, хозяйственной сметке. Степановна видит в коллективе непосредственную выгоду, облегчение жизни, и потому она идет в него. В дальнейшем же, когда она проживет в коллективе не один год, Степановна приобретет общественные навыки и, может быть, идейно осознает роль совместного, коммунального хозяйства.

Боковая линия фабулы в радужных, солнечных тонах развертывает любовь сына Степановны — Алексея — к соседке Марине. Не только Степановна, но и Марина, Алексей, Яков и эпизодический персонаж, мордвин Сяткин, даны автором ярко-индивидуальными, полнокровными обликами. Язык повести — хороший, чистый и звучный язык приволжской деревни, веющий привольем и раздольем степи.

Общий стиль повести чуть приподнятый, эмоционально насыщенный, иногда уходящий в сказ. Композиционно, повесть — образец целенаправленности всех элементов и стройности замысла.

В рассказе «Пришел на свидание» автор показывает образ своеобразного «мудреца», кулака высокого полета, пришедшего на свидание к арестованному повстанцами предсовета — «поговорить по душам». Характерный и цельный образ этого «мудреца» особенно выпукло выражается его языком, изобилующим пословицами, поговорками, присловьями и иными народными выражениями.

Остальные рассказы даны слабее.

В них нет той психологической тщательности в отделке характеров и того высокого стилистического мастерства, которыми пронизана «Степановна» — одно из лучших и глубоких произведений о современной деревне.

А. Ревякин.

Бела Иллеш. Барак № 43. Рассказы. Изд. «Московский рабочий». 1928 г.

Это книга суровой жизненной и художественной правды. Черты нашей «эпохи войн и революций», эпохи величайших социальных потрясений, зарисованы реалистически правдиво, без всякого пафоса, без всякой романтики. Социальные сложные процессы разложения переведены на художественный язык живой человеческой психологии в рамках своеобразного красочного интернационального быта.

Империалистическая война, потом революция необычайным образом «перемешали» народы, страны, даже — материки. Военнопленные и эмигранты, выброшенные из своей страны, разбрелись по белу свету, и выработался новый, широко распространенный тип «интернационального лишнего человека». Это — люди, вырванные из своей социальной среды, оторванные от своих привычных трудовых процессов, часто — с искалеченным телом, еще чаще — с помятой, надломленной душой.

Вот они — герои рассказов этой книги.

Самая крупная по размеру, значительная по содержанию и законченная по художественному выполнению — первая вещь в сборнике: «Раздавленные люди». Она характерна для Бела Иллеш по самым приемам письма: безыскусственная простота, четкость рисунка, почти акварельность красок, местами здоровый незлобивый юмор, а с каждой страницей все яснее проступает трагическое лицо эпохи... Здесь вы попадаете в «убежище для инвалидов». «Большинство жильцов — нищие и бродяги, которые живут исключительно даровым обедом» — за счет «общественной помощи» американского, шведского, датского, голландского, норвежского, испанского, еврейского и даже — масонского. Кто же они? «Это вовсе не сумасшедшие,

они только имеют каждый свою историю, иной принимал участие в войне, другой видел гибель революции...» А «своя история у каждого», это — своя у каждого история психического вывиха, разложившегося социального чувства. Вот «ассирийский король» — «доктор Марк Хозелик, доктор философии». Брошенный в ужасы войны, во время похода в Галиции, ночуя в конюшне какого-то польского магната, страдая от зубной боли и не в силах заснуть, он вынул из походного ранца книгу по естествознанию и вычитал, что есть два вида трупных червей: одни пожирают только трупы худых людей, другие — жирных, и в ту же ночь в его надломленной психике сложилась и всецело овладела им целая философско-социальная система, объясняющая все явления жизни существованием именно двух видов трупных червей... А в жизненном обиходе человек он разумный, добрый и отзывчивый.

Другой — Эмиль Вагнер, беженец из России — рекомендует себя «джентльменом, бывшим офицером», ныне — «идеалистом, практическим анархистом»; он ничего не делает, потому что не хочет «своим трудом поддерживать несправедливый общественный порядок», а в то же время избивает жену за то, что она систематически морит его голодом, и доводит ее до того, что она сначала пытается кухонным ножом перерезать себе артерию, а потом — душит свою дочь... Молоденькая девушка, медичка, коммунистка Вера Келлог, откровенно признается, что у нее «эти раздавленные деклассированные люди уже не вызывают грусти», и она даже «изо всех сил работает над тем, чтобы ход этого разложения общественного порядка пошел как можно скорее». А Ничай, бывший учитель гимназии в Сербии, теперь — фабричный рабочий, говорит о них: «Эти люди выброшены из жизни, они пожирают самих себя и при этом ничего не создают». И, как бы дополняя его мысль, та же Вера советует им итти на фабрику: «Ибо мы, вышедшие из буржуазии, видим только, что мир гибнет, а пролетариат знает и то, что строится новый мир»... Тягостное впечатление от «могучего процесса гниения» деклассированных героев своеобразно смягчается и углубляется реалистически спокойной манерой письма и мягким юмором в изображении комической фигуры «зав. инвентарем» убежища Гейнриха, оживляющего по-своему страницы повести.

Искусно построен рассказ «Победа филистимлян», заинтриговывающий с первых же строк: филистимляне и евреи, в своих библейских воинских одеяниях, в перерывах между боями собираются за одним из египетских сфинксов и читают... «книгу Бухарина об экономике переходного периода»! Оказывается, это идет грандиозная кино-съемка: «Сампсон и Далила», участвует 800 статистов, среди них — много политических эмигрантов, и в самый решающий эффектный момент, когда появляется Далила, победившая непобедимого Сампсона, войска филистимлян и евреев, потрясая оружием, вместо ликующего победного клика, сотнями глоток, заглушая трубы, выкрикивают забастовочное требования: «Ниже пяти тысяч крон играть не будем!». Так грандиозная кино-съемка срывается голодными, жестоко эксплоатируемыми политэмигрантами.

Остальные три рассказа также изображают процессы социального «гниения» и социальной борьбы на Западе, так же остро показан быт политэмигрантов, но здесь уже меньше художественной законченности, это скорее эскизы.

В предисловии А. Серафимовича Бела Иллеш, коммунист, активный боец советской революции, характеризуется, как «певец революционно-классовой борьбы». Книга издана прекрасно, но в переводе встречаются шероховатости, вроде — «каждый протягивал обе свои руки по направлению золотисто-желтого гуся»... Этакий тяжелый «золотисто-желтый гусь» не раз попадается на страницах книги.

Павел Мирецкий.

Василий Каменский. Пушкин и Дантес. Заккнига. Тифлис. Стр. 312. Ц. 2 р. 80 к.

Роман Каменского вызывает у читателя большое недоумение — если он написан всерьез, то почему он так напоминает те «великосветские» романы, которые, на радость лавочникам, печатались лет 15

тому назад в «Петербургском листке»? Если же это пародия, — то зачем взята такая несоответствующая тема? Что смешного в трагической жизни и смерти Пушкина?

Но, повидимому, автор был вполне серьезен. Он нашел, что судьба Пушкина — самая подходящая тема для бульварного романа, прочел письма и дневники Пушкина, некоторые воспоминания о нем, с большой смелостью истолковал этот материал по-своему и плохим языком написал повесть о жизни Пушкина.

В этой повести не только Пушкин, Вяземский и Соболевский являются сознательными революционерами, даже тихая няня Арина Родионовна, за которой, кажется, никогда не числилось революционных заслуг, выведена каким-то Стенькой Разиным. В Михайловском Пушкин ведет агитацию среди крестьян... При этом он «одевался по-мужицки и вел себя так простецки, что в общей группе крестьян он ничем внешне не отличался» (стр. 51). Те вольнолюбивые слова, которые Пушкин говорил в письмах к брату, посланных с оказией, в романе он с откровенностью говорит Бенкендорфу. Скептик и денди Соболевский оказывается каким-то московским чудаком с вечной бутылкой шампанского.

Автор не потрудился даже взглянуть на портреты изображаемых им лиц. Он пишет, что у Николая I был низкий лоб унтер-офицера (стр. 74), тогда как Николай, по выражению Герцена, «взлызистая медуза», как раз отличался непомерно высоким лбом. Далее автор говорит о смуглом лице Н. Н. Гончаровой (стр. 132), хотя она как раз отличалась белизной кожи.

Чтобы дать понятие о стиле и языке автора, приведем несколько выписок: Молодежь «понесла имя Пушкина по бирюзовым волнам ликования». «Наташа горела сладостным ядом смущения» (стр. 209). И далее Полетика взирает на Пушкина «чувственными, напудренными глазами» (стр. 235). «Уши загорят от стыда» (стр. 242).

Интересно знать, почему Заккниге пришло в голову так хорошо издать этот удручающий роман? И кому это надо вообще?

Евг. Книпович.

Ив. Касаткин. Собрание сочинений, т. II. Волчья песня. Зиф. М.-Л. 1928 г. 233 стр. Ц. 2 р. 5 000 экз.

«Полные собрания сочинений» плодятся в последнее время с невероятной и удручающей быстротой. Издаются собрания сочинений авторов, не имеющих на это никакого права. Тем отраднее встретить выход сочинений Ив. Касаткина — писателя совершенно определившегося, но недостаточно оцененного критикой и словно забытого в шумной разноголосице литературной жизни. В прошлом у Касаткина всего две книги, которые разделены между собой девятилетним промежутком («Лесная быль», выдержавшая с 1916 года четыре издания, и вышедшие в 1925 г. «Деревенские рассказы»). Уже «Лесная быль» создала ему прочную и заслуженную известность подлинного мастера слова и прекрасного бытописателя деревни. Вместе с Чапыгиным, Пришвиным, Вольновым Касаткин вступал в литературу после бури и гроз 1905 года. Тогда русскую литературу захлестывали мутные волны порнографии, мистицизма и эстетства. Они толкали ее, казалось, к последним пределам вырождения. Но из самой народной гущи, ведомые М. Горьким, шли писатели-самородки, выдвинутые пролетариатом и крестьянством. Касаткин был одним из тех первых крестьянских писателей, которые далеко ушли от нытья и художественной беспомощности «суриковцев». Упорным трудом и силой внутренней культуры добились они признания читателей. Они принесли с собой богатый, орнаментально-узорный, цветистый язык, первобытную силу чувства и здоровую, социально-осознанную любовь к народу... Иные из рассказов, помещенные в вышедшем томе, имеют за собой почти двадцатилетнюю давность, а между тем они не утратили еще своей первоначальной свежести. «Лоси», например, и теперь читаются как поэма. Здесь почти ощутимо передан каждый звук, каждый шорох жгучей, морозной ночи в лунном лесу. «На сотни верст — так и так — расхлестнулась дремная глухомань, море лесное, спрятавшее буревалы, кочи и норы в пуховом снегу и инее... Вторя мерцанию звезд, на снегу горят, переливаются синие

искры... В березовой поросли, в непролазном, болотном чапыжнике залегли лоси»... Но «Лоси» в творчестве Касаткина нечто вроде «лирического отступления». Социальное чутье увело его от импрессионистического любования природой в самую гущу тогдашнего быта. Российский уезд, погрязнувший в «вязком омуте тишины и покоя, его тихая, серая, к земле приплюснутая, неживая жизнь, страшный в своей вековой косности быт голодной, дикой, разоренной деревни, из которой — нет-нет — и побредет босой мужик по осенним «путям-дорогам», минуя проселки и болотины глухой стороны от тесной, темной, душной жизни в шумный город с тысячами фабричных труб — вот, что нашло себе яркое выражение в творчестве И. Касаткина. Хлебные торговцы, соборные старосты, богомазы, сваты и кумовья, старушки, чающие «судища Христова», кулаки и безлошадные, лапотники и плотогоны пестрой вереницей проходят в небольших насыщенных жизнью и правдой рассказах Касаткина. В книге есть несколько слабых вещей газетного типа, которые, может быть, и не следовало включать в собрание сочинений («Женщина», «Комета», «Дело праздничное»). В ранних рассказах встречаются, правда редкие, но досадные, провалы в лубочность и псевдо-народный говор. Неприятно поражает крикливая обложка, годная только для дешевого романа в стиле «Разбойника Чуркина».

Ник. Богословский.

Павел Медведев. Драмы и поэмы Ал. Блока. Из истории их создания. Издательство писателей в Ленинграде. 1928 г. Стр. 234. Тираж 2 000 экз. Ц. 3 р.

Автор следует методу «творческой истории» профессора Н. К. Пиксанова. Он пытается исследовать процесс создания блоковских драм и поэм, привлекая для этого богатейший материал неопубликованных рукописей и черновиков. Но, к сожалению, попытка остается только попыткой, ни исследования, ни метода в рецензируемой книге нет.

Современное литературоведение решительно отмежевалось от биографических истолкований историко - литератури процесса. Такого рода истолкования (дили на-нет эволюционную закономерно и тем самым уничтожали возможнс построения научного литературоведен Но П. Медведеву это невдомек. Его раб сводится к субъективному комментат ству, приправленному формальной т минологией, и к проецированию объект ных данных на творческую личность. П попытке каузального истолкования т или иного явления Медведеву волей волей приходится обращаться к абсу нейшим гипотезам.

«Кажется, что Ал. Блок написал «I знакомку» как бы шутя и играя. В сі этого, превосходно отражая аполл нический (!) характер творческ процесса, черновики «Незнакомки» в то время не дают сколько-нибудь значите. ных материалов по истории создания ее вариантов, композиционні градаций замысла (?!)...» (стр. 5

Столь же замечательно и следуюш рассуждение:

«Песня судьбы не удалась потому, ' замысел ее был слишком автобиогр фичен.

Одним из основных законов художеств ного творчества является, повидимом положение, хотя и мимоходом, но и и, ально сформулированное (формулирова ное?) Пушкиным: «Прошла любовь явилась муза и прояснился темн ум»...

Говоря иначе: факт биографический может непосредственно стать литерату ным фактом. Чтобы воспеть любовь, о должна остыть, пройти. Темный ум, охі ченный бурным переживанием, — потом то и «темный», — должен успокоитьс проясниться. Муза — друг воспоминани а не страстного актуального пережи ния» (стр. 59).

Стилистические традиции этих мета зических рассуждений об остывании люб нужно искать у эпигонов символизм «Мои университеты» М. Горького наскво автобиографичны, однако вряд ли их мо но назвать неудавшейся вещью.

Говоря о «Песне судьбы», которую с. Ал. Блок назвал драматической по мой, а не драмой, Медведев подходит ней с меркой нормативной драматур-

«Среди драматических опытов Ал. Блока «Песня судьбы» — произведение наименее удавшееся».

И как образец словесного искусства и как сценическое действо этот «драматический пролог» вызывает ряд основательных возражений.

«Песня судьбы», прежде всего, страдает слабой пульсацией драматического нерва. Динамика, энергия действия в ней чрезвычайно слаба» (стр. 57).

«Ряд основательных возражений» вызывают и оценочные домыслы П. Медведева. С таким же успехом он мог разбирать «Песню судьбы» по законам романа. Подходить к поэме с меркой драмы, значит сознательно пользоваться кривым зеркалом, искажающим реальные очертания.

А. Блок приводит список источников (в большинстве иностранных), которыми он пользовался при создании своей драмы: «Роза и крест». Исследователю «творческой истории» блоковских драм необходимо было установить, в какой мере и в каком именно направлении шло использование этих источников. Медведев же нашел возможным ограничиться переводом на русский язык... заглавий этих источников. Тяжелый труд!

Не выяснив традиций блоковской драматургии, мы не можем составить верного представления о сценических устремлениях основоположника русского символического театра. Традиции эти очень сложны и любопытны. С одной стороны, корни их лежат в романтической поэтике Гофмана, Тика и Новалиса, с другой — тянутся к народному балагану, к итальянской комедии масок и импровизаций. В «Письме о театре» Блок писал: «Нет сомнения в том, что истинный художник всегда более наклонен к «балагану», чем к светской комедии, что балаган здоровее». И далее: «Не стоит говорить о том, что художник прав, склоняясь, как во все времена, к «театру масок», арлекинаде, петрушке, (марионеткам, к пантомиме, к мелодраме...» «Русский современник» 1924 г., № 3, стр. 148).

Все эти интереснейшие и совершенно не разработанные вопросы остались не затронутыми и П. Медведевым.

В заключение мне остается выразить соболезнование «Издательству писателей в Ленинграде», выпустившему двухтысячным тиражем очень скверную книгу, размер которой — 15 печатных листов. Уж лучше бы тоньше.

Т. Гриц.

Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма. Т. I. О т п р е д ш е с т в е н н и к о в д е к а б р и с т о в д о к о н ц а Н а р о д н о й в о л и. Ч. I.— Д о п я т и д е с я т ы х г о д о в XIX в е к а. Стр. XXVIII + 222. Ц. 2 р. 50 к. М. 1927 г. Ч. II. — Ш е с т и д е с я т ы е г о д ы. Стр. XXVI+496. Ц. 6 р. 25 к. М. 1928 г. Составили А. А. Шилов и М. Карнаухова. Изд. Всесоюзного Общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев.

Приступая к изданию био-библиографического словаря русских революционных деятелей, Общество политических каторжан, как правильно сказано в предисловии, выполняет свой долг перед историей русского революционного движения.

Задуман был этот словарь А. А. Шиловым и М. Карнауховой еще в 1921 году. Общество политических каторжан сочувственно отнеслось к их инициативе, и летом 1922 года был выработан план издания. Все издание было рассчитано на три тома, представляющих три самостоятельных био-библиографических справочника. Первый том — от конца XVIII века до конца восьмидесятых годов (к сожалению, по техническим условиям и его пришлось разделить на отдельные части с самостоятельным для каждой части алфавитом, что, разумеется, будет затруднять пользование им). Во второй том предполагалось включить деятелей от конца восьмидесятых годов до 1905 года, а в третий — деятелей с 1905 по 1917 г. Первая часть первого тома была готова уже в 1924 году, но по ряду обстоятельств вышла в свет только в 1927 году. Через год появилась вторая часть первого тома.

Впоследствии план словаря был изменен. Историко-литературная комиссия Общества политических каторжан, под руководством которой идет общая работа

по составлению словаря, выработала пятилетний план издания, рассчитанного на десять томов по 20—25 печатных листов в каждом. Эти десять томов должны охватить участников русского революционного движения от предшественников декабристов до первой русской революции 1905 года: 1 том — от Радищева до 1870 года; 2 том — семидесятые годы; 3 и 4 томы — восьмидесятые годы; 5, 6 и 7 — восьмидесятые, девяностые и девятисотые годы до 1904 г. — социал-демократы; 8, 9 и 10 томы — девяностые годы и остальные партии (социалисты, анархисты и пр.). Таким образом первые две вышедшие части образуют самостоятельный первый том.

Сами авторы рассматривают свою работу как предварительный список всех участников революционного движения с краткими сведениями о них и с указанием важнейших источников для их изучения. Достоинством их работы является то, что наряду с виднейшими деятелями движения они включили также и рядовых его участников, ту массу, которая, собственно говоря, и придает движению его окраску. Это особенно бросается в глаза в первой части первого тома, посвященной по преимуществу декабристам и сопредельным с ними деятелям. Здесь впервые сообщаются сведения о рядовых участниках движения — солдатах, матросах и пр., о которых прежние историки обыкновенно умалчивали. То же самое следует сказать и о второй части первого тома, посвященной шестидесятникам.

Ввиду колоссальной массы подлежащего обработке материала, авторам пришлось ограничить свою работу определенными рамками. Хронологически рамки справочника намечены ими так: концом его должен был служить 1917 год (теперь — только 1905 г.), а началом — первые годы XIX века, так что смутное время, разиновщина, пугачевщина и прочие движения остались вне рамок рассматриваемого словаря. С другой стороны, авторы решили исключить из списка участников те группы, партии и движения, которые хотя и происходили на бывшей территории русского государства, но по своему существу преследовали свои особые, национальные цели. Авторы имеют в виду, главным образом, деятелей польского восстания, некоторых национальных партий и пр. Впрочем, они оговариваются, что те участники указанных групп, которые действовали одновременно и в русском революционном движении, например: повстанцы 1863 года, принимавшие участие в деятельности «Земли и Воли», партия «Пролетариат» и т. п., включаются в общие списки. Забегая вперед, скажем, что последнего обещания авторы полностью не сдержали. Достаточно сказать, что в части, посвященной шестидесятым годам, совершенно не упоминаются такие деятели польского движения, как С. Сераковский, С. Падлевский, А. Гиллер, Я. Домбровский и другие, которые были довольно тесно связаны как с «Землей и волей», так и с Герценом, Бакуниным и пр. Это, конечно, большой промах.

Равным образом авторам не удалось полностью осуществить свою задачу — дать в библиографических заметках ответы на двенадцать намеченных ими вопросов, обнимающих основные биографические факты. Иногда не отмечается имя или отчество, место рождения, дата рождения и смерти, судьба описываемого лица после приговора и т. д. Но, повидимому, в большинстве случаев за это приходится винить не составителей словаря: надо полагать, что имевшийся в их распоряжении материал не давал им указаний по этим вопросам. Не забудем при этом, что сами авторы рассматривают свою работу не как окончательную, а как предварительную. С этой стороны она может выдержать самую строгую критику.

Первая часть 1 тома био-библиографического словаря содержит перечень лиц, принимавших участие в революционном движении за период от конца XVIII века до середины пятидесятых годов, т. е. декабристов, их предшественников и немногочисленных революционеров так называемой николаевской эпохи (петрашевцев, кружок Герцена и пр). Основным источником для этой части послужил «Алфавит декабристов», составленный в 1826 году правителем дел Следственной комиссии Боровковым и изданный Центрархивом к 100-летнему юбилею декабристов. Кроме материалов, напечатанных в 4 и 6 томах «Восстания декабристов»,

изданных Центрархивом, авторы словаря пользовались рукописным списком солдат, принимавших участие в декабрьском движении, причем в виде дополнения к этому списку ими использованы дела Управления коменданта Петропавловской крепости за 1825—1826 годы. Другим источником для первой части послужили всеподданнейшие доклады Третьего отделения, начиная со второй половины двадцатых годов, хранящиеся в количестве 140 томов в историко-революционном архиве. Само собою разумеется, что авторы использовали также и имеющуюся литературу.

Для второй части, охватывающей шестидесятые годы, главным источником послужила рукописная записка С. С. Татищева «Революционное движение в России—1861—1881 гг.», составленная в 1882 году в департаменте полиции. Дополнением к этой работе явилась так называемая «глава десятая» «Истории социально-революционного движения в России 1861—1881 гг.» Н. Н. Голицына, отпечатанная в 1887 году в 50 экземплярах для надобностей охранки. Эта работа дает много сведений об эмиграции конца 60-х и начала 70-х годов. Кроме того использована нелегальная пресса, выходившая в 60-х годах за границей. Использована также картотека С. А. Венгерова, служившая ему для его работы «Источники словаря русских писателей и ученых».

Основным недостатком словаря является его разбивка на ряд отдельных частей с самостоятельным алфавитом. Неудобства, связанные с такого рода разбивкой, сказались уже в первой части первого тома, где, например, о Бакунине ничего не говорится, и читатель отсылается к тому, посвященному семидесятым годам. Ввиду того, что шестидесятые годы более тесно связаны с семидесятыми, чем с ними был связан предыдущий период, это неудобство во второй части чувствуется гораздо сильнее. Мы находим здесь Герцена, но опять-таки не находим Бакунина, которого придется искать в следующем томе, несмотря на то, что в шестидесятых годах он уже играл не малую роль в революционном движении. Мы находим здесь биографию А. Эльсница, но не имеем биографии З. Ралли, действовавшего с ним одновременно.

Конечно, дать сразу словарь, о вающий свыше 100 лет истории р ционного движения, при неразра ности относящихся сюда материалов ставляется чрезвычайно трудным Но, тем не менее, мы не можем не выс сожаления по поводу того, что изд ство приняло именно такой план ряда стоятельных словарей. Пользовани варем в его настоящем виде чем да тем будет труднее — и не только для вого читателя, но даже для исследов

Само собою разумеется, как пред и авторы, что выполнение такого сального труда неизбежно сопряж частичными промахами и пробелам ставители словаря сами просят всех ресующихся этим делом сообщать им зания на их ошибки. Укажем на н рые замеченные нами погрешности в рой части первого тома, — называя лиц, в заметках, о которых эти погр сти нами замечены:

Баллод — пропущено указание на его с делом Д. И. Писарева.

Бахметьев — здесь сообщаются явн верные сведения, заимствованные у Л Вряд ли это был тверской помещик Бахметьев. На самом деле речь и П. А. Бахметьеве, саратовском помещ приятеле Н. Г. Чернышевского (см статью С. А. Скафтымова о романе делать?» в Саратовском сборнике о Че шевском 1926 года).

Бенни, Артур — ни слова не ска о темных сторонах этой личности, зревавшейся одно время в провока (Кстати, судя по другим статьям слов составители его, повидимому, намер опускают такого рода сведения об оп ваемых лицах. С исторической точки ния это неправильно.)

Березовский — покушавшийся на ксандра II в Париже в 1867 году — со шенно пропущен.

Боков, П. И. — ни слова не ска о близости его к Чернышевскому.

Герценштейн, Д. М. — ничего не зано о его деятельности после 1877 (между прочим, в качестве ответствен редактора с.-д. газеты «Начало» о 1906 году отсидел год в тюрьме).

Долгоруков, П. В. — ничего не ска о его роли в деле Пушкина (повидим

заметка была отпечатана до конца 1927 года, когда появились в печати сообщения о принадлежности ему знаменитого пасквиля, вызвавшего дуэль и смерть поэта).

Кукель, Б. К. — о нем сказано, что он в 1863 году был уволен со службы вследствие перехваченного письма Бакунина. На самом деле произошло это в 1862 году, и Кукель был не уволен, а лишь временно отстранен, а затем восстановлен в правах начальника штаба.

Левашева, О. С. — ничего не сказано о близости ее к Бакунину, Н. Утину, Н. Жуковскому и пр.

Озеров, В. А. — о нем сообщается нечто совершенно невразумительное, а именно, что на похоронах Бакунина он один из всех присутствующих эмигрантов отказался от слияния бакунинской партии с общей «Интернациональной лигой». Что это за бакунинская партия и что это за Интернациональная лига, покрыто мраком неизвестности.

Пантелеев, Л. Ф. — опять-таки обойден вопрос о темной стороне его биографии, в частности об обвинении, выдвинутом против него Лемке (в связи с предательством студента Глассона по делу о «казанском заговоре»). Верно ли это обвинение или нет, это вопрос другой, но умалчивать о нем, особенно ввиду замены вынесенного Пантелееву каторжного приговора ссылкой на поселение, не приходится.

Утин, Н. И. — о нем говорится, что весной 1872 года он разошелся с Бакуниным и принял деятельное участие в борьбе с ним Интернационала. На самом деле Утин разошелся с Бакуниным еще в конце 1868 года, а в 1870 г. уже стоял во главе «русской секции», воевавшей с бакунистами.

Черкезов, В. И. — ни слова не сказано о его участии в «Правде», издававшейся провокатором Климовым в Женеве.

Чернышевский, Н. Г. — говорится, что в 1868 году он был возвращен в острог вследствие побега Красовского. Как теперь выяснено, главную роль в этом сыграли показания И. Г. Розанова, сочинившего в Третьем отделении целый роман о подготовке эмигрантами освобождения Чернышевского.

Эльсниц, А. — о нем сказано, что он был близок к бакунинской группе. Этого мало. Он был членом русской секции Альянса.

Далее на наш взгляд минусом словаря является отсутствие в нем таких общих статей, как «Великорусс», «Земля и воля», «Молодая Россия» и пр. Конечно, это не входит в прямые задачи био-библиографического словаря, но отсутствие таких заметок мешает читателю продуктивно пользоваться этим словарем. Ведь не всякий, кто будет прибегать к услугам справочника, должен знать, что Мосолов, Жуков, Бекман и т. д. были членами «Земли и воли», Обручев, Захарьин и т. д. — членами «Великорусса», а Гольц-Миллер, Лященко, Сулин, Сороко и др. — членами кружка Зайчневского.

Но все это — мелочи по сравнению с огромными достоинствами словаря, заполняющего зияющий пробел в нашей исторической литературе, и особенно важно в настоящий момент пробуждения интереса к истории революционного движения среди самых широких кругов. Только специалист в состоянии понять, какую массу труда вложили составители в свою работу, какой громадный материал им пришлось использовать и проработать, и какой признательности они поэтому заслуживают. Можно лишь пожелать, чтобы они поскорее довели до конца свой полезный и необходимый труд, и чтобы издательство поскорее выпустило дальнейшие тома.

Внешность издания прекрасна. Портреты даны в значительном количестве и большей частью очень недурно. Бумага хорошая, шрифт четкий. Жаль только, что цена вышедших выпусков довольно высока и что поэтому словарь не получит того широкого распространения, какого он вполне заслуживает.

Ю. С.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография

По недосмотру в тексте «содержания» № 5 «Красной Нови» пропущено: *С талец* — «Воспоминания о М. Горьком».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ

ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Орган международного бюро революционной литературы

В ЖУРНАЛЕ ПОМЕЩАЮТСЯ НОВИНКИ иностранной литературы, информация о культурной жизни Запада и Востока, театр, кино, изобразительное искусство и т. д., критические статьи об иностранной литературе и иностранных писателях.

Книга 5, май **Стр. 175**

СОДЕРЖАНИЕ: Анри Пулайль.—Безумный поезд. Леонард Франк.—Оксенфуртский мужской квартет. Бела Иллеш.—От Будапешта до Вены. Стесей Хайд.—Лава. Р. Уольф.—Американская поэзия. С. Динамов.—Примечания к статье Уольфа. П. С. Коган.—Ибсеновские дни. А. Курелла-Франс.—Мазерель и развитие революционного искусства. Юджин Фогерти.—Заметки об английском театре. И. Анисимов.—Переводы. Запад и Восток.—Хроника.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Подписная цена: на год — 10 р., на 6 мес.— 5 р. 50 к., на 3 мес.— 3 р.
Цена отдельного номера — 1 руб.

НА-ДНЯХ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

КНИГА ШЕСТАЯ ЖУРНАЛА

НОВЫЙ ЛЕФ

В НОМЕРЕ: С. Третьяков.—Что произошло в литературе. Б. Кушнер.—Ливена. В. Маяковский.— Письма Равича и Равичу. В. Шкловский.—Война и мир Л. Толстого, гл. 9-я. П. Незнамов.—Драдедамовый быт. Записная книжка Лефа. Т. Гриц.—По поводу проф. В. Ф. Переверзева. А. Родченко.— Письмо в редакцию журнала «Советское фото». Т. Г. — Трибуна и кулуары и др. ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Подписная цена: на год—5 р., на 6 м.—3 р., на 3 м.—1 р. 50 к.
Цена отдельного номера—50 к.

Ежемесячный иллюстрированный журнал Наркомпроса РСФСР

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО

Отв. редактор—**Р. А. Пельше.** Зам. отв. ред.—**Н. А. Семенова.** Редакционный совет—представители главков НКП. Год изд. четвертый.

Советское искусство освещ ет основные вопросы всех областей художественной жизни СССР и заграницы и дает богатейший иллюстрированный материал по изоискусству, архитектуре, театру и всем другим видам искусства. **Условия подписки:** на 1 год — 8 р. 50 к., на 1/2 года — 4 р. 50 к., на три месяца — 2 р. 50 к. В розничной продаже цена отдельного номера — 1 рубль.

Подписка принимается: в книжном магазине при Главной Конторе, Страстной бул., 2/42; в магазине „Сцена и Экран“ — Тверская, 19; в книжн. и писчебумажн. магазине Теакинопечати — Тверская, 16; в киосках Теакинопечати; во всех театрах и кино Союза; отделениями и уполномоченными Теакинопечати; во всех отделениях Контрагентства Печати, „Огонька“ и др. издательств и во всех почтовых отделениях.

1 р. 75 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1928 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КРАСНАЯ НОВЬ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Вл. Васильевского, Вс. Иванова, Ф. Раскольникова, В. Фриче.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1-й АБОНЕМЕНТ: на год — 16 руб., на полгода — 9 руб., на 3 мес. — 4 р. 50 к.

2-й АБОНЕМЕНТ: с приложен. полного собр. сочинений Максима Горького в 36 кн. на год—34 р. с пересылкой.

3-й АБОНЕМЕНТ: с приложен. собраний сочинений Всев. Иванова в 5 томах на год — 23 руб. с пересылкой.

Лица, подписавшиеся на 2-й абонемент и не возобновившие подписку на журнал „Красная новь“ в 1929 году, уплачивают стоимость пересылки 18 книг сочинений М. Горького, которые выйдут в 1929 году.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

СПЕШИТЕ ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (июль — декабрь) ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕРЫВА В ПОЛУЧЕНИИ.

По всем вопросам подписки обращаться в местные отделения, филиалы, магазины и к уполномоченным Госиздата, а также во все киоски Всесоюзн. контрагентства печати и почтово-телеграфные конторы.

В Москве звоните по телефону 4-87-19, и к вам явится сотрудник для приема денег и возобновления подписки.

ПОДРОБНЫЙ КАТАЛОГ НА ЖУРНАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

Главной конторой периодических изданий Госиздата: Москва, центр, Рождественка, 4, телефон 4-87-19, в магазинах, киосках и провинциальных отделениях Госиздата, у уполномоченных, снабженных соответствующими удостоверениями, во всех киосках Всесоюзного контрагентства печати, а также во всех почтово-телеграфных конторах и у письмоносцев.